Георгий Федотов

РОССИЯ И СВОБОДА

(Сборник статей)

Под редакцией
священника Михаила Аксенова Меерсона

CHALIDZE PUBLICATIONS NEW YORK 1981

Георгий Федотов

РОССИЯ И СВОБОДА

(Сборник статей)

Под редакцией
священника Михаила Аксенова Меерсона

CHALIDZE PUBLICATIONS NEW YORK 1981

От издателя:

В целях удешевления издательского процесса статьи Георгия Федотова в этой книге фотографически воспроизведены с прежних изданий.

Georgi Fedotov

RUSSIA AND FREEDOM

Edited by Rev. Michael Axionov Meerson

Published by Chalidze Publications
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

Manufactured in U.S.A.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ

Биография – ключ к творчеству человека, и особенность творчества Федотова, публициста-историка, богослова и философа культуры, нельзя понять вне его биографии, лучше сказать, сплетения в одной жизни трех биографий: политического деятеля, ученого историка и религиозного мыслителя. С молодых лет социал-демократ, связанный с политической борьбой, прошедший через ссылки и высылки, вынужденный скрываться под чужими именами в России и жить политическим эмигрантом за границей, Федотов воспринял большевистский переворот как насмешку и поругание социалистических идеалов и принял участие в послереволюционной свободной журналистике, чтобы "спасти правду социализма правдой духа и правдой социализма спасти мир".* С этого началась его публицистическая деятельность, от которой большевистский террор вскоре его заставил отказаться и ограничиться научной работой по своей специальности – ученого медиевиста.

Биография ученого – вторая, столь же серьезная и последовательная линия его формирования как автора. Высланный царским правительством за границу, он изучает историю в Германии, в Йене, а по возвращении занимается в Петербургском университете у знаменитого профессора Гревса, повернувшего русскую медиевистику от просветительского рационализма к исследованию духовно-религиозных основ средневековой культуры. После года вынужденного самообразования в ходе политического изгнания в Италии Федотову удается, по нелегальном возвращении, сдать экзамены в университете и получить звание приват-доцента по кафедре средневековой истории. Отдельные небольшие исследования творчества Блаженного Августина, по истории средневековых культов и агиографии, венчаются его монографией об Абеляре, вышедшей в 24-ом году. К темам европейской средневековой духовности Федотов будет возвращаться и в эмиграции, однако последняя становится

---

* Журнал "Свободные голоса".

гранью, за которой все его творческие силы обращаются к русской тематике.

Третьей линией биографии можно назвать духовные искания, приведшие его от интеллигентного неверия и революционности через религиозную философию к христианству, а затем и в православную Церковь ее богословом и историком.

Во всех трех линиях биографии: политической, научной и религиозной, следует отметить характерную черту – преемственность и органичность, способность не отказываться от прошлого знания и опыта, но сохранять их на новой ступени сознания и деятельности. Профессором духовных академий он сохранит верность социал-демократическим идеалам своей молодости. В качестве историка Церкви и религиозного мыслителя он, кажется, единственный из всех своих коллег будет отстаивать в эмигрантской публицистике традиции и ценности русского либерального демократизма. Как православный богослов Федотов сохранит восприимчивость к явлениям духа вне религиозной сферы, в секулярной, даже активно противостоящей Церкви, области современной культуры и жизни. Свой профессионализм медиевиста, историка западной культуры, и особое внимание к духовному в истории, которому он научился из семинаров Гревса и западной историографии, привычной уделять духу важное, если не центральное место, Федотов целиком сохранил во второй половине жизни, уже переключившись на русскую историю.

По поводу русской исторической науки и журналистики Федотов всегда горевал, что "мы все еще недооцениваем силы духа, творящего историю". Он считал, что "русская историография оставалась и остается... наибольшей "материалисткой" в семье Клио",* что облегчило марксизму завоевание России. Он, кажется, единственный русский историк-публицист, смотревший на историю через призму духовной культуры. Внимание к духовному измерению культуры, к духовной подкладке истории пронизывает все, даже краткие газетные статьи Федотова. Имеется в виду не особая дисциплина "духа", интересующая его тематически, вроде истории Церкви или духовной литературы, а именно духовная энтелехия самого "материалистического"

---

* "Россия Ключевского".

в истории. Федотов – обличитель духа в историческом процессе. Он показывает его присутствие в политике и экономике, как и в литературе и богословии. Дух сложен и многогранен, многозначен, как сложна и многозначна в своей многогранности сама жизнь – синоним духа. Всякий схематизм в своей упрощенности "материалистичен". В федотовских писаниях всегда поражает эта способность увидать и передать духовное. Потому его произведения – как бы кратки они ни были – вода живая. Многозначность, почти художественная емкая информативность, характеризует его исторический эссеизм.

Живя в эпоху бурных публицистических споров русского зарубежья, конденсировавших в эмигрантскую прессу все многообразие идейных и политических течений дореволюционной России, Федотов облекал свои философские идеи и научные прозрения в форму статей, написанных на злобу дня. Увлеченность публициста и, вероятно, эфемерность эмигрантского существования не дали ему возможность, за исключением нескольких книг, создать нечто фундаментальное. Его блестящий талант историка и философа культуры нашел выражение почти исключительно в статьях, написанных, правда, в великом множестве. Это, наряду с разбросанностью его писаний по эмигрантской малотиражной печати, делает для современного читателя особенно трудным знакомство с его идеями. Тематические сборники статей – единственный способ дать цельное представление о его методе и концепциях.

Из всего многообразия интересовавших его тем Россия в ее прошлом и настоящем занимает центральное место. Отношение к ней Федотова можно назвать "просвещенным патриотизмом". Ему принадлежат слова: "У всякого народа есть родина, но только у нас – Россия".*Подобно всему слою дореволюционных культурных и политических деятелей Федотов был ошеломлен коммунистическим обвалом России. Жадно следя за всем происходящим в ней, он ждал возвращения страны после революционных потрясений в нормальное русло своей исторической жизни. В духе этого ожидания, под влиянием НЭПа, написана его книга "И есть, и будет", в которой, отмечая все революционные преобразования, Федотов предсказывает постепенное воз-

---

* "Лицо России".

вращение российского общества в колею свободного гражданского строя. Книга вышла накануне коллективизации.

Сталинский переворот с последующей тоталитаризацией советской жизни, нагнетающимся террором и нарождением новой коммунистической бюрократии вместо уничтожаемой большевистской гвардии, снова ошеломил его. И в своих статьях Федотов начал ставить те же вопросы, которые продолжают задаваться и теперь, 40-50 лет спустя: что такое Россия – Запад или Восток, Европа или Азия; что такое советский коммунизм и организованное им международное коммунистическое движение; есть ли это революционный пролетарский интернационализм, преследующий цель всемирной революции, или новая идеологическая форма выживания Российской империи в эпоху распада империй, преследующей свои собственные государственные интересы и пользующейся международным коммунистическим движением как агентом своих стародавних имперских целей; где кончается Россия и начинается Советский Союз; та ли это страна, или на месте прежней России, канувшей в прошлое, подобно арабскому государству на месте древнего Египта или мусульманской Турции на месте православной Византии, но только еще лукавее и обманчивее, сохранив тот же язык и этнический состав, возникло другое государство с другим народом.

Историк в самой публицистике, убежденный в укорененности настоящего в прошедшем, в том, что "связь с прошлым бесконечно глубже, чем она мнится нашим современникам", что "разрывая с отцами и верою отцов, чаще всего лишь по-новому утверждают эту веру", Федотов обращается к самым древним пластам русской истории, пишет исследование о русской святости и русской религиозной мысли.*

И в перспективе русской тысячелетней истории и духовной традиции он старается описать и анализировать советское настоящее с полным сознанием того, "что прошлое России чревато будущим: можно пытаться разбирать неясные черты грядущего в тусклом зеркале истории".

Уникальное свойство Федотова – политического публициста – состояло в том, что, благодаря своей культурно-исторической эрудиции и способности прочитывать духовный смысл

---

* "Святые древней Руси"

событий, он не оказывался в рабстве у эмпирической очевидности. Имперское перерождение большевистской России при Сталине, поразившее и разделившее русскую эмиграцию, заставившее многих вслед за евразийцами утверждать, что "Россия органически порождает деспотизм из своего национального духа или своей геополитической судьбы, и именно в деспотизме всего легче осуществляет свое историческое призвание", было бессильно соблазнить Федотова.

Свобода была для него религиозной ценностью, и он желал видеть Россию только свободной. Все его размышления о России идут под знаком свободы и политического освобождения. Для Федотова очевидно, что из всех культурных типов человечества только один, христианский, западно-европейский, породил в своих недрах свободу в современном смысле слова. Но и в нем политическая свобода – поздний и весьма хрупкий плод христианской цивилизации. Судьба свободы в России зависит от того, принадлежит ли Россия к кругу народов западной культуры, "до такой степени понятия этой культуры и свободы совпадают в своем объеме".

Федотовские исследования русского средневековья, полутысячелетней истории Руси до возвышения Москвы, показывают, что русская культура и политический строй имели все возможности развития в свободе. В перспективе его исторического и культурно-географического универсализма Россия как христианская страна способна к политической свободе, но это возможно лишь с ее возвращением к общему с Европой христианскому наследию, сближению с Европой в новом освоении общего христианского прошлого.

Десятилетия отрыва России от западной цивилизации, совершенного коммунистическим режимом, не могут пройти даром. Каждое новое десятилетие делает этот разрыв все большим, расставание с политической свободой необратимее. Советский Союз – это последняя империя, последняя из европейских держав, сумевшая сохранить свою империю путем дехристианизации, культурной изоляции, идеологического и политического тоталитаризма, наконец, государственного террора. Однако этот насильственный путь есть нравственный тупик, путь национального вырождения и конечной государственной катастрофы. Чтобы сохранить свою многонациональную природу, чтобы сохра-

ниться как культура, Россия должна вернуться на путь политической свободы и для этого надолго вернуться в Европу ученицей и лояльной сотрудницей.

В этих статьях, написанных когда-то на злобу дня, нам открывается прошедшая история в своих альтернативных возможностях. Сейчас, глядя на прошлое как на совершившуюся историю, мы видим его застывшим, даже детерминированным. Глядя на него глазами Федотова-современника, мы видим живую действительность со всеми ее возможностями, неиспользованными потенциями, мы видим историю творимой.

Для советского читателя, да и всякого, кто сформирован советской системой, статьи Федотова о ней представляют особый интерес. Меньше всего они похожи на писания эмигранта. Выехав из России в 25-м году, он застал и военный коммунизм, и НЭП. Хорошо ему был знаком и моральный климат советского общества. Однако он видел и те социальные сдвиги, которые в нем происходили, ту, глубину, с которой революция перекапывала пласты русского общества, создавая новый тип советского человека.

Ища прежде всего органическое единство истории, он и из зарубежья продолжал видеть происходящее в России и за иррациональностью поворотов коммунистической политики узнавал знакомые культурно-исторические тенденции, умея определять коэффициент революционного новшества в толще исторической преемственности. И в своих статьях он умел показать линии этой преемственности в самых неожиданных и парадоксальных конвульсиях революционного параксизма.

Как историк культуры он особенно питал подозрение к идеологическим разрывам, отрицаниям, восстаниям детей против отцов и столь характерному для русской истории сожиганию мостов между поколениями. В этой внеисторичности, психологической вневременности каждого нового поколения, воспринимающего со старой нетерпимостью новую идеологию, Федотов видел главный порок и опасность русской жизни.

И если некоторые его наблюдения сегодня и кажутся неверными, то на каждом, тем не менее, стоит печать проницательности, выделяющей вечное и пребывающее за рябью изменчивого и временного. Надо помнить, что в этом сборнике, как и в большинстве своих статей, Федотов выступает не как истори-

ограф, а как историософ. Пусть это не смущает тех, кто требует от исторического суждения академической обоснованности. Не забудем, что развитие русской историографии, лингвистики и этнографии в XIX веке было бы невозможно без досужих историософских догадок славянофилов. Статьи Федотова о России – это не законченная картина, а его завет будущим историкам на профессиональном материале показать то, без чего мертво всякое историческое повествование и бесплотна всякая историческая схема: душу народа в ее религиозных, нравственных и интеллектуальных взлетах, достижениях, падениях и отречениях. Федотов обращает внимание на главное: на духовные основы национального бытия, государственности и свободы. Он указывает путь из темницы материалистического видения, ставшей достаточно ненавистной, однако настолько привычной, что сами мы не способны найти из нее выхода.

Священник Михаил Аксенов Меерсон

ТРАГЕДИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Извинения автора

Читатель: Опять! Как можно ставить такую бездарную тему? Вы возрождаете традиции толстых журналов 90-х годов. Неужели с вас мало возов бумаги, исписанных народниками и марксистами?

Автор: Вы могли бы прибавить к ним и Александра Блока. Не говорит ли вам это имя о том, что мы имеем здесь дело с одной из роковых тем, в которых ключ к пониманию России и ее будущего?

Читатель: Но откуда ваша уверенность в том, что после стольких почтенных предшественников вам удастся сказать новое слово?

Автор: Это не самомнение, просто счастливая позиция. Я хочу сказать: наше общее историческое место. Мы, современники революции, имеем огромное, иногда печальное преимущество — видеть дальше и зорче отцов, которые жили под кровлей старого, слишком уютного дома. Мы — пусть пигмеи — вознесены на высоту, от которой дух захватывает. Может быть, высота креста, на который поднята Россия... Наивным будет отныне все, что писал о России XIX век, и наша история лежит перед нами, как целина, ждущая плуга. Что ни тема, то непочатые золотые россыпи.

Читатель: Гм, вот не подумал бы, читая весь тот вздор, который пишут о России люди, ущемленные революцией.

Впервые опубликовано под псевдонимом Е. Багданов в "Верстах", № 2. Париж, 1926 г.

Автор: Да, ущемленные... Те, что не хотят видеть. Простите за несколько классических сентенций: истина открывается лишь бескорыстному созерцанию. Очищение от страстей — необходимое для нее условие. — И прежде всего, от духа злобы.

Читатель: Посмотрим, насколько вам это удастся. Мне это кажется даже чем-то бесчеловечным.

Автор: «Человек есть нечто, что должно быть преодолено». Еще одна цитата.

Читатель: Допустим, но все-таки ваша тема... Она уже потому мне представляется дикой, что революционная Россия изжила противоположение интеллигенции и народа. Правда, в значительной мере, ценой уничтожения интеллигенции. Эта тема русской историей уже исчерпана.

Автор: Вот это именно мне и хотелось бы исследовать.

More Scholastico

Говоря о русской интеллигенции, мы имеем дело с единственным, неповторимым явлением истории. Неповторима не только «русская», но и вообще «интеллигенция». Как известно, это слово, т. е. понятие, обозначаемое им, существует лишь в нашем языке. Разумеется, если не говорить об intelligentia философов, которая для Данте, напр., значила приблизительно то же, что «бесплотных умов естество». — В наши дни европейские языки заимствуют у нас это слово в русском его понимании, но не удачно: у них нет вещи, которая могла бы быть названа этим именем.

Правильно определить вещь — значит почти разгадать ее природу. В этом схоластики были правы.

Трудность — и немалая — в том, чтобы найти правильное определение. В нашем случае мы имеем дело с понятием историческим, т. е. с таким, которое имеет долгую жизнь, «живую», а не только мыслимую. Оно создано не потребностью научной классификации, а страстными — хотя идейными — велениями жизни. В этой жизни полны определенного и трагического смысла нелепые на Западе антитезы: «интеллигенция и народ», «интеллигенция и власть». Мы должны исходить из бесспорного: существует (существовала) группа, именующая себя русской интеллигенцией, и признаваемая за таковую и ее врагами. Существует и самосознание этой группы, искони задумывавшейся над своеобразием своего положения в мире: над своим призванием, над своим прошлым. Она сама писала свою историю. Под именем «истории русской литературы», «русской общественной мысли», «русского самосознания» много десятилетий разрабатывалась история русской интеллигенции, в одном стиле, в духе одной традиции. И так как это традиция автентическая («сама о себе»), то в известном смысле она для историка обязательна. Мы ничего не сможем понять в природе буддийской церкви, например, если будем игнорировать церковную литературу буддистов. Но, конечно, историк остережется слепо следовать традиции. Его биографии не жития святых. Кое в чем он прислушивается и к голосу противников, взор которых обострен ненавистью. Ненависти многое открывается, только не то, самое главное, что составляет природу вещи — ее essentia.

Но обращаясь к «канону» русской интеллигенции, мы сразу же убеждаемся, что он не способен подарить нам готового, «канонического» определения. Каждое поколение интеллигенции определяло себя по своему, отрекаясь от своих предков и начиная — на десять лет — новую эру. Можно сказать, что столетие самосознания русской интеллигенции является ее

непрерывным саморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести интеллигенции таких глубоких ран, какие наносила себе она сама, в вечной жажде самосожжения.

«Incende quod adorasti. Adora quod incendisti.»

Завет св. Ремигия «сикамбру» (Хлодвигу) весьма сложными литературными путями дошел до «Дворянского Гнезда», где в устах Михалевича стал исповедью идеалистов 40-х годов.

И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

За идеалистами — «реалисты», за «реалистами» — «критически мыслящие личности» — «народники» тож, за народниками — марксисты — это лишь один основной ряд братоубийственных могил.

Но, отрицая друг друга, отрицая даже «интеллигенцию», как таковую (марксизм), братья-враги одинаково видели ее: живую, историческую личность в ее скитальчестве от Новикова и Радищева до наших дней. Во всех «историях» русской интеллигенции мы встречаем одни и те же имена. Несогласные в определении понятия, канонические авторы согласны в его объеме. Из объема мы и должны исходить. Для исторического понятия объем не произволен, а дан. Признаки определения должны его исчерпать, не насилуя, как платье, сшитое по мерке. Попытаемся установить этот объем, ощупью, примеряя и исключая то, что не является русской интеллигенцией.

Прежде всего, ясно, что интеллигенция — категория не профессиональная. Это не «люди умственного труда» (intellectuels). Иначе была бы непонятна ненависть к ней, непонятно и ее высокое самосознание. Приходится исключить из интеллигенции всю огромную массу учителей, телеграфистов, ветеринаров (хотя они с гордостью притязают на это имя) и

даже профессоров (которые, пожалуй, на него не притязают). Сознание интеллигенции ощущает себя почти, как некий орден, хотя и не знающий внешних форм, но имеющий свой неписанный кодекс — чести, нравственности, — свое призвание, свои обеты. Нечто вроде средневекового рыцарства, тоже не сводимого к классовой, феодально-военной группе, хотя и связанное с ней, как интеллигенция связана с классом работников умственного труда.

Что же, быть может, интеллигенция — избранный цвет этих работников, людей мысли по преимуществу? И история русской интеллигенции есть история русской мысли, без различия направлений? Но где же в ней имена Феофана Затворника, Победоносцева, Козлова, Федорова, Каткова, — беру наудачу несколько имен в разных областях мысли.

Идея включить Феофана Затворника в историю русской интеллигенции никому не приходила в голову по своей чудовищности. А между тем влияние этого писателя на народную жизнь было несравненно более сильным и глубоким, чем любого из кумиров русской интеллигенции.

Попробуем сузиться. Может быть, еп. Феофан, Катков и Победоносцев не принадлежат к интеллигенции, как писатели «реакционные», а интеллигенцию следует определять, как идейный штаб русской революции? Враги, по крайней мере, единодушно это утверждают, за то ее и ненавидят, потому и считают возможным ее уничтожение — не мысли же русской вообще, в самом деле? Да и сама интеллигенция в массе своей была готова смотреть на себя именно таким образом. И однако: не говоря уже о том, что очень значительная часть русской интеллигенции не помышляла о революции (либералы), есть и в святцах интеллигенции имена, не имеющие ничего общего с политической борьбой. При чем здесь, например, Чаадаев? В каком смысле могут быть причислены к революционерам славянофилы? И еще: заметь-

те, с какой нежностью историки русской интеллигенции говорят о гегельянских блужданиях Белинского. Белинский эпохи «Бородинской годовщины» чем не «реакционер»? Но ему все прощают — и не только, как временное падение, искупленное сторицею. Нет, при всем своем политическом пафосе, русская интеллигенция проявляла иногда и бескорыстие, умела ценить героическую личность и идею, чуждые ее господствующим идеалам. Умела ценить идеализм, как таковой. — Да, но не всякий. И не всякого идеалиста заносила в святцы. Занесла старых славянофилов, но отвергла новых. Занесла Чаадаева, Печорина, Вл. Соловьева, но отвергла Хомякова, Гоголя, Победоносцева — как богословов — уж, конечно, не по пристрастию к католичеству.

Есть в истории русской интеллигенции основное русло — от Белинского, через народников к революционерам наших дней. Думаю, не ошибемся, если в нем народничеству отведем главное место. — Никто, в самом деле, столько не философствовал о призвании интеллигенции, как именно народники. — В этот основной поток втекают разные ручьи, ничего общего с народничеством не имеющие, которые говорят о том, что интеллигенция могла бы итти и под другими знаменами, не переставая быть сама собой. Вдумаемся, что объединяет все эти имена: Чаадаева, Белинского, Герцена, Писарева, Короленко — и мы получим ключ к определению русской интеллигенции.

У всех этих людей есть идеал, которому они служат и которому стремятся подчинить всю жизнь: идеал достаточно широкий, включающий и личную этику и общественнное поведение; идеал, практически заменяющий религию (у Чаадаева и некоторых других, впрочем, связанный с положительной религией), но по происхождению отличный от нее. Идеал коренится в «идее», в теоретическом мировоззрении, построенном рассудочно и властно прилагаемом к жизни, как ее норма и канон. Эта «идея» не вырастает из

самой жизни, из ее иррациональных глубин, как высшее ее рациональное выражение. Она как бы спускается с неба, рождаясь из головы Зевса, во всеоружии, с копьем, направленным против чудовищ, порождаемых матерью-землей. Афина против Геи — в этом мифе (отрывок гигантомахии) смысл русской трагедии, т. е. трагедии русской интеллигенции.

Говоря простым языком, русская интеллигенция «идейна» и «беспочвенна». Это ее исчерпывающие определения. Они не вымышлены, а взяты из языка жизни: первое, положительное, подслушано у друзей, второе, отрицательное, у врагов (Страхов). Постараемся раскрыть их смысл. Идейность есть особый вид рационализма, этически окрашенный. В идее сливается правда-истина и правда-справедливость (знаменитое определение Михайловского). Последняя является теоретически производной, но жизненно, несомненно, первенствующей. Этот рационализм весьма далек от подлинной философской ratio. К чистому познанию он предъявляет, по истине, минимальные требования. Чаще всего он берет готовую систему «истин», и на ней строит идеал личного и общественного (политического) поведения. Если идейность замещает религию, то она берет от нее лишь догмат и святость: догмат, понимаемый рационалистически, святость — этически, с изгнанием всех иррациональных, мистических или жизненных основ религии. Догмат определяет характер поведения (святость), но сама святость сообщает системе «истин» характер догмата, освящая ее, придавая ей неприкосновенность и неподвижность. Такая система обыкновенно неспособна развиваться. Она гибнет насильственно, вытесняемая новой системою догм, и этой гибели идей обыкновенно соответствует не метафорическая, а буквальная гибель целого поколения. Святые неизбежно становятся мучениками.

«Беспочвенность» вытекает уже из нашего понимания идейности, отмежевывая ее от других, органи-

ческих форм идеализма (или идеал-реализма). Беспочвенность есть отрыв: от быта, от национальной культуры, от национальной религии, от государства, от класса, от всех органически выросших социальных и духовных образований. Конечно, отрыв этот может быть лишь более или менее полным. В пределе отрыв приводит к нигилизму, уже несовместимому ни с какой идейностью. В нигилизме отрыв становится срывом, который грозит каждому поколению русской интеллигенции, — не одним шестидесятникам. Срыв отчаяния, безверия от невыносимой тяжести взятого на себя бремени: когда идея, висящая в воздухе, уже не поддерживает падающего, уже не питает, не греет, и становится видимо для всех призраком.

Только беспочвенность, как идеал (отрицательный), объясняет, почему из истории русской интеллигенции справедливо исключены такие, по-своему тоже «идейные» (но не в рационалистическом смысле) и, во всяком случае, прогрессивные люди («либералы»), как Самарин, Островский, Писемский, Лесков, Забелин, Ключевский, и множество других. Все они почвенники — слишком коренятся в русском народном быте или в исторической традиции. Поэтому гораздо легче византинисту-изуверу Леонтьеву войти в Пантеон русской интеллигенции, хотя бы одиночкой — демоном, а не святым, — чем этим гуманнейшим р у с с к и м людям: здесь скорее примут Мережковского, чем Розанова, Вл. Соловьева, чем Федорова. Толстой и Достоевский, конечно, не вмещаются в русской интеллигенции. Но характерно, что интеллигенция с гораздо большей легкостью восприняла рационалистическое учение Толстого, чем православие Достоевского. Отрицание Толстым всех культурных ценностей, которым служила интеллигенция, не помешало толстовству принять чисто интеллигентский характер. Для этого потребовалось лишний раз сжечь старые кумиры, а в этих богосожжениях интеллигенция приобрела большой опыт. В толстовстве интеллиген-

ция чувствовала себя на достаточно «беспочвенной почве»: вместе с англо-американцами, китайцами, японцами и индусами. Век Достоевского пришел гораздо позднее и был связан с процессом отмирания самого типа интеллигентской идейности.

Так, примеряя одно за другим памятные имена русской культуры, мы убеждаемся, что указанные нами признаки интеллигенции подтверждаются жизнью; что, взаимно дополняя и раскрывая друг друга, они дают необходимое и достаточное определение: русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей.

В дальнейшем мы делаем попытку, в размышлении над общеизвестными процессами русской истории, дать посильный ответ на вопросы: как возможна интеллигенция, в указанном понимании, когда она возникла в России и может ли она пережить революцию?

История русской интеллигенции есть весьма драматическая история и, как истинная драма, развивается в пяти действиях. Но так как в трагическую историю России эта частная трагедия вступает сравнительно поздно, то для «экспозиции действия» необходим пролог — и даже два.

Пролог в Киеве

Не бойтесь, я не начну с призвания варягов или потопления Перуна, как ни эффектна была бы такая завязка для трагедии беспочвенности. Но это дешевая эффектность, мнимая связь. Принятие христианства варварским народом всегда есть акт крутой и насильственный: новое рождение. Не иначе крестилась и германская Европа, тоже рубившая и сжигавшая своих богов. У нас процесс истребления славянской веры, повидимому, протекал даже гораздо легче, ибо славянское язычество было примитивнее

германского. Призвание варягов — иначе, иноземное завоевание, кладущее начало русской государственности, — тоже не наш лишь удел: вся романская Европа сложилась вокруг национально чуждых государственных ячеек: германских королевств. Это не помешало пришельцам и на Западе и у нас быстро раствориться в завоеванной этнической среде. У нас обрусение германцев шло еще быстрее, чем на Западе их романизация, да и насильственный характер варяжских экспедиций на Руси не столь резко выражен, подчас даже спорен: создал же Ключевский, в духе начальной легенды русской летописи, схему князей-охранников, наемных сторожей на службе городских республик.

Итак, ни государство, ни церковь на Руси не стояли — по крайней мере, на памяти истории — как сила чуждая, против народа и его культуры. Поэтому духовенство, книжники, «мнихи» древней Руси не могут быть названы в нашем смысле ее интеллигенцией. Правда, они несли народу чужую, греческую веру, а вместе с ней греческий быт, одежду, понятия, нравственность... Но они не наталкивались на сопротивление иной культуры. Они были учителями, признанными, хотя и не всегда терпеливыми. При всех обличениях двоеверия, языческих пережитков, жестоких нравов, церковный проповедник далек от сознания пропасти, отделяющей его от народа, подобной той пустоте, в которой живет русская интеллигенция средины XIX века.

Киевская культура аристократична. Она не питается народным творчеством. Она излучается в массы из княжеских теремов и монастырей, и хотя рост ее в народной среде протекает страшно медленно, но органично и непрерывно. Конечно, это только прививка на грубом славянском дичке, но он весь перерождается под действием прививки. И эта органичность вполне понятна. Новое не ложится поверхностным слоем, «культурным лоском», поверх старого быта.

Оно завоевывает прежде всего сердцевину народной жизни — его веру. Здесь нет сомнений и разлада. Суеверия, обвивающие веру, не разлагают ее. И вера освящает всю культуру, всю книжную мудрость, которая идет за ней.

Византинизация русской жизни, конечно, не закончилась в Киеве. Массы, быть может, лишь к XVII веку органически, в своем быту растворили и претворили идеалы жизни, приличий, нравственных понятий, которыми жили в Киеве боярские и княжеские терема, вдохновляясь, в свою очередь, пышной «лепотой» Цареградского дворца. Так отголоски церемониала Константина Багрянородного докатились до черных курных изб Заочья и Заволжья, и сейчас еще, после коммунистической революции, поражают нас на русском Севере строгостью быта, аристократической утонченностью форм, стильной условностью, «вежеватостью» обхождения.

И все же именно в Киеве заложено зерно будущего трагического раскола в русской культуре. Смысл этого факта до сих пор, кажется, ускользал от внимания ее историков. Более того, в нем всегда видели наше великое национальное преимущество, залог как раз органичности нашей культуры. Я имею в виду славянскую Библию и славянский литургический язык. В этом наше коренное отличие, в самом исходном пункте, от латинского Запада. На первый взгляд, как будто, славянский язык церкви, облегчая задачу христианизации народа, не дает возникнуть отчужденной от него греческой (латинской) интеллигенции. Да, но какою ценой? Ценой *отрыва от классической традиции*. Великолепный Киев XI-XII веков, восхищавший иноземцев своим блеском и нас изумляющий останками былой красоты, — Киев создавался на византийской почве. Это, в конце концов, греческая окраина. Но за расцветом религиозной и материальной культуры нельзя проглядеть основного ущерба: научная, философская, литературная тради-

ция Греции отсутствует. Переводы, наводнившие древне-русскую письменность, конечно, произвели отбор самонужнейшего, практически ценного: проповеди, жития святых, аскетика. Даже богословская мысль древней церкви осталась почти чуждой Руси. Что же говорить о Греции языческой? На Западе, в самые темные века его (VI-VIII), монах читал Вергилия, чтобы найти ключ к священному языку церкви, читал римских историков, чтобы на них выработать свой стиль. Стоило лишь овладеть этим чудесным ключом — латынью — чтобы им отворились все двери. В брожении языческих и христианских элементов складывалась могучая средневековая культура — задолго до Возрождения.

И мы могли бы читать Гомера, философствовать с Платоном, вернуться вместе с греческой христианской мыслью к самым истокам эллинского духа и получить, как дар («а прочее приложится»), научную традицию древности. Провидение судило иначе. Мы получили в дар одну книгу, величайшую из книг, без труда и заслуги, открытую всем. Но зато эта книга должна была остаться единственной. В грязном и бедном Париже XII века гремели битвы схоластиков, рождался университет, — в «Золотом» Киеве, сиявшем мозаиками своих храмов, — ничего, кроме подвига печерских иноков, слагавших летописи и патерики. Правда, т а к о й летописи не знал Запад, да, может быть, и таких патериков тоже.

Когда думаешь о необозримых последствиях этого первого факта нашей истории, поражаешься, как много он уясняет в ней. Если правда, что русский народ глубже принял в себя и вернее сохранил образ Христа, чем всякий другой народ, (а от этой веры трудно отрешиться и в наши дни), то, конечно, этим он прежде всего обязан славянскому евангелию. И если правда, что русский язык гениальный язык, обладающий неисчерпаемыми художественными возможностями, то это ведь тоже потому, что на нем, и

только на нем говорил и молился русский народ, не сбиваясь на чужую речь, и в нем самом, в языке этом (распавшемся на единый церковно-славянский и на многие народно-русские говоры) находя огромные лексические богатства для выражения всех оттенков стиля («высокого», «среднего» и «подлого»).

Все это так. Но этот великолепный язык до XVIII века не был орудием научной мысли. Понятно, что он должен был рано или поздно оказаться затопленным варваризмами. И по сию пору наш научный, особенно философский язык, несмотря на обилие иностранных терминов, лишен некоторых основных слов, без которых невозможно отвлеченное мышление. Разными «значимостями» и «воззрениями» — мы расплачиваемся за Пушкина и Толстого. А за ограниченность древней Руси — глубоким расколом Петербургской России. И это возвращает нас к теме об интеллигенции.

Монах и книжник древней Руси был очень близок к народу, — но, пожалуй, чересчур близок. Между ними не образовалось того напряжения, которое дается расстоянием и которое одно только способно вызывать движение культуры. Снисхождению учителя должна отвечать энергия восхождения — ученика. Идеал культуры должен быть высок, труден, чтобы разбудить и напрячь все духовные силы. Это как движение жидкости по трубам: его напор зависит от разницы уровней. Только тогда достигается непрерывное восхождение, накопление ценностей, когда, по слову Данте:

Tutti tirati son e tutti tiranu, —
«все влекутся и все влекут».

Русская интеллигенция конца XIX века столь же мало понимала это, как книжники и просветители древней Руси. И как в начале русской письменности, так и в наши дни русская научная мысль питается преимущественно переводами, упрощенными компиляциями, популярной брошюрой. Тысячелетний умст-

венный сон не прошел даром. Отрекшись от классической традиции, мы не могли выработать своей, и на исходе веков — в крайней нужде и по старой лености — должны были хватать, красть (compilare), где и что попало, обкрадывать уже нищающую Европу, отрекаясь от всего заветного, в отчаянии перед собственной бедностью. Не хотели читать по-гречески, — выучились по-немецки, вместо Платона и Эсхила набросились на Каутских и Липпертов. От киевских предков, которые, если верить М. Д. Приселкову, все воевали с греческим засильем, мы сохранили ненависть к древним языкам, и, лишив себя плодов гуманизма, питаемся теперь его «вершками», засыхающей ботвой.

Пролог в Москве

Москва для нас имя, покрывшее всю северную Русь. В нее, как в озеро, во внутреннее море (вроде Каспия) вливались все ручьи, пробившиеся в северных мшистых лесах. Теперь мы знаем, что главное творческое дело было совершено Новгородом. Здесь, на севере, Русь перестает быть робкой ученицей Византии, и, не прерывая религиозно-культурной связи с ней, творит свое — уже не греческое, а славянское, или, вернее, именно русское — дело. Только здесь Русь откликнулась христианству своим особым голосом, который отныне неизгладим в хоре народов-ангелов. Мы знаем с недавних пор, где нужно слушать этот голос. В церковном зодчестве, деревянном и каменном, в ослепительной новгородской иконе, в особом тоне святости северных подвижников. Без ложной гордости мы говорим теперь о гениальности древнего русского искусства и не колеблясь отдаем ему предпочтение перед искусством западного средневековья и Возрождения. Не столь явен для всех голос святости. И это отчасти потому, что расслышать его отчетливо удается лишь в XIX веке. Святые, современ-

ные нам или почти современные нам, конечно восходят в самом типе своей праведности к древне-русской традиции духовной жизни, как архангельские деревянные церкви, строенные десятилетия тому назад, уходят в новгородскую древность. Иначе и быть не может. Иначе — откуда? Откуда цветение православной культуры в уже чужеродной, враждебной ей среде, если не на старой почве, на крепких корнях?

Но самая постановка этого вопроса возможна лишь благодаря страшной немоте древней Руси. Она так скупа на слова и так косноязычна. Даже образы своих святых она не умеет выразить в их неповторимом своеобразии, в подлинном, русском их лике, и заглушает дивный колос плевелами переводного византийского красноречия, пустого и многословного. Не в житиях находим ключ к ним, а в живой, современной, часто народной (даже апокрифической) традиции.

Покойный князь Е. Н. Трубецкой, плененный северно-русской иконой и открывшимся ему за ней миром духовной жизни, характеризовал ее, как «умозрение в красках». В красках, в сложных и мудрых композициях новых икон (особенно в начале XVI века) Русь выражала свои глубокие догматические прозрения. Только в красках умела она поведать о некогда живом, именно русском культе святой Софии. Но ведь «умозрение» открывается в слове. В этом его природа — природа Логоса. Отчего же софийная Русь так чужда Логоса? Она похожа на немую девочку, которая так много тайн видит своими неземными глазами и может поведать о них только знаками. А ее долго считали дурочкой только потому, что она бессловесная!

И замечательно — этот паралич языка еще усилился со времени ее бегства с просторов Приднепровья. Уже не сказать ей Слова о полку Игореве, не составить Повести временных лет. От новгородско-московских столетий нам осталась почти одна публици-

стика, отрывочный младенческий лепет, который говорит лишь об усилиях осознать новый смысл или, чаще всего, недуги государственного и церковного бытия. Не умножился скудный запас книг, спасенных в киевском разореньи. И еще дальше отодвинулся культурный мир, священная земля Греции и Рима с погребенными в ней кладами. А удачливый и талантливый Запад, овладевший их наследством, повернулся к Руси железной угрозой меченосцев да ливонцев, заставив ее обратиться лицом к Востоку. На ближнем Востоке не было культур и не было еретических соблазнов. Но на Востоке были пространства, подобные пустыням, зовущие и коварные, шаг за шагом увлекающие в даль, не дающие остановиться, обстроиться, возделать родную землю. Начинается еще не законченная история бродячей Руси, сдержанной от расползания тяжелой рукой Москвы. Прощайте, северные, святые безмолвия! Начинается:

«Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма»...

Тяжёк был для Руси ее первый «счастливый» дар, дар первоучителей словенских; еще тяжелее оказался дар второй: пространство. Но это тема — пространства (колонизации) — давно осознана и разработана русскими историками.

Культура северной Руси в зените к началу XVI века. Дальше уже начинается склон. XVI век — это декаданс, хотя и утонченный, ее живописного мастерства; XVII — уже чрезвычайное огрубение. Города, цветущие в XV-XVI веках, хиреют в XVII, вместе с богатством и предприимчивостью былых Садко и Афанасиев Никитиных. Закрепощается народ к земле, все население к службе и тяглу. Гибнут остатки мирского самоуправления. Грубеет и тяжелеет быт, оплотневает, словно, действительно, пропитавшись татарской, степной стихией. Само православие начинает ощущаться, как стояние на уставе, как быт, как «обрядовое исповедничество».

Конечно, рисовать два столетия Москвы, как спло-

шной упадок, несправедливо. Нельзя закрывать глаза на подвиг создания великой державы, нельзя не видеть и огромных сил народных, которые живы в узах сыромятных ремней. Но страшно, что эти силы громче всего говорят о себе — в бунте: Ермак, смута, Разин, раскол! Как не поразиться, что единственный великий писатель московской Руси — мятежный Аввакум! Москва полнокровна, кряжиста, если говорить о ее этнических силах. Но уже развивается старческий склероз в ее социальном теле. Такая юная годами, она видимо дряхлеет в XVII веке, и дряхлость ее сказывается во все растущем общественном недомогании, в потребности общих перемен и вместе с тем неспособности органически осуществить их. Государственное бытие становится невозможным в примитивно варварских формах, но силы инерции огромны, быт свят, предание и православие одно. Со времени Грозного оборона государства во все растущей мере зависит от иностранцев. Немецкая слобода, выросшая в Москве, стоит перед ней живым соблазном. Как разрешить эту повелительно поставленную судьбой задачу: усвоить немецкие хитрости, художества, науку, не отрекаясь от своих святынь? Возможна ли простая прививка немецкой техники к православному быту? Есть люди, которые еще в наши дни отвечают на этот вопрос утвердительно. Но техника не падает с неба. Она вырастает, как побочный плод, на древе разума: а разум не может не быть связан с Логосом. Пустое место, зиявшее в русской душе именно здесь, в «словесной», разумной ее части, должно быть заполнено чем-то. В десятилетие и даже в столетие не выращивается национальный разум. Значит, разум тоже будет импортироваться вместе с немецкими пушками и глобусами. Иначе быть не может. Но это страшно. Это означает глубокую деформацию народной души, вроде пересадки чужого мозга, если бы эта операция была возможна. Жестоко пробуждение от векового сна. Тяжела расплата — люди нашего

поколения ощущают это, как никогда. Но другого пути нет. Кто не понимает этого, тот ничего не понимает в истории России и русской интеллигенции.

Интеллигенция? Знаете ли, кто первые русские интеллигенты? При царе Борисе были отправлены за границу — в Германию, во Францию, в Англию — 18 молодых людей. Ни один из них не вернулся. Кто сбежал неведомо куда, — спился, должно быть, — кто вошел в чужую жизнь. Нам известна карьера одного из них — Никанора Олферьева Григорьева, который в Англии стал священником реформированной церкви и даже пострадал в 1643 году от пуритан за свою стойкость в новой вере. Не будем торопиться осуждать их. Несомненно, возвращение в Москву означало для них мученичество. Подышав воздухом духовной свободы, трудно добровольно возвращаться в тюрьму, хотя бы родную, теплую тюрьму. Но нас все же поражает эта легкость национального обезличения: раствориться в чужеземной стихии, без борьбы, без вскрика, молча утонуть, словно с камнем на шее! Этот факт сам по себе обличает породившую его культуру и грозно предупреждает о будущем.

За ним идут другие. Не привлекательны первые «интеллигенты», первые идейные отщепенцы русской земли. Что характеризует их всех, так это поверхностность и нестойкость, подчас моральная дряблость. Чужая культура, неизбежно воспринимаемая внешне и отрицательно, разлагала личность, да и оказывалась всего соблазнительнее для людей слабых, хотя и одаренных, на их несчастье, острым умом. От царя Димитрия (Лжедимитрия) к кн. Ивану Андреевичу Хворостинину, отступившему от православия в Польше и уверявшему, что «в Москве народ глуп», «в Москве не с кем жить», — к Котошихину, из Швеции поносившему ненавистный ему московский быт, — через весь XVII век тянется тонкая цепь еретиков и отступников, на ряду с осторожными поклонниками Запада, Матвеевыми, Голицыними, Ордиными-Нащокиными. Чья

линия возьмет верх? Мы уже — задним числом, конечно, — пытались показать неизбежность революционного срыва. Раскол был серьезным доказательством неспособности московского общества к мирному перерождению. В атмосфере поднятой им гражданско-религиозной войны («стрелецких бунтов») воспитывался великий Отступник, сорвавший Россию с ее круговой орбиты, чтобы кометой швырнуть в пространство.

Царское село

Действие первое

По-настоящему, как широкое общественное течение, интеллигенция рождается с Петром. Конечно, характеристика «беспочвенности» не применима к титану, поднявшему Россию на своих плечах; да и «идейность» не выражает пафоса его дела — глубоко практического, государственного, коренившегося в исторической почве и одновременно в потребностях исторического дня. Но интеллигенция — детище Петрово, законно взявшее его наследие. Петр оставил после себя три линии преемников: проходимцев, выплеснутых революцией и на целые десятилетия заполнивших авансцену русской жизни, государственных людей — строителей империи, и просветителей-западников, от Ломоносова до Пушкина поклонявшихся ему, как полубогу. Восемнадцатый век раскрывает нам загадку происхождения интеллигенции в России. Это импорт западной культуры в стране, лишенной культуры мысли, но изголодавшейся по ней. Беспочвенность рождается из пересечения двух несовместимых культурных миров, идейность — из повелительной необходимости просвещения, ассимиляции готовых, чужим трудом созданных благ — ради спасения, сохранения жизни своей страны. Понятно, почему

ничего подобного русской интеллигенции не могло явиться на Западе — и ни в одной из стран органической культуры. Ее условие — отрыв. Некоторое подобие русской интеллигенции мы встречаем в наши дни в странах пробуждающегося Востока: в Индии, в Турции, в Китае. Однако, насколько мы можем судить, там нет ничего и отдаленно напоминающего по остроте наше собственное отступничество: нет презрения к своему быту, нет национального самоуничижения — «мизопатрии». И это потому, что древние страны Востока были не только родиной великих религий и художественных культур, но и глубокой мысли. Они не «бессловесны», как древняя Русь. Им есть что противопоставить европейскому разуму, и они сами готовы начать его завоевание. Пожалуй, лишь Турция, как более бедная мыслью (если не смешивать ее с арабским миром Ислама), готова идти в отрицании своего быта и веры по стопам русских волтерьянцев. И здесь причина одна и та же.

Сейчас мы с ужасом и отвращением думаем о том сплошном кощунстве и надругательстве, каким преломилась в жизни Петровская реформа. Церковь ограблена, поругана, лишена своего главы и независимости. Епископские кафедры раздаются протестантствующим царедворцам, веселым эпикурейцам и блюдолизам. К надругательству над церковью и бытом прибавьте надругательство над русским языком, который на полстолетия превращается в безобразный жаргон. Опозорена святая Москва, ее церкви и дворцы могут разрушаться, пока чухонская деревушка обстраивается немецкими палатами и церквами никому неизвестных, календарных угодников, политическими аллегориями новой Империи. Не будет преувеличением сказать, что весь духовный опыт денационализации России, предпринятый Лениным, бледнеет перед делом Петра. Далеко щенкам до льва. И провалившаяся у них «живая» церковь блестяще удалась у их предшественника, который сумел на два столетия

обезвредить и обезличить национальные силы православия.

Не знаю, было ли все это неизбежно. Неизбежны ли самоубийственные формы опричнины Грозного, коммунизм большевистской революции? Откуда эта разрушительная ярость всех исторически обоснованных процессов русской истории? Они протекают с таким «запросом», что под конец не знаешь — и через столетия не знаешь: — что это, к жизни или к смерти?

Петру удалось на века расколоть Россию: на два общества, два народа, переставших понимать друг друга. Разверзлась пропасть между дворянством (сначала одним дворянством) и народом (всеми остальными классами общества) — та пропасть, которую пытается завалить своими трупами интеллигенция XIX века. Отныне рост одной культуры, импортной, совершается за счет другой, — национальной. Школа и книга делаются орудием обезличения, опустошения народной души. Я здесь не касаюсь социальной опасности раскола: над крестьянством, по безграмотности своей оставшимся верным христианству и национальной культуре, стоит класс господ, получивших над ним право жизни и смерти, презиравших его веру, его быт, одежду и язык и, в свою очередь, презираемых им. Результат получился приблизительно тот же, как если бы Россия подверглась польскому или немецкому завоеванию, которое, обратив в рабство туземное население, поставило бы над ним класс иноземцев-феодалов, лишь постепенно, с каждым поколением поддающихся неизбежному обрусению.

Значит ли это, что мы отвергаем дело Петра? Империю, созданную им: этот огромный дом народов, на четыре моря, на шестую часть земного шара, где в суровой школе зрели для творческого пробуждения многомиллионные пласты европейско-азиатской целины? Где русский гений впервые вышел на пространства всемирной истории, и с какой силой и правом

утвердил свое место в мире! Петербург с кольцом своих резиденций — единственный в мире город, трагической красоты, где в граните воплотилась воля к сверхчеловеческому величию, и тяжесть материков плывет, как призрачная флотилия, в туманах с легкостью окрыленной мысли. Отречемся ли мы от развенчанного Петербурга перед вновь торжествующей Москвой?

Людям, которые готовы проклясть империю и с легкостью выбросить традиции русского классицизма, венчаемого Пушкиным, следует напомнить одно. Только Петербург расколол пленное русское слово, только он снял печать с уст православия. Для всякого ясно, что не только Пушкин, но и Толстой и Достоевский немыслимы без школы европейского гуманизма, как немыслим он сам без классического предания Греции. Ясно и то, что в Толстом и Достоевском впервые на весь мир прозвучал голос допетровской Руси, христианской и даже, может быть, языческой, как в Хомякове и в новой русской богословской школе впервые, пройдя искус немецкой философии и католической теологии, осознает себя дух русского православия.

Как примирить это с нашей схемой сосуществования двух культур? Для всех ясно, что эта схема откровенно «схематична». Действительность много сложнее, и даже 18 век и русское барство, особенно в нижних слоях его, много народнее, чем выглядит на старинных портретах и в биографиях вельмож. Не все получали свой последний лоск в Версале. В саратовских и пензенских деревушках — я говорю о дворянстве (см. у Вигеля) — XVII век затянулся чуть не до дней Екатерины. Обе культуры живут в состоянии интра-молекулярного взаимодействия. Начавшись революционным отрывом от Руси, двухвековая история Петербурга есть история медленного возвращения. Перемежаясь реакциями, но все с большей ясностью и чистотой звучит русская тема в новой культуре, получая водительство к концу XIX века. И это параллель-

но с неуклонным распадом социально-бытовых устоев древне-русской жизни и выветриванием православно-народного сознания. Органическое единство не достигнуто до конца, что предопределяет культурную разрушительность нашей революции. Ленин, в самом деле, через века откликается Петру, отрывая или формулируя отрыв от русской культуры впервые к культуре приобщающихся масс.

Вглядимся в интеллигенцию первого столетия. Для нас она воплощается в сонме теперь уже безымянных публицистов, переводчиков, сатириков, драматургов и поэтов, которые, сплотившись вокруг трона, ведут священную борьбу с «тьмой» народной жизни. Они перекликаются с Вольтерами и Дидеротами, как их венценосная повелительница, или ловят мистические голоса с Запада, прекраснодушествуют, ужасаются рабству, которое их кормит, тирании, которой не видят в позолоченном абсолютизме Екатерины. Над этой толпой возвышаются головы истинных подвижников просвещения, писателей, уже рвущихся к народности, Фонвизиных, Новиковых, масонов. — Ломоносов и Державин вообще перерастают «интеллигенцию». — Но что единит их всех, так это культ империи, неподдельный восторг перед самодержавием. Нельзя забыть, в оценке русской интеллигенции, что она целое столетие делала общее дело с монархией. Выражаясь упрощенно, она целый век шла с царем против народа, прежде чем пойти против царя и народа (1825-1881) и, наконец, с народом против царя (1905-1917). В пышных дворцах Екатерины, в Царском Селе поэты встречаются с орлами-завоевателями; две линии наследников Петровых еще не разошлись. Лавр венчает меч, Державин поет Потемкина, и все на коленях перед Фелицей. Никакой фимиам не претит, как не кажется льстивым в наши дни в России дифирамб пролетарской музе. Гармония между властью и культурой, как во дни Августа и Короля-Солнца, ничем не нарушается. Интеллигенция, отор-

ванная от народа и его, прошлого, не порвала связей со своим классом и с царем (царицей). Здесь ее почва, суррогат почвенности; только через самодержавие она связывается с историческим потоком русской жизни.

Арбат

Действие второе

Между Царским Селом и Арбатскими переулками, новой резиденцией русской интеллигентской мысли, маленькая интермедия на Сенатской площади. 14 декабря 1825 г., почти незаметное в политической истории государства Российского, неизгладимая веха в истории русской интеллигенции. Здесь совершается ее отрыв от самодержавия, отныне и навсегда она покидает царские дворцы.

В оценке этого тяжелого для обеих сторон разрыва нельзя забывать, что интеллигенция начала XIX века осталась верной себе и традиции Петра. Не она первая изменяет монархии, монархия изменяет своей просветительной миссии. Перепуг Екатерины, Шешковский, гибель Радищева и Новикова — в этом русская интеллигенция неповинна. Она с ужасом встретила восстание крестьянства при Пугачеве, и безропотно смотрела на его подавление. Отвечать ей пришлось за французских якобинцев да за дурную совесть Екатерины. Интеллигенция простила ей все и в светлые дни Александра боготворила ее имя. С Александром интеллигенция всходит на трон, уже подлинная, чистая интеллигенция, без доспехов Марса, в оливковом венке. Этот кумир, обожаемый, как ни один из венценосцев после другого Великого Александра, — заключит, над трупом своего отца, безмолвный договор с молодой Россией: смысл его был в хартии вольностей, обеспечивавших дворянство, только что перенесшее режим Павла. Этому договору Александр из-

менил, и всю жизнь сохранял сознание своей измены. Потому и не мог карать декабристов, что видел в них сообщников своей молодости. Не личный страх определил измену Александра — за корону, за власть, — но все же страх: страх перед свободой, неверие в человека, неверие в свой народ. В реакции он остался таким же оторванным от национальной и религиозной жизни народа, каким был во дни свободолюбивых иллюзий. Отметим: русская монархия изменяет Западу не потому, что возвращается к Руси, а потому, что не верит больше в свое призвание. Отныне и до конца, на целое столетие, ее история есть сплошная реакция, прерываемая несколькими годами половинчатых, неискренних реформ. Смысл этой реакции — не плодотворный возврат к забытым стихиям народной жизни, а топтание на месте, торможение, «замораживание» России, по слову Победоносцева. Целое столетие безверия, уныния, страха: предчувствие гибели. В самые тихие «бытовые» годы Николая I, Александра III, все усилия и весь строй государства ориентированы на оборону от призрака, от тени Банко. Пять виселиц декабристов — это «кормчие звезды» Николая I, пять виселиц первомартовцев освещают дорогу Александра III. Русская монархия раскрывает в этом природу своей императорской идеи: «не царство, а абсолютизм». Ключ к ней на Западе, как и ключ к идеологиям русской интеллигенции. Революция во Франции убила абсолютизм просвещенный, и реставрация могла на несколько десятилетий оживить абсолютизм охранительный. Русский абсолютизм повторил, симпатически, этот излом, не имея своей революции, и этим самым создал карающий призрак революции.

Декабристы были людьми XVIII века по всем своим политическим идеям, по своему социальному оптимизму, как и по форме военного заговора, в которую вылилась их революция. Целая пропасть отделяет их от будущих революционеров: они завершители старого века, не зачинатели нового. Вдумываясь

в своеобразие их портретов в гелерее русской революции, видишь, до чего они, по сравнению с будущим, еще почвенны. Как интеллигенция XVIII века, они тесно связаны со своим классом и с государством. Они живут полной жизнью: культурной, служебной, светской. Они гораздо почвеннее интеллигентов типа Радищева и Новикова, потому что прежде всего офицеры русской армии, люди службы и дела, нередко герои, обвеянные пороховым дымом 12 года. Их либерализм, как никогда впоследствии, питается национальной идеей. В их лице сливаются две линии птенцов гнезда Петрова: воинов и просветителей. На них в последний раз в истории почил дух Петра.

Неудача их движения невольно преломляется в наших глазах его утопичностью. Это обман зрения. Ничто не доказывает, что либеральная дворянская власть была большей утопией для России, чем власть реакционно-дворянская. Не нам решать этот вопрос. Против обычного — и в революционных кругах — понимания говорит весь опыт восемнадцатого века.

Крушение западнических идеалов заставляет монархию Николая I ощупью искать исторической почвы. Немецко-бюрократическая по своей природе, власть впервые чеканит формулу реакционного народничества: «православие, самодержавие и народность». Но дух, который вкладывается в эту формулу, менее всего народен. Православие в виде отмеренного компромисса между католичеством и протестантством, в полном неведении мистической традиции восточного христианства; самодержавие, понятое, как европейский абсолютизм, народность, как этнография, как московские вариации в холодном классицизме Тена, переживание Хераскова в Кукольнике: не вполне обрусевший немец на русской государственной службе, имя которому легион, именно так только и мог понимать Россию и ее национальную традицию.

Это был первый опыт реакционного народничества. С тех пор мы пережили еще русский стиль Алек-

сандра III и православную романтику Николая II. Нельзя отрицать, что к XX веку познание России делает успехи, но вместе с тем глубокое падение культурного уровня дворца, спускающегося ниже помещичьего дома средней руки, делает невозможным возрождение национального стиля монархии. Она теряет всякое влияние на русское национальное творчество.

Однако, нельзя забывать, что именно в Николаевские годы в поместном и служилом дворянстве, как раз накануне его социального крушения, складывается, до известной степени, национальный быт. Уродливый галлицизм преодолевается со времени Отечественной войны, и дворянство ближе подходит к быту, языку, традициям крестьянства. Отсюда возможность подлинно национальной дворянской литературы, отсюда почвенность Аксакова, Лескова, Мельникова, Толстого... О, конечно, это почвенность относительная. Исключая Лескова, сознательная национальная традиция не восходит к допетровской Руси; но допетровский быт, в котором еще живет народ, делается предметом пристального и любовного изучения. Иногда кажется, что барин и мужик снова начинают понимать друг друга. Но это самообман. Если барин может понять своего раба (Тургенев, Толстой), то раб ничего не понимает в быту и в миру господ. Да и барское понимание ограничено: видят быт, видят психологию, но того, что за бытом и психологией — тысячелетнюю традицию, религиозный мир крестьянства — «христианства» — еще не чувствует.

Но не забудем — и это основной, глубокий фон, на котором развертывается новая русская история — что существует церковь, прочнее монархии и прочнее дворянской культуры, церковь, связывающая в живом опыте молитвенного подвига десять столетий в одно, питающая народную стихию, поддерживающая холодно-покровительственное к ней государство, — и что церковь именно в XIX веке обретает свой язык, начинает формулировать догмат и строй православия.

И вот, среди этой общей тяги к почвенности, к возвращению на родину, зарождается русская интеллигенция новой формации, предельно беспочвенная, отрешенная от действительности и зажигающая в катакомбах «кружков» свою неугасимую лампаду. Она просто не заметила св. Серафима, она не принимает православия постных щей и «квасного» патриотизма. Ее историческая память, как и память царя, подавлена кровью мучеников: Радищевых, Рылеевых. Характерен самый уход из бюрократического Петербурга в опальную Москву, где в барских особняках Поварской и Арбата, вслед за фрондирующими вельможами XVIII века, появляются новые добровольные изгнанники: юные, даровитые, полные духовного горения, — но почти все обескровленные. С пламенностью религиозной веры, какой мы не видим у просветителей старого времени, и в которой улавливаются отражения религиозной реакции Запада, юные философы утверждаются на Шеллинге, на Гегеле, как на камне вселенской церкви; диалектически выводят из «идеи» весь мир данного и должного, «рефлектируют», созерцают, разлагают, — и все для того, чтобы в конечном счете связать себя новым моральным постулатом: найти внутренний подвиг, дать обеты, навсегда преодолевающие мир пошлой действительности. С этим миром интеллигенцию 30-х и 40-х годов связывает еще одна непорванная нить: культура класса, дворянский быт, в котором она живет, еще не рефлектируя над ним, ибо он сливается для нее, как и все конкретное, в голом понятии действительности. Идейность этих десятилетий не могла уже быть превзойдена: это эссенция абстрактной веры. Но на пути беспочвенности предстоял еще один тягчайший подвиг.

Каковы смысл и ценность этого идейного отшельничества? Когда власть отрекается от своей культурной миссии, интеллигенция возжигает очаг чистой мысли. Именно в эти годы она осваивает самые глубо-

кие и сложные явления европейской культуры; место поверхностного «просвещения» прошлого века занимает немецкая философия и гуманистическая наука. Этим заканчивается европеизация России, начавшаяся с париков и бритых бород и завоевывающая теперь последние твердыни разума. Здесь, в 30-е и 40-е годы, рождается русская наука — прежде всего историческая и филологическая, — которая к концу века импонирует и Западу. Только здесь дано культурное завершение дела Петра, и вместе с тем достигнут предел законной европеизации. Дальнейшее западничество русской интеллигентской мысли будет бесплодным и косным твержением задов.

От Шеллинга и Германии к России и православию — таков «царский путь» русской мысли. Если он оказался узкой заросшей тропинкой, виной был политический вывих русской жизни. Бурное разложение дворянской России требовало творческого руководительства власти. Монархия, поглощенная идеей самосохранения, становится тормазом, и политически активные силы, которые некогда окружали Петра, теперь готовятся к борьбе с династией. А в этой борьбе славянофилы не вожди, и не попутчики. Их мир действительности, по котором они тоскуют, — в романтическом прошлом, в Руси небывалой; от России реальной их отделяет анархическое неприятие государства. В этом их право на место в истории русской интеллигенции. Но поскольку они находят или осмысливают для себя Церковь, они приобретают, в свернутом состоянии, всю Россию, прошлую и настоящую, — ту, которая уже уходит, но не ту, что рождается в грозе и буре. Утверждаясь на ней, они уходят от русской интеллигенции, которая, однако, любовно хранит память о них, почитая своими за общие радения в катакомбах, за отрешенность идейного подвига, хотя он и выводит их из подземелий на бытовую русскую почву.

Екатерининский канал

Действие третье

Вполне мыслимо было бы выводить родословную семидесятников непосредственно от людей сороковых годов: представить Белинского и Герцена спускающимися в народ и концентрирующими в социализме свою политическую веру. Но русская жизнь смеется над эволюцией и обрубает ее иной раз только для того, чтобы снова завязать порванную нить. Таким издевательством истории было вторжение шестидесятников.

Всё, что имели сказать поповичи, было, в сущности, уже сказано дворянской интеллигенцией. Поколение отрешенных гегельянцев сделалось родоначальником русского либерализма и даже западнического консерватизма (Чичерин, Катков), не самые яркие его представители кончали свой век с евангелием материализма и социализма. Оно послушно повторило процесс разложения левого гегельянства в антропологии Фейербаха и католического романтизма в сенсуализме утопистов. Этот перелом падает на 30-е годы, и еще не изучен во всех подробностях. Повидимому, Герцену принадлежит активная роль соблазнителя. Во второй половине 30-х г.г. он уже покончил с философским идеализмом, проповедует физиологию и обращает в свою веру Белинского и Бакунина. Разрыв с Грановским, который не хочет отказаться от бессмертия души, — но дело Герцена выиграно. Попав на Запад в 1847 г., он переживает революцию 48 года, в качестве законченного и страстного социалиста французской школы.

Но дворянство социально разлагается, — оно не в силах пережить «эмансипации» и теряет культурную гегемонию. Разночинцы вытесняют его с командующих высот, но принимают часть его духовного наследства. По самой природе своей, они должны были

поддержать интеллигентскую, а не почвенную мысль, традицию западничества, а не славянофильства. Сами они были воплощенным отрывом от почвы, отщепенцами той народной (духовной, купеческой, крестьянской) Руси, которая живет еще в допетровском сознании. Тяжело и круто порвав со «страной отцов», они, в качестве плебеев, презирают и дворянскую культуру, оставшись вне всякой классовой и национальной почвы, уносимые течением европейского «прогресса». Идее западников они сообщили грубость мужицкого слова, до нельзя упростили все, и одним фактом этого упрощения снизили уровень русской культуры совершенно так, как снизила его революция 1917 г. В рабоче-крестьянской молодежи наших дней мы вправе видеть тот же психологический тип, что в разночинцах 60-х годов, с соответствующей поправкой на уровень. Недаром старые большевики воспитывались на Писареве, который к началу XX в. переживает в революционных кругах настоящее воскресение.

Старая традиция и старый уровень русской культуры не гибнут с этим нашествием варваров. Пережив тяжелые для них 60-е годы, они продолжают расти и крепнуть преимущественно в почвенных, «реакционных» направлениях русской мысли. Вместе с тем линии русской интеллигенции и русской культуры все более расходятся. К XX в. это уже две породы людей, которые перестают понимать друг друга. Но их духовная значительность и культурный уровень обратно пропорциональны исторической действенности. Нужно ли повторять, что здесь мы занимаемся только «интеллигенцией»?

Отрыв шестидесятников от почвы настолько резок, что перед их отрицанием отходит на задний план идейность, и на сцену на короткий момент выступает чистый «нигилист». То, что литературно его представляет дворянин Писарев — безупречный джентльмен — может быть понято только в свете семидесят-

ского народничества. Интеллигентные дворяне отныне увлекаются потоком разночинцев, а не обратно, как было хотя бы с Белинским в 40-х годах.

Повидимому, нигилизм 60-х годов жизненно в достаточной мере отвратителен. В беспорядочной жизни коммун, в цинизме личных отношений, в утверждении голого эгоизма и антисоциальности (ибо нигилизм антисоциален), как и в необычайно жалком, оголенном мышлении — чудится какая-то бесовская гримаса: предел падения русской души. По крайней мере, русские художники всех направлений, от Тургенева до Лескова, от Гончарова до Достоевского, содрогнулись перед нигилистом, Толстой прошел мимо него только потому, что не нашел в своей палитре подходящих красок: он не умел смеяться и не любил малевать чорта.

Не трудно показать, и много раз показана — отрицательная связь, существующая между духом русского православия и нигилизмом. Отсутствие мира гуманистических ценностей, срединного морального царства, делает богоотступника уже не человеком. Неудивительно, что нигилистическая проказа идет прежде всего из семинарий. Недавно мы познакомились и с патриархом этих взбесившихся бурсаков, развращавшим еще в 40-е годы юнаго Фета: с жутким Иринархом Введенским. Но, конечно, демоны шестидесятников не одни «мелкие бесы» разврата. Базаров не выдумка и Рахметов тоже. Презрение к людям — и готовность отдать за них жизнь; маска цинизма — и целомудренная холодность; холод в сердце, вызов к Богу, гордость непомерная — сродни Ивану Карамазову; упоение своим разумом и волей — разумом без взлета, волей без любви; мрачность, замораживающая истоки жизни — таково это новое воплощение Печорина, новая демонофания, в которую нам не мешает вглядываться пристальнее: в ней ключ к бескорыстному героическому большевизму «старой гвардии».

В анархизме 60-х годов еще нет политической концентрации воли. Поскольку он отрицает царизм, он становится родоначальником русской революции. И в историю ее он вписывает самую мрачную страницу. «Бесы» Достоевского родились именно из опыта 60-х годов; по отношению к 70-м они являются несправедливой ложью. 60-е годы: это интернационал Бакунина, гимны топору, прокламации, требующие 3.000.000 голов, идеализация Разиновщины и Пугачевщины, ужасное, дегенеративное лицо Каракозова, зловещий Нечаев, у которого Ленин — бессознательно, быть может, — учится организационному и тактическому имморализму.

Это второе по времени освобождение «бесов», скованных веригами православия. Всякий раз взрыв связан с отрывом от православной почвы новых слоев: дворянства с Петром, разночинцев с Чернышевским, крестьянства с Лениным. И вдруг этот бесовский маскарад, без всяких видимых оснований, обрывается с началом нового десятилетия. 1870 год — год исхода в народ. Неожиданный, изумительный подвиг, аскетизмом своим возвращающий нас в Фиваиду, или, по меньшей мере, в монтанистскую Фригию, совершается теми тысячами русских юношей и девушек, которые воспитаны на Писареве и Чернышевском, на Бокле и Бюхнере, иные побывали в коммунах, и по основам мировоззрения мало чем отличаются от нигилистов. Вот уж подлинно: чистым все чисто. Но откуда же взялись девственники и мученики в этом аду, от которого они даже не отрекаются?

И здесь доля вины за эту апорию падает на схематичность нашего изложения: нам пришлось многое упростить, выпустить связующие нити, идущие от 40-х годов к 70-м; не нашлось места Добролюбову, человеку типично переходного времени (50-е г.г.), обойдены народолюбивые тенденции «Современника», гражданская муза Некрасова. Все это почки 70-х

г.г., в век Базарова. Да и Чернышевский не то же, что Писарев, — хотя, впрочем, менее всего семидесятник.

Но как ни раздумывай в поисках корней народничества, оно необъяснимо до конца, как всякое религиозное движение: это взрыв долго копившейся, сжатой под сильным давлением религиозной энергии, почти незаметной для глаза в латентном состоянии. Ее можно угадывать в неистовстве Белинского, в тоске Добролюбова, в идеологическом аскетизме 40-х годов. И все же: перед нами стихийное безумие религиозного голода, не утоленного целые века.

Идейный багаж юных подвижников невыразимо скуден; отправляясь в пустыню, они берут с собой, вместо евангелия, «Исторические письма» Лаврова: так и спят на них, положив под изголовье. За это евангелие и идут на смерть, как некогда шли люди за сугубое аллилуйя. Святых нельзя спрашивать о предмете их веры: это дело богословов. Но читая их изумительное житие, подвиг отречения от всех земных радостей, терпения бесконечного, любви всепрощающей — к народу, предающему их, — нельзя не воскликнуть: да, святые, только безумец может отрицать это! Никто из врагов не мог найти ни пятнышка на их мученических ризах.

За Лавровым, за Боклем явно стоит образ иного Учителя, зовущего на жертвенную смерть. Если от мира подпольных социалистов обратиться к искусству 70-х годов, то мы поразимся, как в гражданской поэзии, в живописи передвижников — всюду возносится сорванная с киота икона Христа: Крамской, Поленов, Ге, Некрасов, К. Р., Надсон, не устают ловить своей слабой кистью, лепечущими устами святые черты. Этот бледный Христос, слишком очеловеченный, слишком нежный, может раздражать людей консервативной церковной традиции. Но еще большой вопрос, чей Христос ближе к Подлиннику.

В одном своем автобиографическом произведении Михайловский вспоминает о сильном впечатле-

ии, какое на него, юношу, произвела картина Семи-адского: — «Суд над христианами при Нероне». Ха-актерно, что он, не колеблясь, почувствовал: хри-тиане — это мы, а наших гонителей, жандармов, про-уроров, надо искать среди язычников.

Атеисты-народники отзываются о Христе всегда величайшим уважением. Они проникнуты сознанием, то социализм обосновывается христианской этикой...

Д. С. Мережковский с большой убедительностью скрывал христианские черты в творчестве Некрасо-а и Глеба Успенского. Их можно восстанавливать по кудным библиографическим фрагментам, какие нам стались, и для многих революционеров той эпохи, — онечно, не для всех. Ни в ком, быть может, они не оражают так, как в Александре Дмитриевиче Михай-ове, великом организаторе «Народной Воли». Тот, то читал его удивительное письмо к родителям по-ле смертного приговора, скромное и благородное, трепещущее любовью и радостным ожиданием казни, тот не забудет имени Христа, завершающего его, за-вершающего всю жизнь человека. Этот дворянский сын, такой нежный, преданный сын (террорист уры-вает дни для свидания со стариками), юный красавец с холеной русой бородой, впоследствии неумолимый конспиратор, «дворник», кого любили и боялись все в партии, — проходил свою народническую Фиваиду на Волге, в старообрядческом селе. Конечно, нелепые идеи о потенциальной революционности раскола при-вели его сюда. Он живет около года в крестьянской избе среди верующих людей, подражая им во всем, часами простаивая на молитве, с листовкой в руках, отбивая поклоны... Об успехах, даже о попытках про-паганды с его стороны мы ничего не слышим; но в Са-ратове он признается товарищам, что находит особое удовлетворение в этой жизни. Что же, это удоволь-ствие актера, хорошо вошедшего в роль? Нелепое предположение для Михайлова. Пусть, почти навер-ное, Михайлов не был христианином, тем более цер-

ковным — он должен был находить в душе отклик этому православному быту, заражаться чужой верой, — и, во всяком случае, чтить ее.

Религиозный ключ к народникам и народовольцам дает не только имя Христа, но и особое отношение к мученикам раскола. Когда в Шлиссельбурге другая праведница, более сурового склада, Вера Николаевна Фигнер, получила возможность читать книги, она вспоминает, что ничто так не потрясало ее в русской истории, как образы боярыни Морозовой и протопопа Аввакума. Через 200 лет мученикам двуперстия откликаются мученики социализма. Это дает право понять природу нового движения, как христианской секты, сродной тем, что возникли на почве раскола, бегунам, беспоповцам, взыскующим града, с эсхатологической устремленностью, с жаждой огненной смерти.

Движение, в идее утверждающее крайнее западничество, разоблачает себя, как русская религиозная секта. Да, это уже не борьба за дело Петрово... Аввакум — против Петра, воскреснув, расшатывает его империю. Каким тонким оказался покров европейской культуры на русском теле! Ведь это уже не вековая дворянская школа. Разночинство берет немецкое «последнее слово», на медный пятак. Его хватает ровно настолько, чтобы опустошить русские мозги, но оно бессильно перевоспитать «натуру». Запад дает, как некогда «жидовство», новые символы и догматы. Но идолам молятся, как иконам, по-православному.

И вдруг — с 1879 г. — бродячие апостолы становятся политическими убийцами. Они объясняют это сами своим политическим опытом, поумнением. Историку новое безумие может показаться горше первого Но объяснение правильно: это срыв эсхатологизма. Царствие Божие, или царство социализма, не наступило, хотя прошло уже 9 лет. Надо вступить в единоборство с самим князем тьмы и одолеть его. Помните

у Гаршина, красный цветок, в котором для безумного сосредоточилось мировое зло? Как нынешние апокалиптики видят в большевизме воплощенного антихриста, так народовольцы увидели его в царе.

Эти страшные годы борьбы не прошли для них бесследно, не могли не запятнать их голубиной чистоты. Партия террористов уже со всячинкой. Среди нее уже работают провокаторы. Один из предателей после 1 марта всходит вместе с героями на эшафот. Не гнушаются ложью, и принимают сотрудников из III отделения. Дисциплина, моральные требования очень высоки: но ищут доблести солдата, а не христианских добродетелей. Вероятно, многие сорвались и погибли в этом бесчеловечном деле. Но другие донесли до эшафота или сохранили на четверть века в каменных мешках Шлиссельбурга сердце, полное веры и любви. Митрополит Антоний видел их и благословил в 1905 г.

Но кровь не прощает. Мученики, становясь палачами, обречены на гибель. Поколение, вынесшее, как свой цвет, как чистейшую жертву, — цареубийц, должно погибнуть и без преследований правительства. Отметим для многих, оставшихся в живых, религиозный исход. В 70-е г.г. «маликовцы», Н. В. Чайковский, Фрей... В 80-е годы толстовцы. Другие, «ренегаты», среди них загадочный Лев Тихомиров, редактор «Народной Воли», кончают православием

Таврический дворец

Действие четвертое

Люди 40-х годов и народники 70-х представляют крайние вершины русского интеллигентского сознания. Дальше начинается распад этого социологического типа, идущий по двум линиям: понижения идейности, возрастания почвенности. Русская интеллигенция агонизирует долго и бурно: она истекает кровью

и настоящей, не умозрительной уже, народной революции. Интеллигенция принадлежит к тем социальным образованиям, для которых успех губителен; они до конца и без остатка растворяются в совершенном деле. Дело интеллигенции — европеизация России, заостренная, со второй половины XIX века, в революции. Победы революции наносят поэтому интеллигенции тяжкие раны. Вот даты их: 1 марта 1881 г., 17 октября 1905 г., 25 октября 1917 г. Из них уже первая смертельна. На 1 марта, если не по времени, то по существу, русская мысль (не интеллигентская, а русская), ответила явлением Толстого и Достоевского. По разному, но с одинаковой силой они отрицают западнический идеал интеллигенции и делают возможной строительство русской культуры на древней, допетровской почве. Интеллигенция была смущена, но не смогла ответить отлучением. Она приняла в себя сильно действующий, хотя и медленный яд, который через четверть века начал видимо разлагать ее сознание. Но количественно, в культурной работе России интеллигенция преобладает — по крайней мере, до первой русской революции.

Она не может умереть, потому что дело, которое она себе поставила, сначала, как апокалиптический идеал, чем дальше, тем больше становится русским государственным делом. Дворянская Россия с 1861 г. безостановочно разлагается. Самодержавие не в силах оторваться от дворянской почвы и гибнет вместе с ней. Замороженная на 20 лет Победоносцевым Россия явно гниет под снегом (Чехов). Интеллигенция права в своем ощущении гнилости 80-90 годов, хотя духовно, в глубине национального сознания, эти годы, как часто годы реакции, были, быть может, самыми плодоносными в новой русской истории. Но общественное тело явно требует хирурга. Революция, убитая Достоевским в идее, оправдывается уже политической необходимостью. Отсюда воскресение революционного идеала и движения в конце 90-х годов.

Жизнь интеллигенции этих десятилетий, расплющенной между молотом монархии и наковальней народа, ужасна. Она смыкает свои бездейственные ряды в подобие церкви, построенной на крови мучеников. Целое поколение живет в тени, отбрасываемой Шлиссельбургской крепостью. Оно подавлено идеей мученической смерти: не борьбы, не подвига, не победы, а именно смерти.

«О, зачем не лежит твой истерзанный труп
Рядом с нами, погибшими братьями?»

терзает себя Якубович, поэт-каторжник, идейный наследник Народной Воли.

В сущности, настоящим гимном русской революции была не бездарная Лавровская марсельеза, а похоронный марш:

«Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу...»

И даже в новом революционном приливе 1900 годов демонстрации студенческой молодежи чаще всего связаны с похоронами: Шелгунова, Михайловского, Бунакова, кн. С. Н. Трубецкого... И как настоящие политические демонстрации, первомайские и другие, они всегда безоружны, их смысл всегда в избиении — нагайками, шашками — беззащитных, несопротивляющихся людей. Это всегда жертва, и не бескровная; единственная, но глубокая политическая идея ее: из крови мучеников восстанут новые борцы.

Новых идей до появления на сцену марксизма не поступает; их боятся, как ереси. Весь смысл этой секты в хранении чистоты и «заветов». Кодекс общественной этики вырабатывает мелочную систему запретительных норм, необходимых, чтобы сохранить дистанцию перед врагом, с которым нет сил бороться. Враг этот откровенно — русское государство и его

власть. Умственный консерватизм навсегда остается главным признаком идейно-чистой, пассивно-стойкой русской интеллигенции в ее основном, либерально-народническом русле.

Для России и эта формация людей не бесплодна. Вытесненные из политической борьбы, они уходят в будничную культурную работу. Это прекрасные статистики, строители шоссейных дорог, школ и больниц. Вся земская Россия создана ими. Ими, главным образом, держится общественная организация, запускаемая обленившейся, упадочной бюрократией. В гуще жизненной работы они понемногу выигривают в почвенности, теряя в «идейности». Однако, остаются до конца, до войны 1914 г., в лице самых патриархальных и почтенных своих старцев, безбожниками и анархистами. Они не подчеркивают этого догмата, но он является главным членом их «Верую». Душа этой религии, впрочем, не в догмате: она в жертве, которая составляет неотъемлемую основу народнического мировоззрения.

Революционная лава, остывая в земском, трудовом народничестве, принимает облик демократического либерализма. Социализм, если не линяет до утопии, то отодвигается в туманное будущее. Семидесятники ненавидели либерализм, который, ответвившись от идейного ствола 40-х годов и окрыленный, было, коротким десятилетием реформ, питается всего больше модной англоманией. Остывшие народники конца века могли уже подать руку конституционалистам английской школы. Такова формула будущей партии «Народной Свободы». Но либерализм не создает ни одной новой идеи; он несет вместе с народничеством вахту у знамени «хранимых заветов».

Появление марксизма в 90-х годах было настоящей бурей в стоячих водах. Оно имело освежающее, озонирующее значение. В марксизме недаром получают крещение все новые направления — даже консервативные — русской политической мысли. Это тоже

импорт, разумеется, — в большей мере, чем русское народничество, имеющее старую русскую традицию. Но в научных основах (все-таки научных!) русского марксизма были моменты здорового реализма, помогшие связать интеллигентскую мысль с реальными силами страны.

Россия, под победоносцевскими льдами, социально переродились. Новые классы — рабочие, промышленники, — приобщаясь к «просвещению», начинают реальную, а не утопическую классовую борьбу. Плеханов оказался пророком: рабочий был той точкой опоры, куда должен быть приложен революционный рычаг. Пролетарий, оторванный от народной (т. е. крестьянской) почвы, сам сделался почвой, на которую мог осесть революционный скиталец. Русская социалдемократия, несомненно, самое почвенное из русских революционных движений. В нем, практически, профессионалы революции, путем радикального упрощения своего интеллигентского сознания, сливались с верхушкой «сознательных пролетариев», образуя не новую интеллигенцию, а кадры революционных деятелей. В этом свете понятен особый пафос классовой идеи в России, и особая ненависть к интеллигенции в марксистском лагере. Для него «классовый» означало «почвенный», «интеллигенция» — мир старой, отрешенной кружковщины XIX века.

Конечно, и в марксизме, особенно русском, живет, хотя и темная, религиозная идея: по своей структуре революционный (не реформистский) марксизм является иудео-христианской апокалиптической сектой. Отсюда он сделался в России не только рассадником политических буржуазных идеологий (Струве), но и богословских течений. В отличие от народничества, которое, по своей отрешенности, могло развиваться только в сектантство, марксизм в социально-классовом сознании своем и догматизме системы таил потенции православия: они были вскрыты вышедшими из него вождями новой богословской школы.

Молодое народничество социалистов-революционеров идейно ничего не приносит в сокровищницу заветов, хотя оказывается более чутким к веяниям культуры. Оно воскрешает в политической борьбе опыт Народной Воли, более грозный и действенный на фоне растущего движения масс. Террор дал нескольких героев с чертами христианского мученичества, но морально разложился еще скорее народовольства. Революция была уже делом, а не жертвоприношением. И потому авантюризм и провокация необычайно быстро убили жертвенную природу террора: Азеф и Савинков — Каляева и Балмашева. Но народничество уже нашло путь к деревне, возделанной за несколько десятилетий земским плугом; к 1905 году «смычка» интеллигенции с народом была уже совершившимся фактом.

Нельзя обойти молчанием еще одной силы, которая в эту эпоху вливалась в русскую интеллигенцию, усиливая ее денационализированную природу и энергию революционного напора. Эта сила — еврейство. Освобожденное духовно с 80-х годов из черты оседлости силой европейского «просвещения», оказавшись на грани иудаистической и христианской культуры, еврейство, подобно русской интеллигенции Петровской эпохи, максимально беспочвенно, интернационально по сознанию и необычайно активно, под давлением тысячелетнего пресса. Для него русская революция есть дело всеобщего освобождения. Его ненависть к царской и православной России не смягчается никакими бытовыми традициями. Еврейство сразу же занимает в русской революции руководящее место. Идейно оно не вносит в нее ничего, хотя естественно тяготеет к интернационально-еврейскому марксизму. При оценке русской революции его можно было бы сбросить со счетов, но на моральный облик русского революционера оно наложило резкий и темный отпечаток.

К 1905 году все угнетенные народности царской

России шлют в революцию свою молодежь, сообщая ей «имперский» характер.

Революция 1905 г. была уже народным, хотя и не очень глубоким, взрывом. И в удаче и в неудаче своей она оказалась гибельной для интеллигенции. Разгром революционной армии Столыпиным вызвал в ее рядах глубокую деморализацию. Она была уже не та, что в восьмидесятые годы: не пройдя аскетической школы, новое поколение переживало революцию не жертвенно, а стихийно. Оно отдавалось священному безумию, в котором испепелило себя. Дионисизм вырождался в эротическое помешательство. Крушение революции утопило тысячи революционеров в разврате. От Базарова к Санину вел тонкий мост, по которому прошло почти все новое поколение марксистов. Лучшие впитывались творящейся русской культурой, слабые опускались, чтобы всплыть вместе с накипью русского дна в октябре 1917 г.

Я сказал, что интеллигенцию разлагала ее удача. После 17 октября 1905 г. перед ней уже не стояло мрачной твердыни самодержавия. Старый режим треснул, но вместе с ним и интегральная идея освобождения. За что бороться: за ответственное министерство? за всеобщее избирательное право? За эти вещи не умирают. Государственная Дума пародировала парламентаризм и отбивала, морально и эстетически, вкус к политике. И царская и оппозиционная Россия тонула в грязи коррупции и пошлости. Это была смерть политического идеализма.

И в те же самые годы мощно росла буржуазная Россия, строилась, развивала хозяйственные силы и вовлекала интеллигенцию в рациональное и европейское, и в то же время национальное и почвенное дело строительства новой России. Буржуазия крепла и давала кров и приют мощной русской культуре. Самое главное, быть может: лучшие силы интеллигентского общества были впитаны православным возрождением, которое подготовлялось и в школе эсте-

тического символизма и в школе революционной жертвенности.

За восемь лет, протекших между 1906 г. и 1914 г., интеллигенция растаяла почти бесследно. Ее кумиры, ее журналы были отодвинуты в самый задний угол литературы и отданы на всеобщее посмешище. Сама она, не имея сил на отлучение, на ритуальную чистоту, раскрывает свои двери для всякого, кто снисходительно соглашается сесть за один стол с ней временным гостем. В ее рядах уж преобладают старики. Молодежь схлынула, вербующая сила ее идей ничтожна.

И, однако, изжито ли старое противоположение: «интеллигенция и народ»? Изменяя революции, интеллигенция забыла о народе. Что там?

Из столыпинской деревни доносится голос хулигана, но она уже шлет в город своих поэтов. В ней совершаются какие-то сдвиги, с коотрыми былая интеллигенция уже утратила связь. Тогда-то раздался голос часового на башне: Блок поднял брошенную тему: «интеллигенция и народ», и указал на пропасть, все еще зияющую. Пророчил гибель и тогда уже звал: «Слушайте революцию!» А из низов, из темной черносотенной глубины ему отзывался нутряной злобой крестьянский голос: Карпов, «Пламя».

Война заглушила все голоса. В ней остатки интеллигенции утонули, принеся себя в жертву России, и в этой жертве утопили остатки революционной совести.

Кремль

Действие пятое

Что такое народ и что такое большевики 1917 года, по отношению к интересующей нас проблеме интеллигенции? Легче и проще ответить на второй вопрос.

Есть взгляд, который делает большевизм самым последовательным выражением русской интеллигенции. Нет ничего более ошибочного. В большевизме, правда, доживает множество отдельных элементов русского радикального сознания, — что облегчает темному слою «работников просвещения» сотрудничество с ним. Но самая природа большевизма максимально противоположна русской интеллигенции: большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции.

Преодоление интеллигенции может совершаться и совершается многими путями. Если не говорить об органической национальной идее, которая в корне меняет тип «идейности», то почвой для оседания кочевой интеллигенции может быть всякое подлинное «дело». Для многих такой почвой была наука. Люди сороковых годов — Буслаевы, Соловьевы — находили свою почву в исторической и филологической науке, нигилисты 60-х годов — Сеченовы, Мечниковы — в естествознании. Наука несет с собой традицию, всечеловеческую связь, — пусть не национальную, но все же историческую почву. Личность включается в цепь поколений, в определенном звене ее, ее дело определяется уже не ею самой, а коллективным разумом. Но и всякое профессиональное дело, взятое, как призвание, с чувством личной ответственности, выводит из кочевого быта. Врач, инженер, поскольку они преданы своему делу, уже не интеллигенты, или остаются интеллигентами в каком-то верхнем, безответственном плане сознания: на чердаке, куда сваливают всякую рухлядь. Деловитость и интеллигентность несовместимы.

Большевики — профессионалы революции, которые всегда смотрели на нее, как на «дело», как смотрят на свое дело капиталистический купец и дипломат, вне всякого морального отношения к нему, все подчиняя успеху. Их почвой была созданная Лени-

ным железная партия. Почва не Бог весть какая широкая — было время, когда вся партия могла поместиться на одном диване, — но за то страшно вязкая. Она поглощала человека без остатка, превращала его в гайку, винт, выбивала из него глаза, мозги, заполняя череп мозгом учителя, непомерно разросшегося, тысячерукого, но одноглазого. Создание этой партии, из такого дряблого материала, было одним из чудес русской жизни, свидетельством о каких-то огромных — пожалуй, тоже допетровских — социальных возможностях. Вся страстная за столетие скопившаяся политическая ненависть была сконденсирована в один ударный механизм, бьющий часто слепо — вождь одноглазый, — но с нечеловеческой силой.

И все же эта машина была почти стерта в порошок Столыпинской каторгой и ссылкой, где получили свою последнюю шлифовку многие из нынешних государственных деятелей России. Было разрушено все, кроме традиции, кроме плана, чертежа (ведь, здесь единство механическое, а не органическое), материала злобы и несломленной воли вождя.

Остальное сделала народная стихия, питательный бульон, который с микробиологической быстротой размножил «палочки» большевизма в революционной России.

Но эта Россия, этот народ — как понять его? С одной стороны, революция, медленно, но верно просачивающаяся в самую толщу масс, привила ему (еще с 1905 г.) основы интеллигентской веры... С другой, едва почувствовав себя хозяином жизни, народ принялся яростно истреблять интеллигенцию, наплевал на свободу и демократию, которые были ему предложены, и успокоился только в новом, едва ли не тяжелейшем рабстве, которое в России и поныне слывет под презрительной кличкой «свободы». В чем источник этого трагического недоразумения?

Я не пишу историю революции и не стану останавливаться на социальных основах классовой ненависти (ясно, что они восходят к неизжитому в России крепостному строю). Здесь меня интересует только народное сознание. К 1917 г. народ в массе своей срывается с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, теряет быт и нравственные устои. Интеллигенция может считать его своим — по недоразумению. Ее «идеи», т. е. положительное содержание ее евангелия, для народа пустой звук. Более того, предмет ненависти, как книга, шляпа (бей шляпу!), иностранная речь, как все, что разделяет, подчеркивает классовое расстояние: все атрибуты барства. В 1917 г. народ максимально беспочвен, но и максимально безыдеен. Отсюда разинский разгул его стихии, особенно жестокий там, где он не сдерживается революционной диктатурой, — в Сибирской партизанщине.

Революция пронеслась: в крови утолена классовая злоба, народ вернулся к земле, в труде и хозяйстве найдя свою почву. Но в его сознании, на месте тысячелетних основ жизни, образовалась пустота. У крестьянской молодежи, у активных слоев она быстро заполняется примитивным материалистическим «просвещением». Разумеется, эта старая интеллигентская идея (в сущности, идея 60-х годов, освеженная марксистским модерном) теперь лишена всякого нравственного пафоса. Но она прекрасно уживается с мощной жаждой жизни, наживы, наслаждений, которой проникнута современная Россия. Повсюду, в городе и в деревне, в высших слоях еврейского нэпа, в разлагающемся коммунизме и в предприимчивой крестьянской молодежи царит один и тот же дух: накопления, американизма, самодовольства. Гибель коммунизма, можно думать, не только не остановит, но еще более подвинет этот рост буржуазного сознания. Интеллигентские «идеи» находят

свою настоящую (не псевдоморфную, религиозную) почву: в новом мещанстве.

Тем самым вековое противостояние интеллигенции и народа оканчивается: западничество становится народным, отрыв от национальной почвы — национальным фактом. Интеллигенция, уничтоженная революцией, не может возродиться, потеряв всякий смысл. Теперь это только категория работников умственного труда или верхушка образованного класса.

Полно, так ли?

Вся ли Россия проходит азбуку атеизма и американизма? Этому противоречит хотя бы всеми отмечаемый расцвет церкви и православного быта. Кто же в России ходит в церковь?

Уже сразу бросается в глаза — по крайней мере, в городе, — как много в храмах бывшей интеллигенции. И не только выбитых из жизни стариков, но и молодежи, активно строящей новую Россию. Знакомство с этой христианской молодежью сразу вскрывает в ней знакомые черты: да это все былые народники, вчерашние эсеры! Быть может, без прежней удали, с большею сдержанностью и строгостью, — но с тем же энтузиазмом. Воочию видишь: наконец-то поколения «святых, неверующих в Бога» нашли своего Бога и вместе с Ним нашли себя. Вековой маскарад кончился. Интеллигенция влилась в основное русло великой русской культуры, уже начавшей свое оцерковление с конца XIX века.

Но, может быть, в этой точке рождается новая интеллигенция, с новым отрывом от народа, переменившаяся с ним ролями: народ отрывается от исторической почвы, интеллигенция хранит религиозное сознание? Да, это правда, что отныне религиозное и национальное сознание России может строиться только в работе этой новой церковной интеллигенции: не на этнографических пережитках, а на идее-

символе. Но, по самой природе церкви, она не может стать отрешенной. Если мы и видим сейчас среди новообращенных увлечение аскетической Фаиваидой, слабость общественного и культурного сознания, то все это болезни старой интеллигентской души: новый вывих, который должен быть исцелен органической жизнью церковного тела. Церковь слишком связана с живой исторической плотью народа, с его историей и бытом. Она не может жить лишь отрешенным мистическим подвигом, и ничто не чуждо ей в такой степени, как романтика прошлого.

Да и неверно, разумеется, что православие в народе умерло. Оно парализовано в массах, но живо в личностях. В церкви живут сейчас все классы русского общества. Только в ней в наши дни и можно встретить подлинно всенародное единение.

Две России стоят друг против друга. Социально они перемешаны обе; в обеих верхи и низы, темная масса и интеллигенция. Если хотите определить их, то следует, прежде всего, отбросить политические мерки. Россия живет сейчас с аполитическим сознанием. Никто не думает в ней о реставрации, мало кто думает о демократии. Что разделяет людей, так это два типа, два идеала жизни: меньшинство живет запросами духа, большинство — хозяйственными злобами дня. Меньшинство почти целиком сейчас в церкви. Большинство — в организациях правящей партии, но и в неорганизованных массах ее врагов. Россия православная — против России-Америки (тоже провидение Блока). Революция провела в народном сознании глубокую трещину, которая, вероятно, не зарастет и в ряде поколений. Эта трещина та самая, что прорубил Петр: только проходит она теперь иначе, не по классовым линиям, а сверху донизу рассекает народное тело. Классовое образование интеллигенции отныне, в самом деле, невозможно.

Обе России национальны. Революция самым фактом своей победы и обороны от белых и европейских армий развила в себе мощное национальное чувство. Ему нехватает исторической перспективы, но сама революция, ставшая историей, дает эту недостающую традицию. Принимая в свои святцы декабристов, народовольцев, революционная Россия, отправляясь от них, приобщается и к дворянско-интеллигентской культуре. Это пока лишь задание, но оно будет выполнено. А за приятием дворянской культуры неизбежно ее преодоление. Народ пойдет путем интеллигенции — хотя бы опаздывая на столетие — через Толстого в церковь. Раз исцелен дух страны, он будет животворить и тело.

Церковная Россия живет традицией древней Руси. Ей трудно принять Петра, — особенно трудно теперь, когда ее не поддерживает созданная Петром государственность. Однако, ей это столь же необходимо, как революционной России — приобщиться к православной культуре. Лишь в этом слиянии залог подлинно национального творчества. Конечно, это слияние необычайно трудно, и может ставиться лишь, как предельная задача. На пути к ней стоят различные проекты решений, различные «идеологии», которыми будет жить Россия XX века. Но думается, что одна черта должна резко отличать их от большинства идеологий дореволюционной России: они будут соединять в себе элементы древне-русской и новой, петровской, культуры, в разных сочетаниях и разных стилях. По существу и правде, не может быть и спора о том, кому принадлежит гегемония. Но гегемон должен не забывать об изначальном ущербе, который сделал неизбежным многовековой раскол: не презирать золотых сосудов Египта и прекрасных хананеянок, уже готовых обрезать свои волосы.

СТАЛИНОКРАТИЯ

Вотъ уже истекаетъ второй годъ со времени XVII съѣзда коммунистической партіи, начавшаго новую полосу русской революціи. У нея еще нѣтъ имени, у этой полосы, четвертой по счету: военный коммунизмъ, Нэпъ, пятилѣтка..., но ея черты уже отчетливо прорисовались, даже сквозь туманъ, окутывающій для насъ Россію. За два года много накопилось фактовъ, наблюденій, разсказовъ иностранцевъ и бѣглецовъ, газетныхъ вырѣзокъ. Не пора ли подвести итоги? Пусть голоса, идущіе изъ Россіи, противорѣчивы. Нельзя ли разрѣшить въ нѣкоторую гармонію эти диссонансы? Конечно, новая жизнь въ Россіи еще не отстоялась. Каждый день приноситъ новыя измѣненія ея лица. Но можно попытаться угадать общее направленіе движенія. Или, иначе, найти схему, въ которой противорѣчивыя явленія уложились бы безъ слишкомъ большого насилія надъ фактами. Большаго о т с ю д а сдѣлать мы не можемъ. Но не сдѣлать этого не можемъ тоже. Чтобы жить, и жить Россіей, мы должны ставить оріентирующія вѣхи, съ полной готовностью смѣнить ихъ, какъ только жизнь измѣнитъ свое русло. А въ Россіи исторія особенно любитъ зигзаги... Но со всѣми этими оговорками, нужно рѣшиться — на новый моментальный снимокъ Россіи — къ 1 января 1936 года.

Общее впечатлѣніе: ледъ тронулся. Огромныя глыбы, давившія Россію семнадцать лѣтъ своею тяжестью, подтаяли и рушатся одна за другой. Это настоящая контръ-революція, проводимая сверху. Такъ какъ она не затрагиваетъ основъ ни политическаго, ни соціальнаго строя, то ее можно назвать бытовой контръ-революціей. Бытовой и вмѣстѣ съ тѣмъ духовной, идеологической. Не будемъ думать, что это ограниченіе лишаетъ сталинскую контръ-революцію ея значительности. Весь ужасъ коммунистическаго рабства заключался въ его «тоталитарности». Насиліе надъ душой и бытомъ человѣка, творившееся въ его семьѣ, въ его углу — было мучительнѣе всякой нищеты и политическаго безправія. Право безпартійнаго дышать и говорить, не клянясь Марксомъ, право юношей на любовь, и дѣвушекъ на семью, право родителей на дѣтей и на приличную школу, право всѣхъ на «веселую жизнь», на елку

Впервые опубликовано в журнале "Современные записки", № 60 Париж, 1937 г.

и на какой-то минимумъ обряда — стараго обряда, украшавшаго жизнь — означаетъ для Россіи возстаніе изъ мертвыхъ.

Но это лишь одна сторона картины. Другая, оборотная сторона: не прекращающіяся казни, каторжные лагери, поѣзда со ссыльными въ далекую Сибирь на безчеловѣчныя работы, на смерть. И попрежнему густая, непроницаемая пелена лжи, окутывающая страну, подхалимство и предательство, униженное ползаніе у ногъ самодержца. Молодому человѣку изъ эмиграціи, собирающемуся ѣхать въ Россію, слѣдуетъ ясно представить себѣ и эту оборотную сторону. А намъ — попытаться найти нѣкоторое подобіе единства стиля. Въ настоящей статьѣ мы ограничиваемъ свою задачу сферой политики. Революція есть прежде всего политическій фактъ, и ея развитіе обнаруживаетъ политическую закономѣрность.



«Великихъ» революцій не такъ много въ новой исторіи. Въ сущности, Русская революція стоитъ третьей въ ряду — послѣ Англіи и Франціи. Опытъ новаго времени можно дополнить исторіей классовой борьбы античныхъ и средневѣковыхъ республикъ. Если можно вывести изъ этого опыта прошлаго какой-либо «законъ» или закономѣрность, то это слѣдующее наблюденіе: всякая «великая», т. е. отличающаяся жестокостью классовой борьбы, революція заканчивается личной тираніей. Иногда этотъ «цезаризмъ» оказывается преходящимъ (Англія, Аѳины), иногда переходитъ въ вѣковую монархію. Итальянскія тираніи Ренессанса существовали до Гарибальди. Наслѣдство Гракховъ и Цезаря досталось Византійскому самодержавію, жившему болѣе тысячелѣтія и вдохнувшему новую жизнь въ самодержавіе московское. Что русская революція завершилась своимъ Сталинымъ, это кажется историку въ порядкѣ вещей. «Эволюція революціи» въ сторону политической демократіи была бы настоящимъ чудомъ. Но какъ же слѣпы и тѣ анти-эволюціонисты, которые не хотятъ видѣть въ Россіи монархическаго перерожденія республики!

Революція въ Россіи умерла. Троцкій надѣлалъ много ошибокъ, но въ одномъ онъ былъ правъ. Онъ понялъ, что его личное паденіе было русскимъ «термидоромъ». Режимъ, который сейчасъ установился въ Россіи, это уже не термидоріанскій режимъ. Это режимъ Бонапарта. Термидоріанскій, т. е. контръ-революціонный характеръ завоеванія власти Сталинымъ, былъ затушеванъ въ эпоху пятилѣтки. Убравъ своихъ лѣвыхъ враговъ, Сталинъ принялся вдругъ осуществлять ихъ программу.

Такъ получился «зигзагъ», или излучина въ теченіи русской революціи, между Нэпомъ и теперешней контръ-революціей, — излучина, которая имѣетъ громадное значеніе для всего русскаго будущаго. Пятилѣтка сдѣлала невозможной буржуазную реставрацію и предопредѣлила государственно-капиталистическій характеръ будущей Россіи. Но, втягиваясь въ нее, вопреки своимъ старымъ идеямъ, Сталинъ едва ли повиновался «лѣвому» революціонному чутью. Вѣрнѣе всего, военно-индустріальныя задачи, въ связи съ укрѣпленіемъ лично-деспотическаго режима, и тогда уже господствовали въ его сознаніи. Но термидоръ совершился въ тотъ моментъ, когда къ власти пришелъ человѣкъ, глубоко равнодушный къ мистикѣ марксизма и цѣнящій въ революціи превыше всего личную власть.

Еще годъ тому назадъ, характеризуя сталинскій режимъ, можно было называть его націоналъ-соціалистическимъ. Казалось, съ отказомъ отъ международно-революціонныхъ задачъ, онъ становится неотличимымъ отъ фашизма, особенно германскаго. Но нѣтъ, въ своемъ попятномъ движеніи, онъ давно уже оставилъ за собой фашизмъ. Для фашизма необходимы три элемента: вождь, правящій активный отборъ и революціонная взволнованность массъ. Въ Россіи не только давно уже массы вернулись въ состояніе политической пассивности. Въ Россіи, теперь уже можно сказать, нѣтъ и партіи, какъ организаціи активнаго меньшинства, имѣющей свою волю, свои традиціи. Муссолини и Гитлеръ (какъ и Ленинъ) должны постоянно дрессировать, воспитывать и вдохновлять ряды своихъ бойцовъ. Эта обязанность принадлежитъ къ нелегкому политическому искусству фашистскаго вождя. Сталину давно уже удалось убить всякую политическую активность своей партіи. Годами, исподволь, на посту Генеральнаго Секретаря, онъ развращалъ ее, пріучая къ рабству и безыдейной службѣ. Теперь эта задача окончена. Организація ВКП уже не партія, т. е. не группа политическихъ активистовъ. Ея программа, ея прошлое уже не вѣсятъ ничего на политическихъ вѣсахъ.

Еще большинство эмиграціи повторяетъ: въ Россіи царствуютъ коммунисты или большевики; еще мечтаютъ объ избавленіи Россіи отъ этихъ большевиковъ, не замѣчая того, что большевиковъ уже нѣтъ, что не «они» правятъ Россіей. Н е о н и, а о н ъ. А если «они», возглавляемые «имъ», то совершенно не коммунисты, а новые люди, къ которымъ нужно приглядѣться.

Это утвержденіе, вѣроятно, покажется весьма спорнымъ. Происходящая въ Россіи ликвидація коммунизма окутана за-

щитнымъ покровомъ лжи. Марксистская символика революціи еще не упразднена, и это мѣшаетъ правильно видѣть факты.

А факты вотъ они. Начиная съ убійства Кирова (1 декабря 1934 г.) въ Россіи не прекращаются аресты, ссылки, а то и разстрѣлы членовъ коммунистической партіи. Правда, происходитъ это подъ флагомъ борьбы съ остатками троцкистовъ, зиновьевцевъ и другихъ группъ лѣвой оппозиціи. Но врядъ ли кого-нибудь обманутъ эти оффиціально «пришиваемые» ярлыки. Доказательства «троцкизма» обыкновенно шиты бѣлыми нитками. Вглядываясь въ нихъ, видимъ, что подъ троцкизмомъ понимается вообще революціонный, классовый или интернаціональный соціализмъ. То-есть марксизмъ, какъ таковой; если угодно, ленинизмъ классическаго русскаго типа. Въ существованіе «зиновьевской» оппозиціи въ Россіи трудно повѣрить. Если бы анти-коммунистическій терроръ былъ лишь выраженіемъ торжества правыхъ тенденцій въ партіи, то мы видѣли ли бы возвращеніе къ власти правыхъ уклонистовъ. Но ни Рыковъ, ни Бухаринъ, ни Томскій вліяніемъ не пользуются. У власти остаются личные приверженцы Сталина, продѣлавшіе съ нимъ не одну смѣну вѣхъ: справа налѣво и обратно.

Казалось бы, въ обществѣ «Старыхъ большевиковъ» нѣтъ мѣста троцкистамъ, по самому опредѣленію. Троцкій — старый меньшевикъ, лишь въ октябрьскую революцію вошедшій въ партію Ленина: роспускъ этой безвластной, но вліятельной организаціи, показываетъ, что ударъ наноситъ Сталинъ именно традиціи Ленина: тѣмъ коснымъ революціонерамъ, которые не хотятъ понять знаменій новаго времени.

Борьба съ марксизмомъ ведется не только по организаціонно-политической линіи. Она сказывается во всей культурной политикѣ. Въ школахъ отмѣняется или сводится на нѣтъ политграмота. Взамѣнъ марксистскаго обществовѣдѣнія, возстановляется исторія. Въ трактовкѣ исторіи или литературы объявлена борьба экономическимъ схемамъ, сводившимъ на нѣтъ культурное своеобразіе явленій. Спору нѣтъ, совѣтскіе популяризаторы довели марксистскій «методъ» до Геркулесовыхъ столбовъ глупости. Но, вѣдь, за нимъ стоятъ авторитеты Ленина, Плеханова, Каутскаго. По такимъ же трафаретамъ учились старые марксисты, — доводившіе Маркса до абсурда. Издѣвательство надъ марксистскимъ методомъ сдѣлалось прямо признакомъ хорошаго тона въ совѣтской прессѣ. А послушайте самого вождя, когда онъ разговариваетъ съ представителями народа. Вотъ онъ разспрашиваетъ образцоваго колхозника о причинахъ его успѣховъ. Съ неудовольствіемъ обрываетъ набив-

шія оскомину разсужденія о контръ-революціонной природѣ отсталыхъ колхозовъ. «Бывшіе помѣщики, кулаки? — Это неважно». Какова производительность? Вотъ что важно. Низовые работники еще не приспособились къ новому языку: давно ли они зубрили классовыя шпаргалки. Но теперь ими никому уже не удастся блеснуть передъ «самимъ». Даешь производительность! Все прочее — чепуха.

Такова, конечно, одна изъ возможныхъ интерпретацій. Но намъ она представляется самой вѣроятной. Сталинъ и вся его группа никогда, быть можетъ, не была настоящими марксистами. Читалъ ли Сталинъ Маркса, въ высшей степени сомнительно. Вообще же онъ учился соціализму по Ленину; и въ Ленинѣ цѣнилъ, конечно, прежде всего гибкаго политика и стратега, а не метафизическаго оракула. Самъ онъ никогда не раскрывалъ рта въ доктринальныхъ дискуссіяхъ, раздиравшихъ партію. Практическое дѣло одно его интересовало въ революціи. Такова и вся его группа. За немногими исключеніями, полу-интеллигенты, люди, выбившіеся изъ самыхъ низовъ, не ломавшіе себѣ головъ надъ книгой, но умѣлые экспропріаторы, убійцы, техники революціи — впослѣдствіи чекисты, офицеры гражданской войны и секретари, подобранные Сталинымъ. Конечно, они не могли не вѣрить маркистской догмѣ: хотя бы по тупости мысли и по необходимости имѣть какой-то отчетливый фонъ сознанія — для концентраціи дѣйствія. Но годы, десятилѣтія борьбы, знакомство съ самыми сложными вопросами жизни должны были воспитать въ этихъ практикахъ по природѣ изрядную долю презрѣнія ко всякаго рода теоріямъ. Если бы теоріи были столь важны для дѣйствія, то, конечно, имъ никогда бы не сидѣть въ Кремлѣ; первое мѣсто принадлежало бы пророкамъ подполья: всѣмъ этимъ Троцкимъ, Каменевымъ, Бухаринымъ. Въ порядкѣ теоріи любой профессоръ Коммунистической Академіи забьетъ Сталина. Но Сталинъ платитъ ему презрѣніемъ и радъ, что можетъ, наконецъ, открыто высказать это презрѣніе. Вѣдь онъ тридцать лѣтъ дожидался этого случая.

Какъ бы низко ни оцѣнивать культурный уровень Сталина, за годы власти — за 10 лѣтъ — онъ долженъ былъ многому научиться. И научился онъ тому, что въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ жизни: въ хозяйствѣ, въ международной политикѣ — прямолинейное слѣдованіе марксистскимъ схемамъ всегда приводило къ пораженіямъ: въ Китаѣ, въ Германіи, въ строительствѣ пятилѣтки.. Всѣ побѣды Ленина достигались от-

ступленіемъ отъ этихъ схемъ. Сталинъ не могъ не сдѣлать изъ этого соотвѣтствующихъ выводовъ.

Тѣ, кто хотятъ видѣть въ сталинскихъ отступленіяхъ отъ марксизма тактическій маневръ и признаютъ, вопреки очевидности, неистребимость марксистской вѣры въ большевистской партіи, постулируютъ нѣкоторое чудо. Они рисуютъ не людей, а сверхчеловѣковъ, героевъ или демоновъ, абсолютно чуждыхъ человѣческимъ слабостямъ и страстямъ, не поддающихся никакимъ вліяніямъ жизни и представляющихъ собой чистый сгустокъ неразлагающейся доктрины. Словомъ, они легковѣрно принимаютъ за дѣйствительность созданный большевиками миѳъ о самихъ себѣ. На самомъ дѣлѣ, сохраненіе большевистской партіи и ея доктрины хотя бы въ теченіе пятнадцати лѣтъ послѣ побѣды, — и то представляетъ явленіе, небывалое въ исторіи: якобинцы разложились въ три-четыре года. Но, отдавая должное организаторскимъ способностямъ Ленина, слѣдуетъ признать, что пятнадцать-семнадцать лѣтъ для ея разложенія срокъ болѣе, чѣмъ достаточный. Сталинъ съ 1925 года работаетъ надъ размалываніемъ ленинскаго гранита. Къ 1935 году онъ можетъ считать свою задачу оконченной.

Было бы чрезвычайно интересно установить, что отъ старой соціалистической вѣры сохранилось въ сознаніи Сталина и его сподвижниковъ. Къ сожалѣнію, русскій диктаторъ принадлежитъ къ числу молчаливыхъ и лукавыхъ. Когда онъ беретъ слово, то, конечно, не для откровенныхъ изліяній. Думается все же, что представлять его абсолютнымъ циникомъ нѣтъ основаній. Да и въ современной Россіи, танцующей подъ дудку, повторяющей на тысячу ладовъ его директивы, остается нѣкоторый устойчивый комплексъ, неприкосновенный для критики. Этотъ комплексъ чаще всего называется соціализмомъ или соціалистической культурой. Но что теперь въ Россіи понимаютъ подъ соціализмомъ?

Когда-то Ленинъ далъ свое знаменитое опредѣленіе: «Соціализмъ — это совѣтская власть плюсъ электрофикація». Ленинъ не претендовалъ, конечно, на точность и полноту. Но въ своемъ парадоксѣ онъ нечаянно выразилъ нѣчто очень существенное для духа большевизма и его эволюціи. Въ этомъ опредѣленіи замѣчательнѣе всего полное отсутствіе соціальныхъ и этическихъ моментовъ, т. е. того, что составляетъ самую природу соціализма. Не равенство, не уничтоженіе классовъ, не рабочее или пролетарское общество... Но власть и техника. Власть совѣтовъ уже была для Ленина псевдонимомъ диктатуры его партіи. Пока власть принадлежитъ компартіи, соціа-

лизмъ строится — если еще не построенъ. Для окончательнаго построенія достаточно «электрофикаціи», т. е. индустріализаціи страны. Сталинъ цѣликомъ воспринялъ эту формулу — съ тѣмъ различіемъ отъ Ленина, что за ней для него нѣтъ ничего подразумѣваемаго (соціальнаго), что, конечно, связывало Ленина съ основоположниками соціализма. Эгалитарныя тенденціи соціализма, подъ кличкой «уравниловки» разрушались имъ сознательно. Съ политической частью формулы произошло дальнѣйшее суженіе, въ порядкѣ послѣдовательныхъ уравненій, типичныхъ для диктатуры: пролетаріатъ=компартія=Политбюро=Генеральный Секретарь. Сталинъ можетъ сказать совершенно спокойно: соціализмъ — это я. Пока я у власти, страна идетъ къ соціализму. Индустріализація Россіи остается единственнымъ напоминаніемъ о марксистской идеѣ развитія производительныхъ силъ.

Сліяніе абсолютной власти съ индустріализаціей означаетъ государственное хозяйство. Чѣмъ выше хозяйственная мощь государства, тѣмъ больше въ странѣ соціализма. Такъ смотрятъ на дѣло въ Россіи, и, вѣроятно, тамъ были бы очень удивлены, если бы мы потребовали для соціализма другихъ опредѣленій. Отъ классово-пролетарскаго или коммунистически-эгалитарнаго характера соціализма въ сталинской Россіи не остается ничего.

Можно было бы спросить себя, почему, если марксизмъ въ Россіи приказалъ долго жить, не уберутъ со сцены его полинявшихъ декорацій. Почему на каждомъ шагу, измѣняя ему и даже издѣваясь надъ нимъ, ханжески бормочутъ старыя формулы? — Но всякая власть нуждается въ извѣстной идеологіи. Власть деспотическая, тоталитарная больше всякой иной. Но создать заново идеологію, соотвѣтствующую новому строю, задача, очевидно, непосильная для нынѣшнихъ правителей Россіи. Марксизмъ для нихъ вещь слишкомъ мудреная, въ сущности почти неизвѣстная. Но открытая критика его представляется вредной, ибо она подрывала бы авторитетъ Ленина и партіи, съ именемъ котораго неразрывно связана октябрьская революція. Отрекаться отъ своей собственной революціонной генеалогіи — было бы безразсудно. Французская республика 150 лѣтъ пишетъ на стѣнахъ: «Свобода, равенство и братство», несмотря на очевидное противорѣчіе двухъ послѣднихъ лозунговъ самымъ основамъ ея существованія. Сталинъ не первый изъ марксистовъ, предпочитающій «ревизію» Маркса прямой борьбѣ съ нимъ.

Сложнѣе вопросъ о партіи: почему не ликвидирована пар-

тія вмѣстѣ съ ликвидаціей основъ ея міросозерцанія? Каковъ смыслъ коммунистической партіи, очищенной отъ коммунизма? Но эта тема ставитъ передъ нами вопросъ о характерѣ единодержавія Сталина.

Парадоксъ личнаго режима Сталина заключается въ полной безличности диктатора. Сталинъ, объявленный «великимъ и геніальнымъ» вождемъ революціи, не оказалъ ей никакихъ существенныхъ услугъ. Второстепенная фигура исполнителя, онъ исчезалъ въ сіяніи настоящихъ вождей — въ періодъ борьбы и побѣдъ. Къ власти онъ пришелъ черезъ партійную демократію, какъ servus servorum, секретарь секретарей. Его власть — власть партійнаго аппарата диктатуры. Ни идеи ни личныя дарованія здѣсь ни при чемъ. Но тогда, какъ можетъ Сталинъ подрубать опору партіи, съ которой онъ пришелъ къ власти?

Разгадка заключается, вѣроятно, въ томъ, что Сталинъ почувствовалъ узость и шаткость партійнаго помоста для своего трона — въ эпоху убыли революціонной волны. Вѣроятно, онъ видитъ, что партія далеко не пользуется популярностью въ странѣ. Если безпартійныя массы ненавидятъ коммунистовъ, то Сталинъ хочетъ отвести отъ себя эту ненависть. Онъ хочетъ быть не вождемъ партіи (какимъ былъ Ленинъ), а вождемъ страны. Для этого онъ изобрѣтаетъ психологически очень удачную категорію: «безпартійные большевики». Сюда относятся всѣ совѣтскіе активисты, всѣ лойяльные и усердствующіе граждане. Сталинъ хочетъ быть ихъ вождемъ. Вождь — это, вѣроятно, слишкомъ мало подходящее слово для контръ-революціонной эпохи. Сталинъ не ведетъ, а властвуетъ. Онъ единственное воплощеніе политической воли въ странѣ. Его отношеніе къ народу болѣе напоминаетъ самодержавнаго деспота, играющаго въ патріархальность, чѣмъ политическаго вождя. Иные жесты его кажутся прямо скопированными съ Николая I. Сталинъ, бесѣдующій съ дѣвочкой во время демонстраціи на Красной площади, поразительно напоминаетъ Николая Павловича въ кадетскомъ корпусѣ; колхозницы, плачущія отъ восторга послѣ посѣщенія самого Сталина въ Кремлѣ, повторяютъ мотивъ крестьянскаго обожанія царя. Сталинъ и есть «красный царь», какимъ не былъ Ленинъ. Его режимъ вполнѣ заслуживаетъ названіе монархіи, хотя бы эта монархія не была наслѣдственной и не нашла еще себѣ подходящаго титула.

Отсутствіе титуловъ возмѣщается личной лестью, возведенной въ государственную систему. Нѣтъ эпитетовъ слишкомъ торжественныхъ и величественныхъ для Сталина, одного изъ

самыхъ сѣрыхъ и ординарныхъ людей, выдвинутыхъ ленинской партіей. Что этотъ ѳиміамъ воскуряется по прямому требованію диктатора, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Вопросъ лишь въ томъ, какая доля государственныхъ соображеній руководитъ этимъ новымъ культомъ, и что слѣдуетъ отнести на долю личнаго опьяненія или одуренія властью. Когда Сталинъ допускаетъ — а въ Россіи это значитъ требуетъ, — чтобы писатели называли его первымъ стилистомъ, а ученые величайшимъ философомъ міра, — дѣлается страшно за его бѣдную голову. Кажется, что человѣкъ ходитъ на грани безумія. Но здравый смыслъ, проявляемый имъ во многихъ жизненныхъ вопросахъ, подсказываетъ другое объясненіе: это не безуміе, а поразительно низкій уровень культуры, который дѣлаетъ этого дикаря совершенно беззащитнымъ передъ винными парами своего всемогущества. Сталинъ лишенъ чувства смѣшного. Но онъ понимаетъ, что, сворачивая съ ленинской дороги, его власть нуждается въ новой, личной санкціи. Сталинъ долженъ быть величайшимъ геніемъ, чтобы имѣть право не считаться съ догматами Маркса и завѣтами Ленина.

Отъ власти — къ управленію. Каковъ тотъ аппаратъ, съ помощью котораго Сталинъ правитъ Россіей? Этотъ аппаратъ чрезвычайно тяжелъ и громоздокъ, лишенъ единства и представляетъ собой нагроможденіе органовъ диктатуры. Съ тѣхъ поръ, какъ партія утратила свое независимое идейное содержаніе, можно говорить объ утроеніи государственнаго аппарата: совѣтское управленіе, партійные органы, его дублирующіе, бывшее ГПУ. Несмотря на формальное включеніе ГПУ, подъ именемъ Ком. Вн. Дѣлъ, въ общую систему совѣтскаго управленія, этотъ органъ попрежнему пользуется полной самостоятельностью. Самостоятельность политическаго сыска характерна для всякой деспотической власти. Но двойственность партійнаго и совѣтскаго аппарата является страннымъ пережиткомъ. Вѣроятно, практически почти всѣ коммунисты втянуты на службу въ совѣтскихъ учрежденіяхъ. Но такъ какъ ихъ партійная іерархія не совпадаетъ съ совѣтской, и партійный билетъ даетъ или давалъ до сихъ поръ огромный перевѣсъ рядовому коммунисту надъ безпартійнымъ его начальникомъ, то эта двойственность должна дезорганизовать всю систему управленія. У диктатора должны быть вѣскія основанія для этой растраты административныхъ силъ. Такимъ основаніемъ является личная ему вѣрность партійныхъ секретарей. Коммунисты въ Россіи сейчасъ суть граждане перваго класса, сверхлойяльные, принесшіе двойную присягу: общеполитическую — государству, и

лично-вассальную — вождю. Ими диктаторъ распоряжается съ бо̀льшей свободой и увѣренностью: можетъ перебрасывать ихъ какъ угодно и употреблять для надзора и контроля чисто государственныхъ учрежденій. Но эти функціи партіи снова пересѣкаются съ ГПУ. Административная путаница, очевидно, терпится потому, что власть дорожитъ всякой лишней надстройкой диктатуры. Въ связи съ непрекращающимся правительственнымъ терроромъ, это обстоятельство говоритъ за то, что у власти нѣтъ достаточно широкой соціальной опоры. И это предположеніе оправдывается анализомъ соціальныхъ слоевъ, составляющихъ новое общество въ Россіи эпохи сталинизма. Никогда еще, за все время революціи, власть не была такъ оторвана отъ широкихъ массъ, такъ мало «народна», несмотря на видимость (искусственную) обожанія ея носителя. На кого опирается Сталинъ? На рабочихъ? Но какъ разъ за послѣдній годъ ихъ и безъ того тяжелое положеніе еще ухудшилось. Отмѣна хлѣбныхъ карточекъ означаетъ пониженіе реальной заработной платы. Главная цѣль стахановскаго движенія — увеличить трудовую нагрузку полуголоднаго пролетаріата. Недаромъ рабочіе отвѣчаютъ уже убійствомъ піонеровъ новаго тэйлоризма.

Крестьяне? Могли ли они забыть столь недавно, всего 5 лѣтъ тому назадъ, произведенную Сталинымъ грандіозную революцію — или контръ-революцію — противъ крестьянства, гибель своей свободы, возстановленіе, подъ именемъ колхозовъ, крѣпостного строя? Есть ли въ деревнѣ семья, которая не имѣла бы среди своихъ близкихъ сосланныхъ, разстрѣленныхъ, умершихъ отъ голода? Милліоны голодныхъ смертей всего два года назадъ отмѣтили успѣхи сталинскаго соціализма по всему югу Россіи. Съ тѣхъ поръ диктатура даровала крестьянамъ дворовые участки, на которыхъ они, неся крѣпостную и не ограниченную временемъ барщину въ пользу государства-помѣщика, могли бы съ грѣхомъ пополамъ кормиться. Огородъ, корова, свинья — могли ли примирить крестьянина съ колхознымъ рабствомъ? Сомнѣваюсь. Можетъ-быть, этой подачкой Сталинъ предотвратилъ взрывъ и непосредственную угрозу мужицкаго возстанія. Но едва ли пріобрѣлъ популярность. Скорѣе слѣдуетъ предполагать глухую ненависть къ нему со стороны какъ разъ трудящихся классовъ, — тѣхъ, что сдѣлали октябрьскую революцію. Въ этомъ, соціальномъ, смыслѣ октябрьская революція продѣлала полный кругъ. Начавшись съ возстанія рабоче-крестьянской Россіи, она закончилась ея полнымъ порабощеніемъ. Народъ въ сталинской Россіи является не субъектомъ,

а объектомъ власти, фундаментомъ новой государственной пирамиды.

На кого же, въ соціальномъ смыслѣ, опирается власть? Въ годы пятилѣтки на это можно было отвѣтить такъ: на молодежь, на все, что было въ Россіи юнаго, наивно-жизнерадостнаго, героическаго, сохранившаго вѣру въ соціальное знамя. Именно молодежь, отрываемая безпощадно отъ «учебы», перебрасывалась тысячами на «узкія» мѣста строительства на заводахъ и въ деревню, чтобы грудью перерѣзать колючую проволоку, заполнять своими трупами рвы — и въ то же время подгонять отсталыхъ, пассивныхъ, выполнять роль добровольныхъ палачей своего народа. Эта молодежь мечтала построить на землѣ соціалистическій рай. Глубоко было ея разочарованіе къ исходу пятилѣтки, несмотря на цифры техническихъ достиженій. Въ результатѣ стройки Россія оказалась обнищавшей и раззоренной. А непосредственные результаты были такъ далеки отъ фантастическихъ идеаловъ. Отсюда разрывъ соціалистическаго актива со Сталинымъ, — разрывъ, сигналомъ котораго былъ выстрѣлъ Николаева. Съ тѣхъ поръ Сталинъ не переставая ведетъ борьбу съ этой молодежью, еще вчера ему преданной. Троцкисты, зиновьевцы, лѣваки, добиваемые имъ — это все та же молодежь. Увидѣвъ для себя опасность соціалистической школы, воспитавшей утопистовъ, Сталинъ хочетъ заставить молодежь учиться по-старинкѣ, вводитъ дисциплину, экзамены, издѣвается надъ неграмотностью и некультурностью людей, которые вчера считались авангардомъ коммунизма. Но, выбрасывая изъ школы и изъ жизни мечтателей-утопистовъ, Сталинъ широко распахнулъ двери въ жизнь — практикамъ-профессіоналамъ. Всѣ, кто мечтаютъ о личной карьерѣ или увлечены своимъ спеціальнымъ дѣломъ, легко примиряются съ новой фазой диктатуры. Болѣе того, для нихъ она означаетъ подлинное освобожденіе и отъ принудительной жертвенности и отъ принудительнаго доктринерства.

Но эта группа выводитъ насъ изъ возрастной и моральной категоріи молодежи. Спеціалисты дороже въ работѣ, въ жизни, чѣмъ въ школѣ. Подлинная опора Сталина — это тотъ классъ, который онъ самъ назвалъ «знатными» людьми. Это тѣ, кто сдѣлали карьеру, кто своимъ талантомъ, энергіей или безсовѣстностью поднялись на гребень революціонной войны. Партійный билетъ и прошлыя заслуги значатъ теперь немного; личная годность въ соединеніи съ политической благонадежностью — все. Въ этотъ новый правящій слой входятъ сливки партійцевъ, испытанныхъ своей безпринципностью, чекисты, коман-

диры красной арміи, лучшіе инженеры, техники, ученые и художники страны. Стахановское движеніе ставитъ своею цѣлью вовлечь въ эту новую аристократію верхи рабочей и крестьянской массы, разслоить ее, соблазнить наиболѣе энергичныхъ и сильныхъ высокими окладами и поставить ихъ на недосягаемую высоту надъ ихъ товарищами. Сталинъ ощупью, инстинктивно повторяетъ ставку Столыпина на сильныхъ. Но такъ какъ не частное, а государственное хозяйство является ареной новой конкурренціи, то Сталинъ создаетъ новый служилый классъ, или классы, надъ тяглымъ народомъ, повторяя еще болѣе отдаленный опытъ Московскаго государства. Жизненный урокъ показалъ ему слабую сторону крѣпостного соціализма, — отсутствіе личныхъ, эгоистическихъ стимуловъ къ труду. Сталинъ ищетъ соціалистическихъ стимуловъ конкурренціи, соотвѣтствующихъ буржуазной прибыли. Онъ находитъ ихъ въ чудовищно-дифференцированной скалѣ вознагражденія, въ бытовомъ неравенствѣ, въ личномъ честолюбіи, въ орденахъ и знакахъ отличія, — наконецъ, въ элементахъ новой сословности. Слово «знатные люди» само по себѣ уже цѣлая сословная программа. Но созданіе «знатнаго» сословія не только экономическая необходимость. Въ еще большей степени, быть можетъ, это необходимость политическая. Править огромной, сведенной къ ничтожеству человѣческой массой — и притомъ ненавидящей власть — невозможно, не внося классоваго раздѣленія въ эту массу. Извлекая непрерывно всѣ активные и даровитые элементы народа для созданія новой аристократіи, режимъ обезпечиваетъ себѣ добровольную и крѣпкую опору. Деспотическая монархія, даже демократическая по своимъ истокамъ, неизбѣжно становится классово-образующимъ факторомъ.

Такъ въ эволюціи сталинизма подтверждается опытъ всѣхъ «великихъ» революцій: главный смыслъ ихъ состоитъ въ смѣнѣ правящаго слоя, и образованіе новой аристократіи означаетъ объективное завершеніе революціи.

Въ этой новой аристократіи есть одинъ элементъ, заслуживающій нашего пристальнаго вниманія. Это верхи интеллигенціи, старой и новой, прикормленной и прирученной диктаторомъ. Не одни «технократы», организаторы производства введены въ составъ знати. Сюда относятся и лойяльные ученые и вѣрные власти писатели. Литература и искусство въ Россіи признаны за политическую силу первой величины. Они проводятъ непосредственныя директивы Сталина не только въ хозяйственныхъ и политическихъ вопросахъ, но и въ созданіи «новаго» сталинскаго человѣка. Высокіе гонорары, цѣлая система го-

сударственнаго обезпеченія создаютъ въ литературной средѣ бодрое чувство своей привиллегированности, своего значенія для страны. Диктаторъ и самъ любитъ появляться въ литературныхъ кружкахъ. Онъ держитъ себя меценатомъ и разрѣшаетъ обращаться къ себѣ за управой и милостью въ случаѣ цензурныхъ притѣсненій. Максимъ Горькій, пользующійся большимъ личнымъ вліяніемъ на Сталина, играетъ роль посредника въ сближеніи диктатора съ литературнымъ міромъ. Результаты налицо. Сталинъ получилъ въ литературѣ блестящую рекламу — для Запада самое убѣдительное оправданіе своего режима. Онъ можетъ досыта упиться неслыханной лестью. И, какъ ни невѣроятны по грубости многія формы этой лести, мы не считаемъ возможнымъ объяснить ихъ цѣликомъ страхомъ и подкупомъ. Вполнѣ допустимо, что Сталинъ пріобрѣлъ популярность въ этой средѣ, для которой художественное ремесло — это все, нравственныя основы жизни — ничто. Представляя себѣ новую интеллигенцію по типу старой, народнической и жертвенной, мы ничего не поймемъ въ новой Россіи, созданной революціей. Для новыхъ людей смѣшны такія чувства, какъ жалость, сочувствіе народу, чистота убѣжденій. Но достиженія, но трудовой или художественный рекордъ — это то, что замѣняетъ нравственныя основы жизни. Поскольку Сталинъ облегчаетъ имъ творчество, они готовы считать его своимъ вождемъ. Для нихъ — формалистовъ и бытописателей — самая постановка государственныхъ темъ не мѣшаетъ, до поры до времени. Не все ли равно, о чемъ писать? Важно не «что», а «какъ». И вотъ Сталину удается собрать вокругъ своего шаткаго трона верхи русской интеллигенціи. Интеллигенція съ государствомъ, интеллигенція съ властью: такова ситуація, въ Россіи не повторявшаяся съ начала XIX вѣка. Дѣйствительно, новый режимъ въ Россіи многими чертами переноситъ насъ прямо въ XVIII вѣкъ. Та же массивная тяжесть государственной пирамиды; то же строительство культуры на костяхъ народа. Государство, какъ организаторъ культуры. Революціонно-раціоналистическій характеръ этой, проводимой сверху, культуры. Энтузіазмъ и лесть, окружающіе тронъ. «Оды на восшествіе на престолъ». Но въ то же время и огромная техническая и научная работа въ полудикой странѣ: географическія экспедиціи, Академія наукъ... Конечно, Сталинъ напоминаетъ скорѣе правителей эпохи бироновщины — палачей изъ тайной канцеляріи, живущихъ традиціей Великаго Петра... Но онъ уже чувствуетъ потребность расцвѣтить эту палаческую государственную работу блескомъ Елизаветинскаго или Екатерининскаго двора.

*
**

Неяснымъ и не однозначнымъ представляется образъ Россіи на исходѣ девятнадцатаго года ея революціи. Она все еще не нашла своего равновѣсія; все въ ней неустойчиво, текуче, больше обѣщаетъ, чѣмъ даетъ. Ея соціальный строй сейчасъ почти столь же шатокъ, какъ старый режимъ на исходѣ его жизни. Новое дворянство живетъ военнымъ лагеремъ, окруженное ненавистью подавленнаго народа. Найдетъ ли оно въ себѣ пониманіе и силу совершить его раскрѣпощеніе, которое, вѣдь, принципіально совмѣстимо съ соціалистической основой государственнаго хозяйства?

Въ Россіи не можетъ установиться надолго власть, которая не была бы признана и принята крестьянствомъ, составляющимъ сейчасъ огромное большинство въ странѣ. Если освобожденіе крестьянства, слишкомъ робко намѣченное Сталинымъ, не завершится ранѣе военнаго нападенія на Россію, она не выдержитъ новой войны.

Столь же туманно духовное будущее Россіи на ея сегодняшнемъ распутьѣ. Куда идетъ она? Къ соціалистическому мѣщанству, которое пророчилъ Герценъ для Европы, къ Пошехонью въ 1/6 части свѣта, или къ новому гуманизму, къ новому расцвѣту русскоой культуры и осуществленію пророческихъ обѣтованій XIX вѣка?

О если бы въ этотъ роковой часъ ея жизни до Россіи могли донестись наши мысли о ней, наши усилія, наши молитвы, а не только вопли ненависти, готовой, въ союзѣ съ ея врагами, нанести ей предательскій — можетъ быть, смертельный — ударъ!

ПИСЬМА О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

I

РУССКІЙ ЧЕЛОВѢКЪ

Начиная свои бесѣды с читателем о русской культурѣ, надо условиться, о чем будет рѣчь, чтобы в дебрях частностей не исчезла главная тема. Русская культура, о которой мы будем говорить на этих страницах, это не великое ея прошлое, уже отошедшее в исторію. Революція провела между этим прошлым и будущим рѣзкую грань. В сущности, в осмысленіи этой грани и состоит наша задача. Будущее скрыто от нас, но именно к нему устремлены наши взоры. Невозможность предсказаній особенно ясна на явленіях духовной культуры. Если это культура, заслуживающая этого имени, то творчество — творчество новаго — составляет самое опредѣленіе ея. Но творчество свободно, не предопредѣлено и, слѣдовательно, непредвидимо. Попробуйте предсказать заранѣе научное открытіе, не говоря уже о художественном произведеніи. Чѣм выше оно, тѣм неожиданнѣе, удивительнѣе, чудеснѣе. Задним числом пытаются «объяснить» его. Но в сущности не идут дальше общаго его фона, обстановки, в которой оно увидѣло свѣт. Его рожденіе — богочеловѣческая тайна.

Но всякое созданіе культуры имѣет этот общій фон, который состоит из традицій, из соединенных усилій народа, из «общаго дѣла». Взятая из большой дали, культура обнаруживает единство — по крайней мѣрѣ, единство направленности. Так мы можем сказать, даже читая в переводах: это русскій автор, это французскій. Лишь об этих общих чертах, общих предпосылках національнаго стиля и может говорить историк. Лишь в этом общем завтрашній день продолжает вчерашній; здѣсь возможно, если не предвидѣніе, то ожиданіе.

Русская литература — и русская культура в цѣлом — до революціи имѣла свою направленность. Она обращала к будущему свои опредѣленные вопросы. Но эта нить рѣзко оборвана. Возможно ли связать ее узлом в той точкѣ (1917 г.), гдѣ она

Впервые опубликовано в журнале "Русские записки", № 3, Париж 1938.

оборвалась? Я этого не думаю. Признаюсь в своей слабости. Будучи рѣшительным противником политической реставраціи, я ничего не имѣл бы против реставраціи культурной. Со всѣми своими недостатками, даже пороками, культура старой Россіи мила мнѣ, как и всѣм людям моего поколѣнія. Нам, привыкшим к ея приволью и благородству, трудно дышать в другом воздухѣ. Но надо смотрѣть правдѣ в глаза: мертваго не воскресить. Не переставая помнить о нем всегда с грустью и нѣжностью, мы должны жить для живого, для тѣх дѣтей и внуков, которые, может-быть, мало радуют нас, но в которых живет наш род, живет Россія. Будущее Россіи сейчас уже связано не с тѣм поколѣніем, которое было застигнуто войной 1914 года, а с тѣм, которое воспитано октябрьской революціей. О, конечно, и ему предстоит пережить много кризисов, много духовных переломов. Но едва ли оно будет выкорчевано с корнем, как наше. Во всяком случаѣ, совершенно не видно, что могло бы смѣнить его. Ибо это поколѣніе — вся Россія.

Но, разумѣется, историк знает, что, как не рѣзки бывают историческіе разрывы революціонных эпох, они не в силах уничтожить непрерывности. Сперва подпочвенная, болѣзненно сжатая, но древняя традиція выходит наружу, сказываясь не столько в реставраціях, сколько в самом модернистском стилѣ воздвигаемаго зданія. Однако, старина эта бывает не похожа на недавнее, только что убитое прошлое. Из катастрофы встают ожившими гораздо болѣе древніе пласты. Можно сказать, пожалуй, что в человѣческой исторіи, как в исторіи земли, чѣм древнѣе, тѣм тверже: гранит и порфир не легко разсыпаются. Вот почему, не мечтая о воскрешеніи начал XIX вѣка, мы можем ожидать — и эти ожиданія отчасти уже оправдываются — воскрешенія старых и даже древних пластов русской культуры. Октябрьское поколѣніе не помнящих родства было бы безсильно что-либо создать, если бы в нем — и в нем также! — не жил геній народа. — Вот почему необходимо имѣть всегда перед глазами этот фон тысячелѣтней исторіи, на котором выдѣляются взбунтовавшіеся против него, но уже усмиряемые им «октябристы». Эти соображенія опредѣляют направленіе наших поисков. Мы ищем предпосылок будущей культуры Россіи в ея настоящем, стараясь уяснить его в свѣтѣ прошлаго.

1

Первой предпосылкой культуры является сам человѣк. Мы жадно вглядываемся в черты новаго человѣка, созданнаго революціей, потому что именно он будет творцом русской культуры.

Вглядываемся — и не узнаем его. Первое впечатлѣніе — необычайная рѣзкость происшедшей перемѣны. Кажется, что перед нами совершенно новая нація. Спрашиваешь себя с волненіем и даже мукой: полно, да русскій ли это человѣк? Перебираешь одну за другой черты, которыя мы привыкли связывать с русской душевностью, и не находишь их в новом человѣкѣ. И вмѣстѣ с тѣм сколько новых качеств, которыя мы привыкли видѣть в чужих, далеких національных типах. Что осталось от «Святой» и от «вольной» Руси, но также и от Обломова, от «мальчика без штанов» и от всѣх положительных и отрицательных воплощеній русскаго національнаго лица? Мы привыкли думать, что русскій человѣк добр. Во всяком случаѣ, что он умѣет жалѣть. В русской мучительной, кенотической жалости мы видѣли основное различіе нашего христіанскаго типа от западной моральной установки. Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни и из русскаго сердца. Поколѣніе, воспитанное революціей, с энергіей и даже яростью борется за жизнь, вгрызается зубами не только в гранит науки, но и в горло своего конкурента-товарища. Дружным хором ругательств провожают в тюрьму, а то и в могилу, поскользнувшихся, павших, готовы сами отправить на смерть товарища, чтобы занять его мѣсто. Жалость для них бранное слово, христіанскій пережиток. «Злость» — цѣнное качество, которое стараются в себѣ развивать. При таких условіях им не трудно быть веселыми. Чужія страданія не отравляют веселья, и новыя совѣтскія пѣсни, вѣроятно, не звучат совершенно фальшиво в СССР:

И нигдѣ на свѣтѣ не умѣют,
Как у нас, смѣяться и любить...

Мы привыкли считать, что русскій человѣк отличается тонкой духовной организаціей (даже в народѣ): что он «психологичен», чуток, не переносит фальши. Недавнія заграничныя гастроли Художественнаго Театра показали всему свѣту, что талантливѣйшіе русскіе артисты разучились передавать тонкія душевныя движенія. Им доступно лишь рѣзко очерченное, грубое, патетическое. Самое замѣчательное, что в этом нѣт ничего нарочитаго. Они хотѣли бы дать психологическую драму, хотѣли бы сохранить наслѣдіе Станиславскаго, они еще учатся у старых учителей. Но жизнь сильнѣе школы. Выйдя из новаго поколѣнія, они приносят с собой его безчувственность, — которая не исключает, конечно, художественной одаренности.

Мы привыкли считать, что русскій человѣк индивидуалист-одиночка, не способный к организаціи и общему дѣлу. Наши

большіе люди всегда бунтари и чудаки, идущіе своим путем, не подчиняющіеся соціальной дисциплинѣ. О чем же говорит техника новых русских актеров, спортивных команд, пѣвческих хоров? Великолѣпныя массовыя сцены, слаженность дѣйствій, изумительная четкость коллективных движеній, — при сравнительной бѣдности личных талантов. Нѣт геніев, но много талантов, и таланты эти раскрываются в коллективѣ. Да, вѣдь это почти торжество нѣмецкой «умѣренности и аккуратности», хотя и в боевых, военных темпах. Русскій народ оказывается народом солдат, а не партизанов, команд, «Экип», а не искателей, одиночек, бунтарей.

Этот ряд противопоставленій можно было бы продолжить далеко. Оставлю пока без провѣрки, насколько основательны наши ходячія представленія о нас самих. Мы привыкли, как и всѣ народы, глядѣться в кривое зеркало. Но факт несомнѣнен: всѣ характеристики русской души, удобныя в прошлом, отказываются служить для новаго человѣка. Он совершенно другой, не похожій на предков. В нем скорѣе можно найти тот культурный тип, в отталкиваніи от котораго мы всегда искали признак русскости: тип нѣмца, европейца, «мальчика в штанах». Homo Europaeo-Americanus. Это вѣчное пугало русских славянофилов, от котораго они старались уберечь русскую землю, повидимому, сейчас в ней торжествует. Такое первое впечатлѣніе, которое, конечно, нуждается в повѣркѣ.

Самый факт необычайно рѣзкаго перелома не подлежит сомнѣнію. Не далеко искать и причины его рѣзкости и глубины. Сама по себѣ революція — и какая! — не могла не перевернуть національнаго сознанія. Ни один народ не выходит из революціонной катастрофы таким, каким он вошел в нее. Зачеркивается цѣлая историческая эпоха, с ея опытом, традиціей, культурой. Переворачивается новая страница жизни. В Россіи жестокость революціоннаго обвала связана была к тому же с сознательным истребленіем стараго культурнаго класса и замѣной его новой, из низов поднявшейся интеллигенціей. Второй источник катастрофы — хотя и совершенно мирный — заключается в чрезвычайно быстром процессѣ пріобщенія масс к цивилизаціи, в ея интернаціональных и очень поверхностных слоях: марксизм, дарвинизм, техника. Это, в сущности, процесс раціонализаціи русскаго сознанія, в который народ, т. е. низшіе слои его, вступил еще с 60-х годов, но, который, протекая сперва очень медленно, ускорялся в геометрической прогрессіи, пока, наконец, в годы революціи не обрушился настоящей лавиной и не похоронил всего, что сохранилось в народной душѣ от московскаго православнаго наслѣдія. Двад-

цать лѣт совершили работу столѣтій. Психологическія послѣдствія таких темпов должны быть чрезвычайно тяжкими. Прибавьте к этому и третье, неслыханное и небывалое в исторіи осложненіе: тоталитарное государство, которое рѣшает создать новый тип человѣка, опираясь на чудовищную монополію воспитанія и пропаганды и на подавленіе всѣх инородных вліяній. Эта задача удалась — по крайней мѣрѣ, в отрицательной части: новая интеллигенція, прошедшая через совѣтскую школу и давно уже оттѣснившая остатки старой во всѣх областях культуры и жизни, совершенно не похожа на старую и на тот «старый» народ, из нѣдр котораго она вышла. Новый человѣк: Europaeo-Americanus.

Что же, значит ли это, что Россія умерла? Что СССР, союз восточно-европейских народов, лишен какой бы то ни было русской національной окраски, и нельзя уже в будущем говорить о русском народѣ, как носителѣ особой національной культуры? Заключеніе поспѣшное, но вопрос ставится именно так. Как ни дико это звучит для нашего уха, но мы должны имѣть мужество смотрѣть прямо в лицо будущаго. Націи не вѣчны. Тысячелѣтіе, может-быть, не слишком ранній срок для смерти націи, хотя мы не знаем никаких законов, опредѣляющих длительность ея жизни. Поищем аналогій в исторіи — не для того, чтобы грубо примѣнять их к Россіи, но хотя бы для того, чтобы освободиться от предразсудков, от все еще не изжитых, несмотря на всѣ катастрофы, оптимистических иллюзій XIX вѣка.

2

Аналогіи бывают разныя. Есть и очень успокоительныя. Каждая нація проходит через глубокіе кризисы, которые радикально мѣняют ея лицо. Оставаясь в предѣлах XIX вѣка, как измѣнилось, и при том не раз, лицо Германіи! Германія романтизма, Германія Бисмарка и Германія Гитлера — кажутся совершенно разными націями. Русскій роман XIX вѣка («Дворянское Гнѣздо») сохранил нам трогательный образ нѣмца: прекраснодушнаго, чистаго сердцем, немножко смѣшного в своей наивности, преданнаго музам и мечтам. То было время (или реминисценція времени), когда нѣмец в политикѣ играл роль смѣшного «Михеля», и раздробленная Германія удовлетворяла свое честолюбіе единственно в сферѣ духа. Столѣтіе от Лессинга до Гегеля, в самом дѣлѣ, вѣнчало Германію королевой европейской мысли. За элитой мудрецов и поэтов стоял народ — трудолюбивый, честный, лойяльный, добродушный.

Двадцать лѣт (1848-1870), и Михель создает имперію. Романтическія мечты молодости сданы в архив. Трезвый, практическій, с волевым упорством и методичностью, он борется за производство, строит великую науку, колоссальную индустрію, могущественное государство. Надо всѣм начинает доминировать «воля к власти». Это путь, который в годы великой войны русская интеллигенція грубовато окрестила: от Канта к Круппу. Четыре года (1914-1918) сверхчеловѣческаго напряженія, и бисмарковскій нѣмец погиб. Его смѣнил нѣмец Гитлера. Неврастеник, фантазер, разучившійся работать методически и отдавшійся во власть фантастической грезы. Судороги насилія он принимает за выраженіе силы и манію величія за національное самосознаніе. Теперь он презирает интеллектуальный труд и живет лишь пафосом войны. Из всего великаго прошлаго Германіи ему импонирует только «бѣлокурый звѣрь» первобытнаго язычества. Как связать воедино эти три образа Германіи? Признаемся в своем безсиліи. Ясны тѣ связи, которыя идут от дѣдов к отцам и внукам: Германія Бисмарка живет капиталом мысли и трудолюбія, накопленным Михелем. Гитлер взял от отцов «волю к власти» и от дѣдов романтику ирраціональнаго. Но, глядя со стороны, эти три человѣческих типа кажутся не имѣющими ничего общаго. Нужно время, которое успокоит бурю и выявит длительныя, устойчивыя черты на лицѣ націи. Если... если только нація не погибнет. Т. е. не разрушится до конца то глубокое и неопредѣлимое единство, которое мы называем нѣмецким народом.

Но примѣр Германіи скорѣе говорит — хотя и без особых убѣдительных доказательств — о прочности національнаго организма, переживающаго бурныя катастрофы и болѣзни роста. Однако, судьба современной Европы может навести и на болѣе пессимистическія мысли о жизни и смерти націй. Можно говорить о постепенном вывѣтриваніи національнаго своеобразія почти у всѣх великих западных націй. Современная культура все болѣе сливает многообразіе европейских типов в один — европейскій. Странно говорить об этом в эпоху обостреннаго національзма, когда народы Европы всѣ повернулись спиной друг к другу. Но ненависть раздѣляет часто кровных братьев, ненавидят чаще свое, домашнее, современная національная ненависть является отраженіем внутренних политических страстей. Ненависть направлена на народы фашистскіе, демократическіе, коммунистическіе, т. е. в концѣ концов, на внутренних врагов; на тот политическій тип, который хотят истребить в своей собственной странѣ. Прибавьте противорѣчія интересов, дѣйствительныя или мнимыя, между государствами

(а это не то же, что націи), психологію страха, злопамятства, реванша или самозащиты. Среди сил, раздѣляющих Европу, я не вижу противорѣчій національнаго духа. Вот уже цѣлое столѣтіе, как этот національный дух разлагался капиталистической научной культурой, общей всему Западу. Болѣе всего денаціонализаціи подверглись тѣ классы, которые были носителями новой цивилизаціи: торгово-промышленная буржуазія, ученая и культур-трегерская интеллигенція, артистическая богема — и, наконец, промышленный пролетаріат. Національное сознаніе хранилось древней и той большой литературой, которая жила традиціей. Борьба между уходящей націей и торжествующей Америко-Европой не кончена, но побѣда послѣдней чрезвычайно ускорена революціями послѣдних лѣт. При этом цѣли и лозунги революцій безразличны: коммунизм в Россіи и фашизм в Италіи (я спрашиваю себя: и расизм в Германіи?) имѣли одинаково денаціонализирующее дѣйствіе на подвергшіеся им народы. Всѣ новѣйшія революціи создают один и тот же психологическій тип: военно-спортивный, волевой и анти-интеллектуальный, технически оріентированный, строющій іерархію цѣнностей на приматѣ власти. Этот тип человѣка есть послѣдній продукт западной цивилизаціи, продукт перерожденія буржуазнаго индивидуализма. В нем нѣт ничего русскаго, нѣмецкаго, итальянскаго. Особенно горестна и даже трагикомична судьба Италіи. Италія дольше других націй сохраняла связь с землей, со средневѣковым прошлым, великим и своеобразным. Капитализм был безсилен стереть его черты. Понадобилась мнимо національная революція Муссолини, чтобы уничтожить старый, благородный народ и превратить его в «потомка римлян», т. е. в европо-американца. Характерно это равнодушіе, с каким Муссолини разрушает средневѣковый Рим, чтобы обнажить излюбленные им остатки Рима античнаго. Но всякому извѣстно, что императорскій Рим не имѣл своей національной культуры, что между древним Римом и современной Италіей нѣт ничего общаго; что наслѣдіе Рима досталось не Италіи, а всей Европѣ, и что, пожалуй, среди всѣх европейских націй на римское духовное наслѣдство имѣет больше прав Франція. Муссолини разрушил Италію совершенно так же, как Ленин Россію и, может быть, как Гитлер Германію.

Но судьба европейских націй еще не рѣшена. Борьба не кончена; силы духовной реакціи еще находят себѣ опору в пробужденіи религіознаго чувства, в исторической памяти и «регіонализмѣ». Воскрешеніе к жизни стольких малых націй гальванизирует и старыя, одряхлѣвшія. Исход этого драматическаго процесса не ясен. Но в прошлом мы имѣем примѣры гибели

націй. Среди них можно найти один, необычайно поучительный, — потому что он совершился без катастроф, без завоеваній, с сохраненіем видимой непрерывности языковой и политической. У нас видят в языкѣ и государствѣ чуть ли не исчерпывающую характеристику націи. Ну, так есть, или был народ, который сохранил и язык и государство, перестав быть самим собой. Я говорю о греках: Кто серьезно признает в современных греках соотечественников Перикла и Сократа? А между тѣм литературный язык их чрезвычайно близок к классическому. В Византіи писали почти чистым греческим языком, конечно, с легкими перемѣнами в словарѣ, но не большими, чѣм это обычно в многовѣковой исторіи единаго народа. Римская имперія, в составѣ которой жили классическіе греки со второго вѣка до Р. Х., не была разрушена. Государство, которое мы называем условно Византіей, само себя называло Римской имперіей. А между тѣм духовный тип византійскаго грека настолько далек от классическаго, что их можно просто считать антиподами. Как же, в какой момент времени совершилось перерожденіе классическаго типа? Для этого не надо было тысячелѣтія, процесс совершился гораздо болѣе быстро, хотя и незамѣтно для современников. В третьем вѣкѣ по Р. Х. греческая литература (Плотин) еще безспорно принадлежит классической древности. В пятом вѣкѣ столь же безспорно — Византіи. Перерожденіе произошло за одно столѣтіе. IV вѣк был временем принятія христіанства и острой оріентализаціи Имперіи. Этих двух чисто духовных факторов было достаточно, чтобы породить новый народ из элементов стараго, при полном сохраненіи государства и языковой традиціи. Явленіе поразительное и угрожающее для современной Европы и Россіи. В особенности, для Россіи.

Россія переживает сейчас процесс, совершенно подобный константиновской имперіи: перемѣну религіи и острую окцидентализацію — в маштабѣ всенародном. Устоит ли в этом перерожденіи русскій національный тип — и при каких условіях? Вот вопрос, который нас мучит. Отвѣт на него может дать только будущее. Сейчас ясно лишь, что борьба за русскую душу не кончена. Может-быть, она только еще начинается. Опасность несомнѣнна и грозна. Но то живое, что долетает до нас из Россіи, не дает права хоронить ее. Русская литература, как бы ни относиться к ней, все-таки русская, а не европейско-американская. И совсѣм уже русская — пѣсня, которую там поют. Вот почему нельзя сплеча рѣшать вопрос о гибели или перерожденіи русской націи; а слѣдует болѣе пристально вглядываться в происходящія там глубокія измѣненія. Полный смысл

этих измѣненій откроется в будущем. Сейчас мы можем лишь спрашивать себя, какія черты «русскости» погибли, какія сохранились в грандіозной катастрофѣ старой Россіи.

3

Какими словами, в каких понятіях охарактеризовать русскость? Если безконечно трудно уложить в схему понятій живое многообразіе личности, то насколько труднѣе выразить болѣе сложное многообразіе личности коллективной. Оно дано всегда в единствѣ далеко расходящихся, часто противорѣчивых индивидуальностей. Покрыть их всѣх общим знаком невозможно. Что общаго у Пушкина, Достоевскаго, Толстого? Попробуйте вынести общее за скобку, — окажется так ничтожно мало, просто пустое мѣсто. Но не может быть опредѣленія русскости, из котораго были бы исключены Пушкин, Достоевскій и столько еще других, на них непохожих. Иностранцу легче схватить это общее, котораго мы в себѣ не замѣчаем. Но зато почти всѣ, слишком общія сужденія иностранцев отзываются нестерпимой пошлостью. Таковы и наши собственныя оцѣнки французской, нѣмецкой, англійской души.

В этом затрудненіи, — повидимому, непреодолимом, — единственный выход — в отказѣ от ложнаго монизма и в изображеніи коллективной души, как единства противоположностей. Чтобы не утонуть в многообразіи, можно свести его к полярности двух несводимых далѣе типов. Схемой личности будет тогда не круг, а эллипсис. Его двоецентріе образует то напряженіе, которое только и дѣлает возможным жизнь и движеніе непрерывно измѣняющагося соборнаго организма. Все остальное может быть сведено к одному из этих двух центров. В этом есть извѣстное насиліе над жизнью, но менѣе грубое, чѣм в монистических построеніях. При болѣе пристальном разсмотрѣніи каждый из центров національной души представится сам сложным многоединством. Его, в свою очередь, можно разлагать на составные элементы. Пусть это рабочій пріем, но пріем, себя оправдывающій. Если он не удовлетворяет нашего — очевидно, неосуществимаго — томленія по духовно-національному монизму (который может быть явлен лишь в послѣдней гармоніи Царства Божія), зато он хорошо объясняет природу историческаго движенія, драму расколов, кризисов и самую возможность развитія.

Если сейчас, в эмиграціи, попросить кого-нибудь из рядовых бѣженцев дать характеристику «русскости», я увѣрен, что мы получим два прямо противоположных портрета. Стиль этих

портретов нерѣдко совпадает с политическим лагерем эмигранта. Правые и лѣвые видят совершенно иное лицо русскаго человѣка и лицо Россіи.

Возьмем лѣвый портрет. Это вѣчный искатель, энтузіаст, отдающійся всему с жертвенным порывом, но часто мѣняющій своих богов и кумиров. Беззавѣтно преданный народу, искусству, идеям — положительно ищущій, за что бы пострадать, за что бы отдать свою жизнь. Непримиримый враг всякой неправды, всякаго компромисса. Максималист в служеніи идеѣ, он мало замѣчает землю, не связан с почвой — святой беспочвенник (как и святой безсеребренник), в полном смыслѣ слова. Из четырех стихій ему всего ближе огонь, всего дальше земля, которой он хочет служить, мысля свое служеніе в терминах пламени, расплавленности, пожара. В терминах религіозных, это эсхатологическій тип христіанства, не имѣющій земного града, но взыскующій небеснаго. Впрочем, именно не небеснаго, а «новаго неба» и «новой земли». Всего отвратительнѣе для него умѣренность и аккуратность, добродѣтель мѣры и разсудительности, фарисейство самодовольной культуры. Он вообще холоден к культурѣ, как к царству законченных форм, и мечтает перелить всѣ формы в своем тиглѣ. Для него творчество важнѣе творенія, исканіе важнѣе истины, героическая смерть важнѣе трудовой жизни. Своим родоначальником он чаще всего считает Бѣлинскаго, высшим выраженіем (теперь) — Достоевскаго. Не трудно видѣть, что этот портрет есть автопортрет русской интеллигенціи. Не всего образованнаго русскаго класса, а того «ордена», который начал складываться с 30-х годов XIX вѣка.

Однако, этот столь юный, послѣдній в русской культурѣ, интеллигентскій слой не лишен совершенно народных корней, — или, точнѣе, соотвѣтствій. Потому что здѣсь мы имѣем дѣло не с прямым вліяніем из народной глубины, а с темной, подсознательной игрой народнаго духа, которая в судьбѣ отщепенцев и мнимых апатридов повторяет черты иного, очень глубокаго и вполнѣ народнаго лица. Отщепенцы, бѣгуны, искатели, странники — встрѣчаются не только на верху, но и внизу народной жизни. Их мы видим среди многочисленных сектантов, но также среди еще болѣе многочисленнаго слоя религіозно обезпокоенных, ищущих, духовно требовательных русских людей. В них живет по преимуществу кенотическій и христоцентрическій тип русской религіозности, вѣчно противостоящій в ней бытовому и литургическому ритуализму. Эти кенотическія силы народной религіозности были освобождены вмѣстѣ с расколом XVII вѣка, т. е. вмѣстѣ с утратой церковной цѣльности. Поиски ду-

ховнаго града начались вмѣстѣ с сомнѣнiем в безусловном православiи московско-петербургскаго царства. Таким образом и этот народный тип, столь ярко отраженный русской литературой XIX вѣка, — сравнительно позднее образованiе — конечно, болѣе старое, чѣм интеллигенцiя, но, приблизительно, совпадающее по времени с Имперiей. Это не значит, что у него не было истоков в древней Руси — они были даны в кенотическом типѣ русской святости, — но в оторванности от почвы, в скитальчествѣ своем эта духовная формацiя принадлежит новѣйшей исторiи.

Любопытно, что у русской интеллигенцiи, кромѣ народной параллели, есть и другая, все отчетливѣе проявляющаяся к концу XIX вѣка. Это параллель еврейская. Не даром, начиная с 80-х годов, когда начался еврейскiй исход из гетто, обозначилось тѣснѣйшее слiянiе русско-еврейской интеллигенцiи не только в общем революцiонном дѣлѣ, но и во всѣх духовных увлеченiях, а главное в основной жизненной установкѣ: в пламенной безпочвенности и эсхатологическом профетизмѣ. Это была духовная атмосфера, в своей религiозной глубинѣ напоминающая первохристiанство, но, конечно, лишенная центральнаго стержня вѣры и потому способная рождать всевозможные, порой изувѣрско-сектантскiе уклоны. Русскiе реакцiонеры правы, когда сближают интеллигенцiю с еврейством. Они лишь извращают историческую перспективу, дѣлая еврейство соблазнителем невинных русских юношей. Нѣт, орден русской интеллигенцiи давно сложился и вступил в единоборство с самодержавiем, когда начался первый, сперва слабый, приток из гетто, притягиваемый духовным сродством. Это именно сродство заставляет близорукаго западнаго наблюдателя рисовать «âme slave» в типично еврейских чертах. Если для многих сiонистская работа в Палестинѣ кажется дѣлом русской интеллигенцiи, то Шпенглер — конечно, ненавистник ея — видит в кружках русской интеллигенцiи продолженiе духа и традицiи талмудистов. Да, был такой «особенный еврейско-русскiй воздух», о котором один еврейскiй поэт сказал: «блажен, кто им когда-либо дышал».

И, однако, лишь иностранцу простительно не различать в единствѣ интеллигентско-сектантскаго типа славянскiя и семитическiя черты. Бѣлинскаго не примешь за еврея, и о еврействѣ Достоевскаго Толстой, конечно, говорил в самом метафорическом смыслѣ. Различiе тонкое, но ощутительное, — скорѣе в стилѣ, в эстетической оправѣ, чѣм в этическом содержанiи, каковы и всѣ почти нацiональныя различiя. Родство интеллигенцiи с народным сектантством — факт болѣе первич-

ный и сам по себѣ достаточный для того, чтобы этот интеллигентскій тип сдѣлать одной из исторических формацій русской души.

4

Я думаю, многіе, и даже не из правых кругов, откажутся видѣть в этом интеллигентском типѣ самое глубокое выраженіе русскости. И мнѣ самому, когда я на чужбинѣ стараюсь вызвать наиболѣе чистый образ русскаго человѣка, он представляется в иных чертах. Глубокое спокойствіе, скорѣе молчаливость, на поверхности — даже флегма. Органическое отвращеніе ко всему приподнятому, экзальтированному, к «нервам». Простота, даже утрированная, доходящая до непріятія жеста, слова. «Молчаніе — золото». Спокойная, увѣренная в себѣ сила. За молчаніем чувствуется глубокій, отстоявшійся в крови опыт Востока. Отсюда налет фатализма. Отсюда и юмор, как усмѣшка над передним планом бытія, над вѣчно суетящимся, вѣчно озабоченным разумом. Юмор и сдержанность сближают этот тип русскости всего болѣе с англо-саксонским. Кстати, юмор, говорят, свойствен в настоящем смыслѣ только англичанам и нам. Толстой и его круг — большой свѣт Анны Карениной — в Европѣ только в англо-саксонской стихіи чувствуют себя дома. Только ее они способны уважать. Но, конечно, за внѣшней близостью скрывается очень разный опыт. Активизм Запада — и фатализм Востока, но и там и здѣсь буйство стихійных сил, укрощенных вѣковой дисциплиной.

Мы должны остановиться здѣсь, не пытаясь уточнять нравственный облик этой русскости. Вообще, мнѣ кажется, слѣдует отказаться от слишком опредѣленных нравственных характеристик національных типов. Добрые и злые, порочные и чистые встрѣчаются всюду — вѣроятно, в одинаковой пропорціи. Все дѣло в оттѣнках доброты, чистоты и т. д., в «как», а не «что», т. е. скорѣе в эстетических, в широком смыслѣ, опредѣленіях. Добр ли русскій человѣк? Порою — да. И тогда его доброта, соединенная с особой, ему присущей, спокойной мудростью, создает один из самых прекрасных образов Человѣка. Мы так тоскуем о нем в нашей ущербленности, в одержимости всяких, хотя бы духовных, страстей. Но русскій человѣк может быть часто жесток, — мы это хорошо знаем теперь, — и не только в мгновенной вспышкѣ ярости, но и в спокойном безчувствіи, в жестокости эгоизма. Чаще всего он удивляет нас каким-то восточным равнодушіем к ближнему, его страданіям, его судьбѣ, которое может соединяться с большой мягкостью, поверх-

ностной жалостью даже (ср. Каратаева). Есть что-то китайское в том спокойствіи, с какой русскій крестьянин относится к своей или чужой смерти. Эта мудрость выводит нас за предѣлы христіанства. Толстой глубоко чувствовал до-человѣческіе, природные корни этого равнодушія («Три смерти»). Нельзя обобщать также и волевых качеств русскаго человѣка. Лѣнив он или дѣятелен? Чаще всего мы видѣли его лѣнивым; он работает из под-палки или, встряхиваясь в послѣдній час, и тогда уже не щадит себя, может за нѣсколько дней наверстать упущенное за мѣсяцы бездѣлья. Но видим иногда и людей упорнаго труда, которые вложили в свое дѣло огромную сдержанную страсть: таков кулак, изобрѣтатель, ученый, изрѣдка даже администратор. Рыхлая народная масса охотно отдает руководить собой этому крѣпкому «отбору», хотя рѣдко его уважает. Без этого жестоко-волевого типа созданіе имперіи и даже государства Московскаго было бы немыслимо.

Заговорив о Московском государствѣ, мы даем ключ к разгадкѣ второго типа русскости. Это московскій человѣк, каким его выковала тяжелая историческая судьба. Два или три вѣка мяли суровыя руки славянское тѣсто, били, ломали, обламывали непокорную стихію и выковали форму необычайно стойкую. Петровская имперія прикрыла сверху европейской культурой московское царство, но держаться она могла все-таки лишь на московском человѣкѣ. К этому типу принадлежат всѣ классы, мало затронутые петербургской культурой. Все духовенство и купечество, все хозяйственное крестьянство («Хорь» у Тургенева), поскольку оно не подтачивается снизу духом бродяжничества или странничества. Его мы узнаем, наконец, и в большой русской литературѣ, хотя здѣсь он явно оттѣснен новыми духовными образованіями. Всего лучше отражает его почвенная литература — Аксаков, Лѣсков, Мельников, Мамин-Сибиряк. И, конечно, Толстой, который сам цѣликом не укладывается в московскій тип, но все же из него выростает, его любит и подчас идеализирует. Каратаев, Кутузов, Левин-помѣщик — это все москвичи, как и капитан Миронов и Максим Максимович — пережившіе Петровскій переворот московскіе служилые люди. Николаевскій служака, которому так не повезло в обличительной литературѣ, представляет послѣдній слой московской формаціи. Мы встрѣчаем его и на верхах культуры: Посошков, Болотов (мемуарист), семья Аксаковых, Забѣлин, Ключевскій и Менделѣев, Суриков и Мусоргскій — берем имена на удачу — все это настоящіе москвичи. Здѣсь источник русской творческой силы, которая, однако-же, как и все слишком національное («истинно русское»), не лишена узости.

Узость Толстого и Мусоргскаго может принимать даже трагическія формы.

5

Таковы два полярных типа русскости, борьба которых, главным образом, обусловила драматизм XIX вѣка. В них можно видѣть выраженіе основного дуализма, присущаго русской душѣ. Но это лишь послѣднее во времени, исторически обусловленное выраженіе этого дуализма. В культурных напластованіях русской души это ея московскій слой и тот послѣдній, «интеллигентскій», который рождается с 30-х годов прошлаго вѣка. Но этот историческій подход к проблемѣ русской души сам по себѣ уже указывает на необходимость выйти за предѣлы установленнаго нами дуализма. Между Москвой и интеллигенціей лежит Имперія. Да и не с Москвы началась Россія. Гдѣ же среди нас русскій человѣк Имперіи, русскій человѣк Кіево-Новгородской Руси?

Когда мы, вслѣд за Достоевским и оріентируясь на Пушкина, повторяем, что русскій человѣк универсален и что в этом его главное національное призваніе, мы, в сущности, говорим об Имперіи. Ни московскому человѣку, ни настоящему интеллигенту не свойственна универсальность. Напротив, они отличаются узостью косности или узостью сектантства. Но Петровская реформа, дѣйствительно, вывела Россію на міровые просторы, поставив ее на перекресткѣ всѣх великих культур Запада, и создала породу русских европейцев. Их отличает, прежде всего, свобода и широта духа — отличает не только от москвитей, но и от настоящих западных европейцев. В теченіе долгаго времени Европа, как цѣлое, жила болѣе реальной жизнью на берегах Невы или Москва-рѣки, чѣм на берегах Сены, Темзы или Шпрее. Легенда о том, что русскій человѣк необыкновенно способен к иностранным языкам, создана именно об этой имперской, дворянской формаціи. Простой русскій человѣк — москвич, как и интеллигент — удивительно бездарен к иностранным языкам, как и вообще не способен входить в чужую среду, акклиматизироваться на чужбинѣ. Русскій европеец был дома вездѣ.

За два вѣка своего существованія он нам знаком в двух воплощеніях — скитальца и строителя. Натуры слабыя легко бывали раздавлены богатством чужой культуры. Противорѣчіе между всей скалой оцѣнок старой русской и новой западной жизни рождает скептицизм,поверхностность или преждевременную усталость. Начиная с петиметров 18 вѣка, «душою принадле-

жащих коронѣ французской», через Онѣгиных, Рудиных и Райских — цѣпь лишних людей проходит через русскую литературу. Еще недавно в них принято было видѣть основное теченіе русской жизни. Это колоссальное недоразумѣніе, род историко-литературной аберраціи. Мы знаем и другой тип русскаго европейца — того, который не потерял силы характера московскаго человѣка, связи с родиной, а иногда и вѣры отцов. Именно эти люди строили Имперію, воевали и законодательствовали, насаждали просвѣщеніе. Это подлинные «птенцы гнѣзда Петрова», хотя справедливость требует признать, что родились они на свѣт еще до Петра. Их генеалогія начинается с боярина Матвѣева, Ордина-Нащокина — быть-может даже с Курбскаго. Их кульминація падает на вѣк Александра. Тогда они занимали почти всѣ правительственные посты, и между властью и культурой не было разрыва. Пушкин, «пѣвец имперіи и свободы», был послѣдним великим выраженіем этого имперскаго типа. Но он не исчез вполнѣ и послѣ Николаевскаго разрыва между монархіей и культурой. В эпоху великих реформ, на короткое время, европейцы опять стали у власти. Мы еще видѣли «послѣдних могикан» в Сенатѣ, в Государственном Совѣтѣ, при двух послѣдних императорах, когда, оттѣсненные от власти и вліянія, они хранили свой богатый опыт, свою политическую мудрость — увы, уже ненужную для вырождающейся династіи. Но ниже, в управленіи и судѣ, во всѣх либеральных профессіях, в земствѣ и, конечно, прежде всего в Университетѣ европейцы выносили, главным образом, всю тяжесть мучительной в Россіи культурной работы. Почти всегда они уходили от политики, чтобы сохранить свои силы для единственно возможнаго дѣла. Отсюда их непопулярность в странѣ, живущей в теченіе поколѣній испареніями гражданской войны. Но в каждом городѣ, в каждом уѣздѣ остались слѣды этих культурных подвижников — гдѣ школа или научное общество, гдѣ культурное хозяйство, или просто память о безкорыстном врачѣ, о гуманном судьѣ, о благородном человѣкѣ. Это они не давали Россіи застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу в костер. Если москвич держал на своем хребтѣ Россію, то русскій европеец ее строил. Но, в сущности, как мы сказали, творческій или трудовой тип европейца выростал сам на московском корню. Пусть в жизни ему приходилось всего больше бороться с косностью и лѣнью москвичей, у него с ними была общность нравственнаго идеала, была общая любовь к родной странѣ и к ея «душѣ». Исторія Ключевскаго и русская музыка были его связью с Москвой. Там, гдѣ это вывѣтривалось, европеец превращался в перекати-поле, те-

ряя способность к созидательной работѣ. При иныхъ условіяхъ он мог превратиться в интеллигента, — это верхній, дворянскій исток интеллигенціи, весьма отличный от демократическаго. Но пока он стоял на трудовом посту, он был вѣрен Россіи и ея московскому завѣту служенія. Как раз в началѣ XX вѣка — с особой силой послѣ первой революціи 1905 г. — русскій европеец, человѣк культуры начал стремительно разростаться за счет интеллигенціи. Могло казаться, что ему принадлежит будущее. Судьба сулила иное...

6

Что в русском человѣкѣ отнести на долю «удѣльно-вѣчевой» Руси? Сознавая всю произвольность и даже фантастичность дальнѣйшаго анализа, рѣшимся все-таки сказать: ту сторону русской натуры, которую мы называем ея «широтой», ея вольность, ея бунтарство — не идейное или сектантское бунтарство, — а органическую нелюбовь ко всякой законченности формы. Русское сердце и понынѣ откликается на древнюю русскую лѣтопись, на «Слово о полку Игоревѣ». Можно смѣло сказать, что не суровые строители земли, не государственные люди, а князья-витязи, Мстиславы Удалые, викинг Святослав, новгородская вольница — говорят всего непосредственнѣе русскому національному чувству. Москвѣ не удалось, как извѣстно, до конца дисциплинировать славянскую вольницу. Она вылилась в казачествѣ, в бунтах, в XIX вѣкѣ она находит себѣ исход в кутежах и разгулѣ, в фантастическом прожиганіи жизни, безалаберности и артистизмѣ русской натуры. В цыганской пѣснѣ и пляскѣ эта сторона русской души получает наиболѣе адекватное выраженіе. Если порою русскій разгул бывает тяжел и мрачен — тут сказались и татарская кровь и московскій гнет, — то часто он весел, щедр, великодушен. Таков разгул Пушкина, соединявшаго европеизм с русской вольной волей. Много талантливых русских людей стало жертвой своей натуры (Ап. Григорьев), но до сих пор эта черта, если она хоть сколько-нибудь умѣрена дисциплиной и культурой, не отъемлема от русскаго генія. «Люблю пьяных», как-то против воли вырвалось у Толстого.

Мрачность и дѣтскость и здѣсь поляризируют русскую вольность. И в дѣтской рѣзвости, в юношеской щедрости, в искрящемся весельѣ — русская душа, быть может, всего привлекательнѣе. Нельзя забывать лишь одного. Эта веселость мимолетна, безотчетная радость не способна удовлетворить русскаго человѣка надолго. Кончает он всегда серьезно, трагически.

Если не остепенится во время (по-московски), кончает гибелью — или клобуком...

Возможно ли заглянуть еще глубже в русскую душу, за Кіев и Новгород, за грани исторіи? Снимая, как с луковицы, слой за слоем, культурно-историческіе пласты, найдем ли мы в русском человѣкѣ основное, неразложимое ядро? Может быть, вопрос поставлен неправильно. Національная душа не дана в исторіи. Этническая психея служит лишь сырым матеріалом для нея, да и психей этих множество: славяне, финны, тюрки — всѣ отложились в русской душѣ. Нація не дерево и не животное, которое в сѣмени несет всѣ свои возможности. Націю лучше сравнить с музыкальным или поэтическим произведеніем, в котором первые такты или строки вовсе не обязательно выражают главную тему. Эта тема иногда раскрывается лишь в концѣ. Может быть, XIX вѣк болѣе національен, в этом смыслѣ (как откровеніе слова), чѣм Кіев или Москва. Нисколько не предполагая, чтобы в славянском язычествѣ была заложена идея русскости (гдѣ здѣсь отличіе восточных славян от южных, т.е. русских от болгар и сербов?), стоит все же всматриваться в эту таинственную глубь. Мы лучше всѣх культурных народов сохранили природныя, дохристіанскія основы народной души. На днѣ величайших созданій русскаго слова открывается нѣчто общее с примитивом народнаго фольклора. Тютчев, Толстой и Розанов как бы дистиллируют, перегоняя в приборах высокаго духовнаго напряженія, первобытную матерію русскаго язычества.

Гдѣ искать ключа к нему? В этой статьѣ мы не можем идти дальше намеков, первых ступеней, ведущих в подземныя галлереи русской души. Недавно В. В. Вейдле («Совр. Зап.» № 64)* пытался нащупать — правильно, по моему, — эту русскую стихію в родном началѣ. Русскій славянин и в XIX вѣкѣ еще не оторвался вполнѣ от матери-земли. Его сращенность с природой дѣлает трудным и странным личное существованіе. Природа для него не пейзаж, не обстановка быта и уж, конечно, не объект завоеванія. Он погружен в нее, как в материнское лоно, ощущает ее всѣм своим существом, без нея засыхает, не может жить. Он не осознал еще ужаса ея безжалостной красоты, ужаса смерти, потому что в нем нечему умирать. Все то, что в человѣкѣ есть цѣннаго и высокаго, — это общее, родное, неистребимое. А личное не стоит безсмертія. Моральный закон личности, ея право на свою со-

* Ср. также мой опыт «Стихи духовные», YMCA-Press, 1935.

вѣсть, на свое самоопредѣленіе просто не существует перед закономъ жизни. В нравственной сферѣ это создает этику міра, коллектива, круговой поруки. В искусствѣ громадную чувственную силу воспріятія и внушенія (от Геи-земли), при большой слабости формы, личнаго творческаго замысла. В познаніи, разумѣется, — ирраціонализм и вѣра в интуицію. В трудѣ и общественной жизни — недовѣріе к плану, системѣ, организаціи и т.д. и т.д. Славянофильскій идеал — при всем своем сознательном христіанствѣ — весьма сильно пропитан этими языческими переживаніями славянской психеи. Зато и в народном бытѣ она нам дана уже в оцерковленном видѣ, так что для многих она кажется даже сущностью православія. На самом дѣлѣ, она ничего общаго с христіанством не имѣет и уводит нас скорѣе далеко на Восток. Еще шаг, и мы уже в Индіи с ея окончательным провалом личности.

Но можно спросить себя: гдѣ же в этой исторически-слоевой схемѣ русской души ея христіанскій, православный слой? Но все дѣло в том, что и этот слой не один, и есть столько же типов русскаго христіанства, сколько исторических типов русскаго человѣка, а, может быть, и еще больше. Если каждый народ по своему переживает христіанство, то и каждый культурный слой народа имѣет свой ключ к христіанству или, по крайней мѣрѣ, свои оттѣнки. Впрочем, в русской душѣ не приходится говорить об оттѣнках: всѣ противорѣчія ея встают в необычайной обостренности. Попробуйте выразить одной формулой религіозность преп. Сергія и прот. Аввакума, митр. Филарета и Достоевскаго. А что, если прибавить сюда православный фольклор и религію Толстого?

Есть мнѣніе, широко распространенное, что русскій народ отличается от других народов Европы особой силой своей религіозности. На самом дѣлѣ, это впечатлѣніе объясняется тѣм, что XIX вѣк застает Россію и Европу на разных актах религіозно-исторической драмы. В Россіи — в народных слоях ея — средневѣковье удержалось до середины XIX вѣка. Европа XIV—XV столѣтій представляла бы болѣе близкую аналогію императорской Россіи. Но зато и крушеніе русскаго средневѣковья особенно бурно и разрушительно. В отношеніи к религіи масс и интеллигенціи сейчас уже нѣт замѣтной разницы между Россіей и Европой.

Такова наша схема. Грубая и недостаточная, как и всѣ схемы вообще. Ее можно усовершенствовать, развивая в деталях. Но тогда, пожалуй, лѣс исчезнет за деревьями. Думается, что для поставленной нами цѣли — для опредѣленія предпосылок пореволюціонной культуры, историческая схема русскаго

человѣка плодотворнѣе, экономичнѣе «онтологических» или «феноменологических» схем. Ея достоинство, по крайней мѣрѣ, в том, что она не грѣшит всегда соблазнительным монизмом.

7

Теперь мы можем подойти к отвѣту на основной вопрос: что, какіе историческіе пласты в русском человѣкѣ разрушены революціей, какіе переживут ее? Отвѣт, в сущности, ясен из предыдущаго. Истребленіе стараго, культурнаго слоя и уничтоженіе источников, его питавших, должно было снять в духовном строеніи русскаго общества два самых верхних его слоя. Имперскій человѣк и интеллигент погибли вмѣстѣ с «буржуазіей», т.е. с верхним этажом стараго общества. Что касается имперскаго типа, человѣка универсальной культуры, то остатки его еще сохраняются в рядах «спецов». С нѣкотораго времени власть спохватилась, что истребленіе высшаго культурнаго слоя наносит непоправимый урон техникѣ. За оставшимися стариками стали ухаживать. Но в них цѣнили именно узких спеціалистов: как выразился один неглупый человѣк, заколачивали гвозди золотыми часами. Их широкая культура, никому не нужная, даже оскорбительная для новаго правящаго слоя, доживает в предѣлах чрезвычайно малых кружков и даже семейств. Новый образованный класс дает исключительно спецов, лишенных часто самых элементарных основ общей культуры (даже грамотности). С другой стороны, никогда, со времен московскаго царства, Россія не была отгорожена от Европы такой высокой стѣной. Эта стѣна создана не только цензурой и запретом свободнаго выѣзда, но и необычайным національным самомнѣніем, прямым презрѣніем к буржуазной, «догнивающей» Европѣ. В этом существенная разница между полу-грамотной, технической интеллигенціей Петра и такой же интеллигенціей Сталина... Сталинская повернулась спиной к Европѣ и, слѣдовательно, добровольно пресѣкла линію русскаго «универсальнаго» человѣка.

Сложнѣе была судьба интеллигенціи в узком смыслѣ слова. Прежде всего этот класс, во всей яркости своего необычайнаго типа, не дожил даже до революціи. Послѣ 1905 г. он быстро разлагался, сливаясь с «культурным» слоем. Он не мог пережить крушенія политической мистики, профанированной жалким русским конституціонализмом; новая блестящая религіозно-философская культура русскаго Ренессанса XX в., лишенная всякаго этическаго паѳоса, деморализовала его своими соблазнами. Война вовлекла его в поток новаго для него національ-

лаго сознанія. В 1917 г. революціонный энтузіазм интеллигенціи был подогрѣтым блюдом. Его корни были неглубоки, и объем этой соціальной группы — единственной, на которую могло вполнѣ опереться Временное Правительство — очень сжался. Октябрьскій переворот ударил по ней всей своей тяжестью. Принципіальные, непримиримые — они никак не могли принять торжествующаго насилія. Не удивительно, что в борьбѣ с ним они истекли кровью. Уцѣлѣвшіе были выброшены в эмиграцію, заполнили совѣтскія тюрьмы и концлагеря. Немногіе сумѣли приспособиться к условіям совѣтской службы и, превратившись в спецов, утратили постепенно всякое орденское обличіе. Мельница звѣринаго быта молола неумолимо. С волками жить, по волчьи выть. Кто не мог приспособиться, выбрасывался из жизни. Новая интеллигенція, приходящая на смѣну, органически предана совѣтскому строю, чувствует свою кровную связь с народом и с правящим классом, а потому, даже в оппозиціонности своей — скажем даже, предвосхищая будущее, даже в революціонной борьбѣ с властію, — не может переродиться в тот безпочвенно-идейный, максималистическій и эсхатологическій тип, — не говоря уже об орденѣ, — который мы называем русской интеллигенціей.

Однако, этот погибшій русскій тип не остался вовсе без преемника. Сектантство и духовное странничество не умерли в народѣ, как об этом свидѣтельствует настойчиво безбожная пресса. Революція вызвала к жизни даже новыя сектантскія — почти всегда эсхатологическія — образованія. С другой стороны, часть старой интеллигенціи нашла свою духовную почву в Церкви. Здѣсь послѣдніе остатки разбитаго ордена могли утолить свою духовную жажду из того источника, который тайно и породил ее. В Церкви они сохранили, конечно, свои психологическія черты: безпокойство и максимализм, жажду цѣлостной, святой жизни. Здѣсь они оказались на одной почвѣ с народным странничеством. Нужно помнить, что духовныя границы между Церковью и сектантством послѣ революціи пролегают иначе, чѣм прежде. Гоненія сблизили, психологически, разныя исповѣданія. То, что осталось от стараго ордена — есть фермент для броженія всей религіозной массы. Но пока эта сила совершенно выброшена из культурнаго строительства или добровольно ушла из него. Для сегодняшняго дня русской культуры можно считать интеллигентскій тип совершенно вымершим.

Остается московскій человѣк с его непреодолѣнными, в нем живущими предками. Народныя массы, из которых продуцируется в совѣтской школѣ новый человѣк, до самаго послѣдняго времени жили в московском бытѣ и сознаніи. Самая радикаль-

ная идеологическая катастрофа не в силах пересоздать душевнаго склада. В интернаціоналистѣ, марксистѣ и т. д. — кто бы он ни был — не трудно узнать деревенскаго и рабочаго парня, каким мы помним его в началѣ вѣка. Как ни парадоксально это звучит, но homo Europaeo-Americanus оказывается ближе к старой Москвѣ, чѣм к недавнему Петербургу. Парадокс разрѣшается очень просто. Homo Europaeo-Americanus менѣе всего является наслѣдником великаго богатства европейской культуры. Придя в Европу в період ея варваризаціи, он усвоил послѣднее, чрезвычайно съуженое содержаніе ея цивилизаціи, — спортивно-технически-военный быт. Техническій и спортивный дикарь нашего времени — продукт распада очень старых культур и в то же время пріобщенія к цивилизаціи новых варваров. Москвичу, благополучно отсидѣвшемуся в русской деревнѣ от двухвѣковой имперской культуры, не нужно дѣлать над собой никакого нравственнаго насилія, чтобы идти в ногу с европейцами, прожившими как раз послѣдніе вѣка своей культуры. Удивительнѣе может показаться легкость религіознаго отреченія. Но это особая, очень трудная тема. В остальном московскаго парня нужно было только размять, встряхнуть хорошенько, погонять на кордѣ, чтобы сбить с него старую лѣнь и мѣшковатость. То, что дѣлала с новобранцем царская казарма, то дѣлает теперь партія и комсомол: тренирует увальней и превращает их в дисциплинированных солдат. Для дисциплины — особенно военной, московскій человѣк дает необыкновенно пригодный матеріал. Из него строилась старая, императорская армія, лучшая в мірѣ, быть может, по качеству своей «живой силы». Вѣковая привычка к повиновенію, слабое развитіе личнаго сознанія, потребности к свободѣ, и легкость жизни в коллективѣ, «в службѣ и в тяглѣ» — вот что роднит совѣтскаго человѣка со старой Москвой. Москва была не бѣдна соціальными энергіями — скорѣе наоборот, онѣ заглушали в ней все личное: недаром государственное хозяйство Москвы носило полу-соціалистическій характер. Теперь Сталин и сознательно строит свою власть на преемствѣ от русских царей и атаманов. Царь-Пугачев... Перенесеніе столицы назад в Москву есть акт символическій. Революція не погубила русскаго національнаго типа, но страшно обѣднила и искалѣчила его.

Русская вольница, конечно, неистребима. Жила она в царской Москвѣ, живет и в сталинской. Она прошумѣла бунтом первых лѣт революціи, она кричит о себѣ разгулом, все время подрывающим основы коммунистической дисциплины, она живет в беззавѣтной удали русских летчиков, полярных изслѣдователей. Все то, чѣм красна сейчас русская жизнь и русское

искусство, напоминает о героических вѣках русскаго прошлаго. Русская вольность, не то, что свобода, но она спасает лицо современной Россіи от всеобщаго и однообразнаго клейма рабства. Натуры сильныя ищут и находят выход своим силам. Наличіе этих сил может давать надежду — сейчас еще далекую — на освобожденіе.

Но сохранились ли самые глубокіе — славянско-языческіе — пласты русской души? Этого мы не знаем. Могучій процесс раціонализаціи убивает безжалостно все подсознательно-стихійное, засыпает всѣ глубокіе колодцы, дѣлает русскаго человѣка поверхностным и прозрачным. Но до конца ли? Нѣт ли таких медвѣжьих углов, гдѣ еще живут старыя повѣрья, не порвалась древняя связь с землей? Вѣдь сохранилось же знахарство и шаманство, — о чем нам время от времени сообщает совѣтская этнографія. Почему же не сохраниться болѣе смутным и тонким комплексам родовой пантеистической душевности? Знаем, что кое-что сохранилось, что недаром пишет Пришвин, кто-то должен сочувственно читать его. Но не знаем, достаточно ли это сохранившееся, чтобы по-прежнему питать большую русскую литературу. Ибо в этом вся значительность этого темнаго, русскаго пятна. Исчезнет оно, и русская литература, может быть, навсегда утратит свои подземные ключи, свою глубину. Лишенная чувства формы, она никогда не сможет стать чѣм-либо, подобным латинскому и французскому генію — культурой законченнаго совершенства. Ея путь другой. Даже духовная глубина Достоевскаго пріоткрывает карамазовскую и шатовскую глубину — земли...

К сожалѣнію, наш вопрос остается без отвѣта. И на этом безотвѣтном вопросѣ мы должны поставить точку — или многоточіе — в предварительных поисках пореволюціоннаго человѣка, как основы будущей русской культуры.

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

(Письма о русской культурѣ).

1.

На чемъ основано убѣжденіе многихъ изъ насъ, что на другой день послѣ революціи русская культура должна пережить небывалый расцвѣтъ? На анализѣ настоящаго, на историческихъ аналогіяхъ? Или на любви, которая «всему вѣритъ», которая живетъ миѳами — миѳами прошлаго и будущаго?, на вѣрѣ въ чудо, которая одна, для слабыхъ душъ, способна дать силы жить?

Кажется, довольно мы жили иллюзіями и дорого заплатили за нихъ. Если всѣ пережитыя испытанія, гибель нашей Россіи и нашей Европы не способны излѣчить насъ отъ иллюзій, значитъ, зря мы были приглашены на «пиръ небожителей». Ничего не забыли, ничему не научились. Иллюзіи двигаютъ міромъ? Да, безспорно. Но на его погибель. Сейчасъ, куда ни посмотришь, видишь марширующіе милліоны, готовые поджечь міръ съ четырехъ концовъ, и уже начавшихъ грандіозное разрушеніе во имя соблазнительной и лживой мечты. Они всѣ въ бреду великихъ иллюзій, во власти маніи величія. Конечно, истина тоже нуждается въ батальонахъ, которые сражались бы и умирали за нее. Но вѣра, движущая ея бойцовъ, иного качества. Jeunesse catholique чѣмъ-то въ духовномъ складѣ, а не только въ содержаніи credo, отличается отъ молодежи коммунистической или фашистской. На кого же будетъ похожа наша, національная и православная молодежь, которая приметъ участіе въ строительствѣ Россіи? Это вопросъ рѣшающій для ея будущаго. Россія ждетъ отъ насъ зрячей, трезвой любви. Къ тому же трезвость — одно изъ лучшихъ качествъ великоросса, москвича, который сейчасъ, какъ мы старались показать въ предыдущемъ письмѣ *), становится хозяиномъ русской жизни.

Итакъ, историческія аналогіи, анализъ настоящаго? Что ка-

Впервые опубликовано в журнале "Современные записки", № 66, Париж, 1938 г.

-сается аналогій, я боюсь, что насъ еще дразнитъ болотный огонекъ французской революціи. Видя блестящій расцвѣтъ французской культуры съ 20-ыхъ годовъ 19 вѣка, мы склонны объяснять его вліяніемъ пережитой катастрофы. Мы говоримъ: революція освобождаетъ скованныя силы. Старый режимъ, не будучи, можетъ-быть, столь жестокимъ, какъ думали революціонеры, своей инерціей, лѣнью и сословными привилегіями глушилъ народныя силы. Освобожденіе гражданина стало освобожденіемъ и таланта. Съ другой стороны, тѣ героическія страсти, которыя революція разбудила въ своихъ сынахъ, не потухли безплодно: онѣ, сублимируясь, «переключились» въ высшія сферы: романтической поэзіи, исторіи, соціологіи.

Боюсь, что это представленіе покоится тоже на иллюзіи.

Между революціоннымъ пожаромъ и культурнымъ расцвѣтомъ эпохи реставраціи лежитъ духовная пустыня: Имперія. При Наполеонѣ литература была скована такъ, какъ никогда въ старой монархіи. Свободой воспользовался собственникъ и предприниматель, а не мыслитель и художникъ. И, что, пожалуй, еще хуже, страна и не ощущала потребности въ иной свободѣ: поэзія и мысль, за ничтожными исключеніями, какъ будто были парализованы. Если отвлечься отъ грома военныхъ побѣдъ, Франція жила внутренними процессами буржуазнаго накопленія. То были безличные, сѣрые будни, въ которыхъ «трудились» разные Горіо и Гранде.

Воскресеніе французской культуры было связано совсѣмъ не съ революціонной бурей, а скорѣе съ ея отрицаніемъ — съ той огромной духовной реакціей противъ 18-го вѣка, которая носитъ общее имя романтизма. Чтобы быть совсѣмъ точнымъ, своеобразіе и сила французскаго 19-го вѣка заключается въ борьбѣ и синтезѣ идей реакціи и революціи, романтизма и просвѣщенія. Уже Сенъ-Симонъ (и его ученикъ Контъ) выступаютъ съ планомъ синтетической конструкціи, гдѣ раціонализмъ 18 вѣка уживается съ преклоненіемъ передъ католичествомъ и «органическими» основами средневѣковья. А дальше новая волна, тоже двухсоставная: революціонный романтизмъ, Гюго, Ламеннэ... Но почти всѣ революціонеры 30-ыхъ годовъ начинали съ «ультра»-романтической и католической реакціи. Именно она дала имъ ту пламенность, которой была лишена потухшая и превратившаяся въ бытъ революція.

Нѣтъ, аналогія французской революціи не за насъ. Ну, а сама русская дѣйствительность? Что говоритъ анализъ настоящаго въ смыслѣ возможныхъ прогнозовъ?

Было время, когда дѣйствительность давала вѣскія основа-

нія для надеждъ. Въ самый разгаръ гражданской войны и свирѣпѣйшаго террора въ странѣ горѣла духовная жизнь. Въ эпоху Нэпа это напряженіе вылилось въ значительную литературу, можетъ-быть, переоцѣненную нами, но которая, конечно, не имѣетъ себѣ равной въ революціи французской. Поэты старой Россіи и новые писатели, вышедшіе изъ народа, сливались въ общемъ мажорномъ ощущеніи жизни. Буря событій захватила ихъ, какъ діонисическое опьяненіе. Жизнь казалась чудесной, все обѣщающей. Весело шагали по трупамъ — навстрѣчу какому-то сіяющему будущему. За литературой, театромъ — вставали массы, жадно рвущіяся къ просвѣщенію, наполнявшія залы популярныхъ лекцій, аудиторіи рабфаковъ. Жизнь была неприглядна, голодна и дика, насиліе торжествовало повсюду, но, глядя на эти честныя, взволнованныя лица молодыхъ и стариковъ, впервые дорвавшихся до культуры, хотѣлось вѣрить въ будущее. Увы, теперь отъ этихъ надеждъ мало что осталось.

Уже въ годы Нэпа волна пошлости и стяжанія нахлынула, затопляя безкорыстный идеализмъ «свѣта и знанія». Но во второе, сталинское десятилѣтіе, отъ этого идеализма уже ничего не осталось. Сперва онъ былъ переключенъ на техническое поле строительства, на военный энтузіазмъ, на парашютничество, полярный миѳъ и проч. Но чѣмъ дальше, тѣмъ больше романтизмъ техники уступаетъ мѣсто дѣлячеству, устройству личной карьеры. Лозунгъ «счастливой жизни» отразилъ второе спаденіе идеалистической волны, которое кажется окончательнымъ. То, что наступило потомъ, — массовый терроръ, ликвидація коммунистической идеологіи, всеобщее подхалимство и рабство — какая культура возможна въ этомъ отравленномъ воздухѣ? И мы видимъ: совѣтская литература кончается, удушенная, обезкровленная, за отсутствіемъ какой бы то ни было свободы и творческой воли къ жизни.

Что это? Неужели Сталинъ, одинъ Сталинъ сумѣлъ такъ изгадить, засорить всѣ ключи жизни, заболотить всѣ революціонныя воды? Какъ бы ни была велика личная вина этого отверженнаго человѣка, позволительно выразить убѣжденіе, что и безъ Сталина этотъ результатъ былъ предопредѣленъ характеромъ русской революціи и ея господствующей идеологіи.

Свобода никогда не была основной темой русской революціи. Въ большевизмѣ она превратилась въ ея прямое отрицаніе. Французская революція могла на годы, на десятилѣтія тиранически попирать свободу, сперва въ ярости, потомъ въ утомленіи гражданской войны. Важно было то, что она ее провоз-

гласила. Именно паѳосъ освобожденія вызвалъ во Франціи, да и во всей Европѣ, на рубежѣ 19 вѣка, тотъ духовный взрывъ, который былъ однимъ (однимъ только!) изъ элементовъ культурнаго возрожденія начала вѣка. Соціализмъ исходитъ изъ частичнаго отрицанія свободы — свободы экономической. Его тема — не свобода, а организація, то-есть порядокъ. Русскій большевизмъ вообще понялъ соціализмъ какъ тоталитарное огосударствленіе жизни. Свобода была и остается для него главнымъ, смертельнымъ врагомъ. Поэтому то октябрьская революція оказалась не освобожденіемъ, а удушеніемъ культуры.

Вначалѣ это могло казаться не такъ. Массы, участвовавшія въ революціи, дѣйствительно переживали праздникъ освобожденія. Ихъ свобода была двусмысленна и не имѣла никакого отношенія къ свободѣ мысли, слова, культуры. Это свобода отъ господъ, отъ самаго существованія господъ съ оскорбительнымъ сознаніемъ соціальнаго неравенства. Говоря по-русски, воля, а не свобода. Но воля, какъ стихійное буйство разлившейся жизни — она была, и она несла, какъ буря на парусахъ, тѣхъ, кто ей отдавался, кто могъ, какъ Блокъ, «слушать революцію». Отсюда вѣщая значительность конца десятыхъ и культурный подъемъ двадцатыхъ годовъ въ Россіи Нэпа. Но постепенно большевизмъ осуществилъ свои потенціи: прибралъ къ рукамъ, «организовалъ» все духовное хозяйство. Съ 1922-23 года марксизмъ становится обязательнымъ въ наукѣ, съ 30 тыхъ годовъ — сталинизмъ въ литературѣ. Тамъ, гдѣ организація побѣждала, наступала медленная смерть отъ удушенія И сейчасъ Россія — духовная пустыня. Такой результатъ неизбѣженъ во всякомъ тоталитарно-тираническомъ государствѣ, какова бы ни была идея, положенная въ его основу. Въ Россіи такой идеей оказался марксизмъ. Я сомнѣваюсь, чтобы марксизмъ, даже въ условіяхъ наиболѣе благопріятныхъ, въ обстановкѣ совершенной свободы, могъ лечь въ основу значительной культуры. Какова бы ни была его ограниченная цѣнность въ политической экономіи и въ соціологіи, въ немъ совершенно отсутствуетъ тотъ воздухъ, въ которомъ можетъ дышать человѣческая личность. Марксизмъ культурно возможенъ, какъ прививка къ чему-то иному: даже у Маркса — къ его классическому и гегельянскому гуманизму. Страна, всерьезъ сдѣлавшая марксизмъ единственной основой воспитанія, превращается въ «собачью пещеру», гдѣ могутъ выживать только высокіе ростомъ.

Я не закрываю глазъ на то, что русскій большевизмъ, въ особенности сталинизмъ, весьма далеко уклонился отъ настоя-

щаго марксизма. Чрезвычайно огрубляя его, ленинизмъ, съ другой стороны, ассимилировалъ его съ иными, чуждыми ему, хотя столь же элементарными идеями: съ философскимъ волюнтаризмомъ, съ культомъ вождей — въ послѣдней редакціи, даже съ великорусскимъ націонализмомъ. Это дало возможность дышать и въ собачьей пещерѣ, — но все же какимъ спертымъ воздухомъ! Жизнь возможна и въ Россіи, но какая убогая! О культурномъ расцвѣтѣ въ странѣ марксизма нельзя и мечтать.

Но марксизмъ былъ и сойдетъ. Много ли уже сейчасъ отъ него осталось? Онъ отравилъ духовнымъ туберкулезомъ одно поколѣніе — лѣтъ на 15, — но это поколѣніе еще не вся Россія. Правда, это поколѣніе первенцевъ революціи, самое горячее, активное — ему ли, казалось, не лѣпить, не оформлять податливой, пластичной массы, растопившей всѣ старыя формы быта и жаждущей новыхъ? Новое творчество жизни оказалось бездарнымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ лживымъ и порочнымъ весь духовный профетизмъ революціи. — Да, но это для перваго поколѣнія. Освободившіеся, или освобождающіеся отъ марксизма октябрята революціи — они-то могутъ уже работать. — Нѣтъ, ибо за смѣной всѣхъ идеологій русской революціи — бывшихъ и будущихъ — остается ея фонъ: тоталитарной несвободы. Въ этомъ удушающемъ рабствѣ, въ той легкости, съ которой народъ это рабство принялъ (онъ называлъ его въ первое время свободой), не одинъ лишь общій законъ революціоннаго процесса: отъ анархіи — къ деспотизму. Здѣсь сказывается московская привычка къ рабству, культура рабства въ московскія и петербургскія столѣтія исторіи. Въ свободѣ нуждалась, свободой жила интеллигенція, которая, вмѣстѣ съ дворянствомъ, была выжжена революціей. Москвичъ, пришедшій ей на смѣну, никогда не дышалъ свободнымъ воздухомъ: состояніе рабства — не сталинскаго, конечно, — является для него исторически привычнымъ, почти естественнымъ.

Мы часто говоримъ о націонализаціи русской революціи. Но что это значитъ? Это значитъ, что въ ней побѣдилъ не Ленинъ и не Бакунинъ, боровшіеся другъ съ другомъ первые годы, а Иванъ Грозный. Сталинъ и есть переводъ его на современность.

2.

Духовная безкрылость, бездарность русской революціи можетъ доставлять злорадное удовольствіе всѣмъ ея врагамъ. Но это фактъ глубоко печальный для русскаго народа и его бу-

дущаго. Потому что это будущее кипитъ въ котлѣ революціи. Потому что долго еще поколѣнія, идущія намъ на смѣну, будутъ нести ея печать. Не легко будетъ стереть ее — да можно спросить себя, удастся ли это когда-нибудь до конца?

Ну, а какъ обстоитъ дѣло съ нашей реакціей? — съ тѣмъ другимъ духовнымъ источникомъ, который долженъ питать наше будущее. Потому что нельзя забывать: реакціи бываютъ жизненныя, глубокія, плодотворныя Общественныя реакціи какъ бы существуютъ для того, чтобы духъ, утомленный и разочарованый злой суетой настоящаго, могъ произвести свой examen de conscience, углубиться въ себя и выносить въ своихъ нѣдрахъ новую творческую идею грядущаго. Въ борьбѣ этой идеи съ торжествующей, но уже изношенной идеей настоящаго и заданъ духовный контрапунктъ эпохи.

Наша реакція? Нельзя не удивляться и не огорчаться ея духовнымъ безсиліемъ. Насъ не удивляетъ бездарность революціи: чего и ждать отъ учениковъ Ленина? Но здѣсь, въ эмиграціи, собраны — мы любимъ повторять — лучшія силы русской интеллигенціи. Вся ихъ энергія сосредоточена на одномъ помыслѣ — на отрицаніи революціи. И эта революція такъ уязвима: ея неправда и ложь самоочевидны. Почему же критика едва поднимается надъ уровнемъ злобы дня? А тамъ, гдѣ она рѣшается на обобщенія, она не выходитъ изъ повторенія общихъ мѣстъ.

Мнѣ кажется, разгадка этой безкрылости русской реакціи заключается именно въ томъ, что она давно уже сказала свое слово и теперь ей остается лишь повторять самое себя. Парадоксальность положенія состоитъ въ томъ, что у насъ реакція предшествовала революціи, противъ которой она направлена. Это оказалось возможнымъ потому, что замыселъ революціи былъ выраженъ задолго до ея осуществленія. И не только замыселъ, но и революціонное движеніе. Въ этомъ огромное наше отличіе отъ революціи французской, совершенно импровизированной, творимой по вдохновенію и страсти. У насъ революціонная мысль исчерпала себя задолго до возможности воплощенія. Подобно романтической дѣвочкѣ, истощившей всѣ свои силы въ книжной, вымышленной любви, русская революціонная интеллигенція растратила свое вдохновеніе задолго до рѣшительнаго часа исторіи. Ея зенитъ падаетъ на 70-ые годы Но то же самое можно сказать и о ея отрицательномъ спутникѣ. Зенитъ реакціи падаетъ на 80-ые годы. Она была далеко не бѣдна духовно, наша реакція. Отъ Тютчева (и даже Пушкина), черезъ Достоевскаго къ Леонтьеву, и Розанову — мы

имѣемъ блестящій рядъ мыслителей, каждый изъ которыхъ далъ свой отвѣтъ на замыселъ, если не на дѣйствительность русской революціи. Эти отвѣты — мы ихъ знаемъ наизусть. Съ начала XX вѣка русская интеллигенція, даже революціонная, совершила надъ собой чудо самоотреченія. Она воскресила своихъ враговъ и приняла въ свое сердце большую долю ихъ стрѣлъ. Значительная часть контръ-революціонной критики давно уже вошла въ само революціонное сознаніе — за исключеніемъ большевиковъ, конечно. Вотъ почему нашему поколѣнію, несмотря на всѣ ужасы, которые мы видимъ своими глазами, по существу отрицанія революціи уже нечего сказать.

Я не забываю, что кое-что эмиграція все-таки дала. — Намъ приходится говорить только объ эмиграціи, такъ какъ реакціи внутри-россійской мысли мы не знаемъ. — Это новое исчерпывается нѣсколькими книгами религіозной философіи и —евразійствомъ. Впрочемъ, религіозная философія наша представляетъ прямое продолженіе дореволюціонной традиціи, слишкомъ рѣзко оборванной грубой рукой: т. е. и это не совсѣмъ новое. Евразійство — явленіе, дѣйствительно новое. Теперь, когда оно, какъ политическое теченіе, умерло, можно безпристрастно оцѣнить тотъ вкладъ въ науку о Россіи, который оно внесло. Даже не сочувствуя вполнѣ его слишкомъ прямолинейнымъ сужденіямъ и прямымъ историческимъ ересямъ, нужно признать значительность новыхъ проблемъ, поставленныхъ имъ. Но, если евразійство — единственный отвѣтъ русской реакціонной мысли на революцію, — то это, все же, немного: это не соотвѣтствуетъ грандіозности историческаго феномена революціи, хотя, конечно, и превышаетъ на много культурное убожество этого феномена.

Русская революція и русская реакція — обѣ были разогрѣтымъ блюдомъ, явленіями запоздалыми, давно уже изжитыми русскимъ самосознаніемъ. Даже специфическая идеологія большевистской революціи — марксизмъ — была сполна изжита въ 90-ые годы, когда русскій марксизмъ далъ дѣйствительно много цѣнныхъ теоретическихъ трудовъ и вообще былъ самымъ творческимъ секторомъ соціалистической Европы. Старая болѣзнь русской интеллигенціи — разорванность бытія и сознанія, жизнь въ двухъ планахъ, которая раньше создавала гамлетовъ и доктринеровъ, теперь отомстила за себя безмысліемъ и безкультурностью политическаго дѣла.

Но это было бы съ полбѣды, если бы политика оставила культуру въ покоѣ; мудрецы могли бы на время предоставить

историческую авансцену бандитамъ и удалиться «въ катакомбы, въ пещеры». Однако тоталитарная политика преслѣдуетъ ихъ и подъ землей, тащитъ на площадь, требуетъ отъ нихъ всенароднаго униженія истины: не только предательства, но и пошлости. Демагоги требуютъ отъ интеллигенціи изготовленія отвратительныхъ помоевъ, которыми они кормятъ обращенныхъ въ свиней обитателей счастливыхъ островов Цирцеи. Одни ли большевики? Увы, эта духовная болѣзнь (въ Германіи она называется «политизаціей») оказывается чрезвычайно заразной; идя съ Востока, какъ чума, она захватила полъ-Европы. Но, можетъ быть, сама Россія, заразивъ весь міръ и перестрадавъ свое, пріобрѣтетъ иммунитетъ? Можетъ-быть, освободившіяся отъ большевиковъ поколѣнія отшатнутся отъ всякихъ формъ тоталитарнаго насилія надъ духомъ, возжаждавъ свободы? Это большой вопросъ, можетъ-быть, самый основной вопросъ русской судьбы. Не имѣя на него точнаго отвѣта, мы можемъ искать лишь элементовъ рѣшенія.

Оглянемся вокругъ насъ. Мы живемъ среди людей, сдѣлавшихъ изъ отрицанія большевизма свое profession de foi. Людей, которые надѣются принять участіе въ строительствѣ русской культуры — сами или въ лицѣ своихъ дѣтей. И что же? Политизація свирѣпствуетъ вокругъ, быть можетъ, съ не меньшей силой, чѣмъ въ Россіи или въ Германіи. Люди живутъ идеей — idée fixe — политической борьбы съ большевизмомъ, подчиняя всѣ остальныя цѣнности, даже самыя духовныя, этой борьбѣ. Въ политическомъ утилитаризмѣ мы не уступаемъ шестидесятникамъ. Какое тамъ! Въ сущности, многіе изъ насъ вполнѣ готовы къ тоталитарному строю — только, конечно, не коммунистическому. Для многихъ важнѣе не свобода, а символы, во имя которыхъ попирается свобода. Они предпочитаютъ символъ націи символу пролетаріата, двуглавый орелъ — серпу и молоту. Вотъ и все. Въ этомъ смыслѣ 1933 годъ, пришествіе къ власти Гитлера, былъ для русской эмиграціи суровымъ испытаніемъ. Приходится сознаться, что въ цѣломъ она его не выдержала. Тотъ восторгъ, съ которымъ многіе слѣдятъ за успѣхами Гитлера, еще болѣе широкая популярность Муссолини доказываютъ, что не свобода привела въ изгнаніе сотни тысячъ эмигрантовъ. Борьба идетъ не за свободу, и даже не за Россію, а за *свою* Россію, Россію своихъ воспоминаній и грезъ — противъ Россіи сегодняшняго дня. Поразительно, что съ тѣхъ поръ, какъ Сталинъ объявилъ себя русскимъ націоналистомъ и принялся казнить большевиковъ, онъ пріобрѣлъ даже популярность среди части, — правда, немногочисленной, —

русской эмиграціи. Та необычайная по гнусности атмосфера, которая сейчасъ царитъ въ Россіи, не прекратила тяги къ возвращенію. Молодые «патріоты», для которыхъ принципіально нѣтъ ничего выше націи, ѣдутъ, или готовы ѣхать, въ царство опричнины, не смущаясь кровавымъ насиліемъ, которое тамъ составляетъ законъ обыденности.

Мы не знаемъ, что происходитъ тамъ, въ самой Россіи, въ глубинѣ задавленныхъ человѣческихъ душъ. Но не будетъ слишкомъ смѣлымъ предположить, что и тамъ невыносимыя страданія и безсиліе вызываютъ тѣ же реакціи. И тамъ должны быть люди, мечтающіе о Гитлерѣ — своемъ или чужомъ — не освободителѣ, а мстителѣ. Повторяющіе старую, такую русскую, хотя и въ украинской транскрипціи, пословицу: «хоть гірше, та инше». Пусть большинство не желаетъ — навѣрное, не желаетъ — никакого тоталитаризма, пресытившись однимъ до тошноты. Но едва ли оно, воспитанное въ рабствѣ, сумѣетъ дать отпоръ меньшинству, которое пожелаетъ навязать ему «иншій» видъ тоталитарнаго рабства. Не нужно забывать, что совѣтскій активъ не знаетъ, и не хочетъ знать никакихъ формъ свободной культуры; что для него невообразима сама идея открытаго противорѣчія, борьбы взглядовъ: что даже для бѣглецовъ изъ ада европейская свобода печати кажется непонятной и почти отвратительной. О свободѣ въ Россіи томятся многіе. Говорятъ даже, что теперь это единственное объединяющее всѣхъ настроеніе. Но говорящіе сейчасъ же прибавляютъ: впрочемъ, это самая скромная свобода, бытовая. Хотятъ имѣть увѣренность, засыпая, что не проснутся подъ чекистскимъ ноганомъ, хотятъ имѣть возможность покупать хлѣбъ и продавать издѣлія своего личнаго труда. Быть спокойнымъ за жизнь своихъ близкихъ, за завтрашній день. Всѣ эти вожделѣнія такъ легко осуществить въ любомъ тоталитарномъ режимѣ, чуть-чуть полегче сталинскаго. Для этихъ людей гитлеровская Германія должна казаться раемъ.

Я знаю, что, говоря о политическихъ условіяхъ русской культуры, мы имѣемъ уравненіе со многими неизвѣстными. Многое зависитъ отъ того, въ какой формѣ произойдетъ ликвидація большевицкаго періода русской исторіи. Война, возстаніе или эволюція режима? Въ случаѣ насильственной развязки смѣна одного тоталитаризма другимъ представляется весьма вѣроятной. Многіе скажутъ: фашизмъ придетъ на смѣну сталинизму, и это уже огромный шагъ впередъ. Я отвѣчу: сталинизмъ есть одна изъ формъ фашизма, такъ что этотъ исходъ равнозначенъ укрѣпленію выдыхающагося фашизма съ обно-

вленіемъ его идеологіи. Новая идея вдохнетъ новую энергію въ работу опричниковъ-организаторовъ. Перемѣна личнаго состава лишь усилитъ ихъ злобность: новая метла чище мететъ... Что касается эволюціоннаго исхода, то какъ уменьшаются въ послѣдніе годы его шансы! Сталинъ позаботился о томъ, чтобы отрѣзать себѣ и своимъ всѣ пути къ мирному отступленію.

Но пусть даже, вопреки вѣроятностямъ сегодняшняго дня, отступленіе окажется возможнымъ, и сталинскій режимъ сможетъ эволюціонировать — въ сторону, скажемъ, нормализаціи. Это не увеличиваетъ шансовъ свободы для завтрашняго дня. Позволяю себѣ повторить написанное мною когда-то: «Поколѣніе, воспитанное Че-Ка, не можетъ расчитывать на свободу. Свобода можетъ быть удѣломъ только его дѣтей». Сейчасъ, черезъ десять лѣтъ ягодо-ежовскаго воспитанія, можно только повторить, съ еще большей увѣренностью и большей горечью, эти слова.

Нѣтъ, рѣшительно нѣтъ никакихъ разумныхъ человѣческихъ основаній представлять себѣ первый день Россіи «послѣ большевиковъ» какъ розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется надъ Россіей послѣ кошмарной революціонной ночи, будетъ скорѣе то туманное «сѣдое утро», которое пророчилъ умирающій Блокъ. И какимъ же другимъ можетъ быть утро послѣ убійства, послѣ оргіи титаническихъ потугъ и всякаго идейнаго дурмана, которымъ убійца пытался заглушать свою совѣсть? Утро расплаты, тоски, первыхъ угрызеній... Послѣ мечты о міровой гегемоніи, о завоеваніи планетныхъ міровъ, о физіологическомъ безсмертіи, о земномъ раѣ — у разбитаго корыта бѣдности, отсталости, рабства — можетъ быть, національнаго униженія. Сѣдое утро...

3.

Но довольно каркать. Не оказались ли и мы во власти контръ-революціонныхъ настроеній, рисуя эти мрачныя картины? Сегодняшній застѣнокъ Сталина не долженъ парализовать у насъ зрѣнія и слуха, обращенныхъ къ созидательнымъ процессамъ революціонной Россіи. Достиженія есть: глупо отрицать или недооцѣнивать ихъ. Индустріализація Россіи. Ея почти поголовная (или приближающаяся къ таковой) грамотность. Рабочіе и крестьяне, обучающіеся въ университетахъ. Новая интеллигенція, не оторванная отъ народа: плоть отъ плоти и кость отъ кости его. Въ результатѣ — огромное расшире-

ніе культурнаго базиса. Книги издаются — и читаются — въ неслыханныхъ раньше количествахъ экземпляровъ. Не только для беллетристики, но и для научной популяризаціи открытъ широкій рынокъ. Удовлетворять проснувшіеся культурные запросы массъ не успѣваетъ совѣтская интеллигенція, несмотря на огромный ростъ ея кадровъ. Кажется, надолго Россіи, въ отличіе отъ странъ старой Европы, не угрожаетъ безработица и перепроизводство интеллигенціи.

Правда, въ настоящее время эта огромная экстенсификація культуры покупается, въ значительной мѣрѣ, за счетъ пониженія ея уровня. Мѣряя масштабомъ старой Россіи или новой Европы, приходится сказать, что въ СССР, въ сущности, нѣтъ настоящей ни средней ни высшей школы. Никто не умѣетъ грамотно писать, мало кто чисто говорить по русски. Невѣжество въ области исторіи, религіи, духовной культуры вообще — потрясающее. Ученые, даже естественники, жалуются на отсутствіе смѣны. Новая академическая молодежь явно неспособна справляться съ работой стариковъ. Обнаруживается опасный разрывъ между поколѣніями... Но это не страшно. Это дѣло поправимое. Можно нажить и грамотеевъ и ученыхъ: была бы охота, а охота есть. Нужны молодые ученые? Можно воспитать ихъ за границей. Поднять уровень школы? Нѣть ничего невозможнаго. Конечно, если расчитывать не на годы, а на десятилѣтія. Область научно-образовательной культуры во всемъ подобна культурѣ хозяйственно-технической. Все то, что измѣняется количествомъ, можетъ быть нажито энергіей и трудомъ. По вычисленіямъ Пражскаго Экономическаго Кабинета русскій рабочій живетъ сейчасъ хуже, чѣмъ до революціи. Кто виноватъ въ этомъ? Глупость хозяйственныхъ руководителей? Органическій порокъ хозяйственной системы? Или просто давленіе военной опасности, истощающей всѣ силы народа въ работѣ на оборону. И то, и другое и третье (даже коммунистическая система) — факты преходящіе, допускающіе измѣненіе. При огромности производительныхъ силъ Россіи, съ ея почти полной автаркіей, возможности ея хозяйственнаго роста неограничены. Изживется такъ или иначе ложная система, уйдутъ головотяпы, откроется дорога, пусть для медленнаго, но постояннаго и, въ принципѣ, безграничнаго хозяйственнаго роста. То же и съ просвѣщеніемъ. Медленно, очень медленно, разлившіяся воды достигнутъ предѣла, и начнется подъемъ уровней. Если низовая тяга къ знанію, хотя бы только техническому, достаточно велика — а въ этомъ пока нѣтъ при-

чинъ сомнѣваться — это обѣщаетъ въ будущемъ грандіозный подъемъ цивилизаціи. Все то, что можетъ быть достигнуто средствами внѣшней, научно-технической цивилизаціи, въ Россіи будетъ достигнуто. И здѣсь формула Блока: «Новая Америка». Мечта Ленина объ электрофикаціи Россіи — его убогая предсмертная мечта — конечно, осуществима. Для десятковъ милліоновъ людей въ Россіи, для большинства нашей молодежи въ эмиграціи — это все, о чемъ они мечтаютъ. Съ такой мечтой нетрудно быть оптимистомъ. Все дѣло лишь въ требовательности по отношенію къ жизни, къ своему народу, къ Россіи. Чего мы ждемъ отъ нея, чего для нея хотимъ?

Вотъ здѣсь-то и сказывается, что всѣ мы — я говорю объ остаткахъ, или «остаткѣ» русской интеллигенціи — глубоко разойдемся въ вопросѣ о томъ, что должно считать истинной или достойной цѣлью культуры. Многіе изъ насъ остаются вѣрны понятію «цивилизаціи», господствовавшему въ Россіи шестидесятыхъ годовъ. Бокль, котораго кое-кто изъ насъ читалъ въ дѣтствѣ, остается и сейчасъ для многихъ учителемъ. Его цивилизація слагается изъ роста техническихъ и научныхъ знаній + прогрессъ соціальныхъ и политическихъ формъ. Въ основѣ этого пониманія культуры лежитъ завѣщанная усилитаризмомъ идея счастья или, вѣрнѣе, удовлетворенія потребностей. Человѣческая жизнь не имѣетъ другого смысла, и комфортъ, матеріальный и моральный, остается послѣднимъ критеріемъ цивилизаціи. Всѣ мы помнимъ отчаянную борьбу противъ такой идеи цивилизаціи, которую повели въ Россіи Достоевскій и Толстой, въ Европѣ — возрожденіе философіи и «модернистскаго» искусства. Съ легкой руки нѣмцевъ, мы теперь противопоставляемъ культуру цивилизаціи, понимая первую, какъ іерархію духовныхъ цѣнностей. Цивилизація, конечно, включается въ культуру, но въ ея низшихъ этажахъ. Культура имѣетъ отношеніе не къ счастью человѣка, а къ его достоинству или призванію. Не въ удовлетвореніи потребностей, а въ творчествѣ, въ познаніи, въ служеніи высшему творится культура. Въ дисгармоніи она рождается, протекаетъ нерѣдко въ трагическихъ противорѣчіяхъ, и ея конечное стремленіе къ гармоніи остается вѣчно неудовлетвореннымъ. Но высшее напряженіе творчества народа (или эпохи), воплощенное въ его созданіяхъ или актахъ, одно оправдываетъ его историческое существованіе.

Еще недавно, въ довоенной Россіи начала XX вѣка, послѣднее, духовное и качественное пониманіе культуры, казалось, побѣждало, если не побѣдило окончательно, утилитарное

въ количественное. Съ тѣхъ поръ міръ пережилъ страшную реакцію. Въ войнѣ, въ революціяхъ, въ экономическихъ кризисахъ и катастрофахъ снова, съ необычайной мощью, заявили о себѣ низшія, элементарныя стихіи культуры. Вопросъ объ оружіи и вопросъ о хлѣбѣ — вытѣснили сейчасъ всѣ запросы духа. Даже соціальныя проблемы, переживаемыя съ большой остротой, рѣшаются теперь не въ терминахъ свободы или справедливости, а въ терминахъ хлѣба и оружія, т. е. національной экономики и мощи. Въ то же время война вскрыла глубокій кризисъ въ самой идеѣ гуманистической культуры. Тупики, къ которымъ она пришла во многихъ своихъ областяхъ — нагляднѣе всего въ искусствѣ — вызвали глубокое разочарованіе въ самомъ смыслѣ культуры. Умы, самые утонченные и передовые, возжаждали грубости и простоты. Въ спортѣ, въ техникѣ, въ политикѣ ищутъ спасенія отъ вопросовъ духа. Сплошь и рядомъ эти жизненныя установки совмѣщаются съ религіозной — въ религіи авторитарной и искусственно примитивной, въ которой вытравлено все гуманистическое и культурное содержаніе. Современный фашизмъ и коммунизмъ именно поэтому оказываются соблазнительными для многихъ тонкихъ умовъ, ренегатовъ гуманистической культуры.

Отсюда понятно, что перспектива индустріальной, могущественной, хотя и бездушной или бездуховной Россіи не всѣхъ пугаетъ. Старые демократы и молодые фашисты могутъ объединиться въ безоговорочномъ оптимизмѣ по отношенію къ Россіи завтрашняго дня.

Поспѣшимъ оговориться. Есть уровень нищеты, беззащитности, матеріальныхъ страданій, передъ которыми должны умолкнуть всѣ вопросы о смыслѣ культуры. Хлѣбъ становится священнымъ въ рукахъ голоднаго и даже праща въ рукахъ Давида, вышедшаго на Голіаѳа. До тѣхъ поръ, пока народъ въ Россіи ведетъ полуголодное существованіе, лишенъ самыхъ насущныхъ вещей — одежды, бани, лѣкарствъ, бумаги, я не знаю еще чего — только снобы могутъ отфыркиваться отъ экономики. Сейчасъ цивилизація — самая низменная, техническая — имѣетъ въ Россіи каритативное, христіанское значеніе Вопросъ объ оружіи сложнѣе. Россія, конечно, не Давидъ, но и не Голіаѳъ — пока. Во всякомъ случаѣ, не она угрожаетъ, а ей угрожаютъ враги, могущественные, безжалостные. Постольку оправдана, отчасти, и военная тенденція ея индустріализма.

Все это скоро должно измѣниться и даже превратиться въ свою противоположность. Хлѣбъ можетъ быть священнымъ сим-

воломъ культуры, комфортъ никогда. Но импульсъ техническаго энтузіазма, сейчасъ вызываемый необходимостью, будетъ дѣйствовать долго въ силу инерціи. Накопленіе богатствъ въ соціалистическихъ формахъ не болѣе почтенно, чѣмъ погоня за богатствомъ буржуазнымъ. Если этотъ идеалъ станетъ главнымъ содержаніемъ жизни 1/6 части земного шара, то слѣдуетъ сказать: эта страна потеряна для человѣчества, этотъ народъ зря гадитъ (а онъ не можетъ не гадить) свою прекрасную землю. Его историческая цѣнность меньше цѣнности любого крохотнаго племени, затеряннаго въ горахъ Кавказа или въ Сибирской тайгѣ, которое сохранило, по крайней мѣрѣ, свои пѣсни и сказки, художественныя формы быта и религіозное отношеніе къ міру. Россія — Америка, Россія — Болгарія, Россія «Пошехонье», раскинувшееся на полъ-Европы и Азіи — это самый страшный призракъ, который можетъ присниться въ нашъ вѣкъ кошмаровъ. Что же сказать, если этотъ счастливый пошехонецъ окажется вооруженнымъ до зубовъ Голіаѳомъ, воплощающимъ въ себѣ опасность для всего міра? Голая, бездушная мощь — это самое послѣдовательное выраженіе каиновой, проклятой Богомъ цивилизаціи.

Пусть мы горсть, окруженная къ тому же со всѣхъ сторонъ предателями, пусть насъ останется хоть три человѣка, но мы никогда не примиримся съ такимъ будущимъ Россіи. Въ своемъ великомъ прошломъ она дала міру иныя поруки. Въ пору матеріалистическаго усыпленія Запада, совсѣмъ недавно, она горѣла костромъ изумительной духовности. Она была «звана Христовой». Она была въ числѣ немногихъ великихъ націй — Греція, Франція, Германія — которымъ поперемѣнно принадлежала духовная гегемонія человѣчества. Вознесшаяся такъ высоко, она такъ низко пала. Можетъ-быть, сейчасъ она утратила свои права на первородство. Ей предстоитъ долгій и трудный путь искупленія. Но отказаться совсѣмъ отъ своего лица, отъ своего мучительнаго боренія съ Богомъ — ради культуры танковъ и двухспальныхъ кроватей — никогда! Можно отказаться отъ великодержавности политической, смириться передъ силой, забыть честолюбивыя мечты... Но нельзя забыть о великомъ призваніи. Ибо призваніе — это не слава, а жертва, не притязаніе, а долгъ. Рѣчь идетъ не о томъ, чтобы раждать геніевъ Земля можетъ устать родить, а мы не можемъ «прибавить себѣ росту ни на одинъ локоть». Рѣчь идетъ о томъ, чтобы трудиться, мучиться, искать, чѣмъ утолить нашъ духовный, не физическій только голодъ. Въ сущности, всего лишь о томъ, чтобы не обманывать этого голода и не заглушать его въ себѣ

анастезирующими снадобьями. Испанія, давно, конечно, не мечтаетъ о міровой имперіи временъ Карла V Но она никогда не забудетъ о легендарныхъ дняхъ Сервантеса, Кальдерона, Лопе де Вега. Вѣками будетъ она жить въ воспоминаніяхъ и, если аскетическій трудъ подготовитъ удобренную почву, почему не настать тому дню (Испанія можетъ надѣяться), когда таинственная, непокупаемая благодать, gratia gratis data, не оросить дождемъ ея изжаждавшуюся землю?

Совѣтъ Шпенглера — рѣшительно отказаться отъ непосильной больше культуры ради легкой, дающейся въ руки цивилизаціи — есть отступничество, лишь прикрытое маской стоицизма. Если современная Германія приметъ этотъ совѣтъ, отступничество сдѣлается національнымъ. Германія ради владычества надъ міромъ, предастъ свою душу. Неужели Россіи итти по этому малодушному пути?

Что же, не запутались ли мы въ безплодномъ противорѣчіи? Съ одной стороны, трезвый анализъ запрещаетъ возлагать чрезмѣрныя надежды на близкое будущее русской культуры. Мы ждемъ сѣдого утра и безрадостнаго дня. Съ другой, отказываемся примириться съ этой перспективой. Сердце какъ будто бы тутъ не въ ладу съ головой. Должны, но не можемъ. Идемъ, но не хотимъ итти.

Конечно, это обычное трагическое противорѣчіе исторіи — между необходимостью и долженствованіемъ. Оно мучительно-неразрѣшимо лишь на высотахъ метафизической мысли: въ проблемѣ предопредѣленія и свободы. Въ жизненной дѣйствительности оно никогда не дано намъ въ такой остротѣ. Лишь долженствованіе дано во всей абсолютности. Необходимость историческая всегда относительна. Это лишь потокъ, теченіе событій, насъ увлекающее. Нужно плыть противъ теченія. Вотъ и все.

Но нужно сказать себѣ со всею твердостью — сказать всѣмъ мечтающимъ о строительствѣ русской культуры, всѣмъ молодымъ энтузіастамъ, младороссамъ, пореволюціонерамъ, христіанскимъ націоналистамъ: противъ теченія! Иначе мы предадимъ Россію, самое святое ея души.

Оглядываясь на прошлое, мы приходимъ къ убѣжденію, уже болѣе утѣшительному. Было ли это когда-нибудь иначе? Всѣ поколѣнія русской интеллигенціи, какъ до нихъ строители Имперіи — не шли ли противъ теченія, противъ косности или противъ традиціи русской жизни. И чѣмъ глубже взрываютъ почву, чѣмъ духовнѣе трудъ и подвигъ, тѣмъ сильнѣе сопротивленіе, тѣмъ неизбѣжнѣе одиночество. Какъ страшно оди-

ночество Достоевскаго! И все же побѣда приходитъ — быть можетъ, поздно, посмертная побѣда и относительная, конечно, — въ ту мѣру, въ которой историческая матерія способна вмѣстить идею. Но побѣды возможны. Только пути къ нимъ ведутъ не черезъ языческое подчиненіе стихіямъ жизни, какъ хочетъ внушать намъ снова и снова органическій (или революціонный) консерватизмъ, а противъ потока, въ преодолѣніи инерціи и тяжести земли. Подъ знакомъ креста.

Еще одно, послѣднее. Спрашиваютъ: на что ставить? То-есть, помимо нашей собственной вѣры и воли, на какіе объективные моменты русской жизни можно опереться въ работѣ для будущаго? Безъ этой точки опоры наши упованія рискуютъ оказаться скорѣе грезами, а строительство только жертвой. Эти опорныя точки не должны пріобрѣтать преувеличенныхъ очертаній въ нашихъ глазахъ, превращаться въ миражи. Но онѣ должны быть.

Ну, такъ вотъ. Всѣ надземныя, открытыя сейчасъ теченія русской жизни не за насъ. Я говорю и больше: всѣ побѣдоносныя завтра — тоже противъ насъ. Но должны быть и тѣ, что съ нами. Не можетъ ихъ не быть т а м ъ, если они есть, хотя и слабы, здѣсь, за рубежомъ Россіи. Тотъ страшный прессъ, который давитъ въ Россіи все живое — онъ сплющиваетъ въ листъ слабыхъ — т. е. почти всѣхъ. Но сильные, немногіе, подъ этимъ давленіемъ сохранившіе духъ, должны выростать въ святыхъ и героевъ. И мы положительно знаемъ, отъ надежныхъ свидѣтелей, что герои и святые тамъ есть. Будемъ строги, и произведемъ отборъ. Герои и святые вообще не очень жалуютъ культуру, это правда. Хотя изъ ихъ жизни и смерти выростаетъ впослѣдствіи и культура, для нихъ нечаянная. Но есть и герои культуры, есть и святые культуры. О нихъ мы тоже знаемъ. Многіе изъ героевъ живутъ отрицательными импульсами борьбы: изъ нихъ выйдутъ большевики новой идеи, побѣдители завтрашняго дня. Это не наши. Но, за вычетомъ всѣхъ чужихъ, видится ясно тотъ чудесный «остатокъ», въ которомъ живетъ сейчасъ духъ Россіи, и который завтра начнетъ актуализироваться въ ея культурѣ. Это наше противотеченіе представляется намъ сильнымъ не количествомъ, а качествомъ. Одинъ кристаллъ цвѣтной соли можетъ замѣтно окрасить стаканъ воды. Въ строеніи химическаго тѣла присутствіе малаго количества вещества имѣетъ конструктивное значеніе. Въ матеріалистическую и имперіалистическую Россію завтрашняго дня войдетъ, какъ жало въ плоть, нѣчто совсѣмъ иноприродное, кажущееся чужимъ, на самомъ дѣлѣ самое свое, русское изъ

русскаго. Его присутствіе вызоветъ противорѣчіе, борьбу, кристаллизацію силъ. Униссона не будетъ, однотемной, тоталитарной, усыпляющей одноголосицы. Культура Россіи, даже и завтрашняго дня, будетъ контрапунктической. Слабая сегодня, даже завтра, духовная элита будетъ расти. У нея есть могущественный союзникъ: русское прошлое. Къ этому прошлому уже обращаются всѣ, какъ къ источнику силъ: одни къ Писареву, Чернышевскому, другіе къ Суворову и Николаю I. Но этимъ сталинскимъ отборомъ героевъ не исчерпать русскаго наслѣдія. Шила въ мѣшкѣ не утаишь, Толстого не спрячешь. Великіе усопшіе, вѣчно живые, будутъ строить, вмѣстѣ съ нашими дѣтьми, духовную родину, которая оказалась не по плечу нашему поколѣнію.

А передъ нами, живыми, есть скромная, но необходимая, аскетическая задача. Приготовленіе земли для будущихъ посѣвовъ. Въ культурѣ не все отъ генія, многое отъ труда, дисциплины и расчета. Есть много конкретныхъ проблемъ организаціи культуры, національнаго воспитанія, культурной пропаганды, которыя мы можемъ ставить для себя уже сейчасъ, которыя, во всякомъ случаѣ, должна ставить для себя наша молодая смѣна. И, прежде всего, мы должны прояснить для себя два основныхъ вопроса: какой мы хотимъ видѣть русскую культуру? И какія препятствія надо преодолѣть на путяхъ къ ея созиданію?

СОЗДАНИЕ ЭЛИТЫ

(Письма о русской культурѣ).

1.

Въ то врѣмя, какъ мы пишемъ эти строки, гдѣ-то, въ темныхъ подвалахъ политическаго міра принимаются рѣшенія, которыя надолго опредѣлятъ судьбу Россіи. Нѣтъ сомнѣнія, что ближайшій день русской культуры сложится въ тѣсной зависимости отъ политическаго исхода русской революціи. Отстоитъ или нѣтъ Россія свою независимость, оборонитъ ли свою Имперію-Союзъ, или будетъ отброшена къ границамъ Великороссіи; сохранится ли, въ смѣнѣ власти, преемство Октября и созданнаго имъ отбора, или хозяевами Россіи, на извѣстное время, явятся эмигранты — подъ защитой нѣмецкихъ штыковъ, — намъ не дано знать. Но вся внутренняя жизнь Россіи на поколѣнія опредѣлится развязкой затянутаго Сталинымъ узла. Россія можетъ развиваться въ новую трудовую демократію, или пройти черезъ фашизмъ, т. е. еще черезъ новую форму фашизма, черезъ новую идеократію, новую чекистскую организацію культуры. Можно ли при такой неясности дѣлать какіе-либо прогнозы о ея культурѣ? Не крайнее ли это легкомысліе и дерзость?

Тѣмъ не менѣе, мы смѣемъ утверждать, что есть нѣкоторыя общія темы русскаго культурнаго развитія, которыя независимы, или почти независимы, отъ политики. Къ кругу такихъ темъ принадлежитъ и поставленная нами въ настоящемъ письмѣ. Каковъ бы ни былъ политическій смыслъ русской революціи, ея культурное содержаніе можетъ быть описано, съ крайней схематичностью, слѣдующимъ образомъ: русская культура, доселѣ творимая и хранимая интеллигенціей, спускается въ самую глубину массъ и вызываетъ полный переворотъ въ ихъ сознаніи. То обстоятельство, что въ первый періодъ революціи большевики пытались организовать всю культуру вокругъ марксизма, имѣетъ случайное значеніе. Этотъ періодъ проходитъ, или уже прошелъ. Вмѣсто марксизма много другихъ идей и идеологій могутъ быть еще брошены въ котелъ, гдѣ плавится новое народное міросозерцаніе. Существеннымъ остается одно: все-

---

Впервые опубликовано в журнале "Современные записки", № 68, Париж 1939 г.

народный, или, скромнѣе, демократическій характеръ новой русской культуры. Никто не думаетъ, конечно, что въ Россіи высшая математика или философія стали доступны массамъ. Но культура перестала быть замкнутой или двухэтажной. Старое противоположеніе интеллигенціи и народа потеряло свой смыслъ. Отъ центра къ периферіи движеніе интеллектуальной крови совершается безъ задержекъ и перебоевъ. Россія въ культурномъ смыслѣ стала единымъ организмомъ. Этотъ фактъ непреложенъ и неотмѣняемъ. Никакія реакціи и перевороты не могутъ измѣнить его: не могутъ отнять книгу у народа или воздвигнуть стѣну между массами и національной культурой. Изъ этого факта мы исходимъ, и послѣдствія его пытаемся оцѣнить.

То, что произошло въ Россіи, не представляетъ ничего страннаго и небывалаго. Россія просто приблизилась, по своему культурному строенію, къ общеевропейскому типу, гдѣ народная школа и цивилизація XIX вѣка уже привели къ широкой культурной демократизаціи. Однако въ Россіи, въ условіяхъ небывалой революціи, этотъ давній и неизбѣжный процессъ демократизаціи культуры былъ не только форсированъ. Благодаря сознательному и полусознательному истребленію интеллигенціи и страшному пониженію уровня, демократизація культуры пріобрѣтаетъ зловѣщій характеръ. Широкой волной текущая въ народъ культура перестаетъ быть культурой. Народъ думаетъ, что для него открылись всѣ двери, доступны всѣ тайны, которыми прежде владѣли буржуи и господа. Но онъ обманутъ и обворованъ. Господа унесли съ собой въ могилу — не всѣ, конечно, ключи, — но самые завѣтные, отъ потайныхъ ящиковъ съ фамильными драгоцѣнностями. Университеты открыты для всѣхъ, въ Россіи насчитывается до 700 высшихъ школъ, но есть ли хоть одна высшая школа, достойная этого имени, равная по качеству старому университету? Въ этомъ позволительно сомнѣваться. Рабочій или крестьянскій парень, огромными трудами и потомъ стяжавшій себѣ дипломъ врача или инженера, не умѣетъ ни писать ни даже правильно говорить по-русски. Пріобрѣтя извѣстный запасъ профессіональныхъ свѣдѣній, онъ совершенно лишенъ общей культуры и, раскрывая книгу, встрѣчаясь съ уцѣлѣвшимъ интеллигентомъ старой школы, на каждомъ шагу мучительно чувствуетъ свое невѣжество. Спеціалистомъ онъ, можетъ быть, и сталъ — очень узкимъ, конечно, — но культурнымъ человѣкомъ не сталъ и не станетъ. И не потому, конечно, что у него нѣтъ поколѣній культурныхъ предковъ, что у него не голубая кровь. Въ старой, полудворянской Россіи «кухаркинъ сынъ», пройдя черезъ школу, могъ овла-

дѣть той культурой, которая сейчасъ въ рабоче-крестьянской Россiи ему недоступна. Причина ясна и проста. Исчезла та среда, которая прежде перерабатывала, обтесывала юнаго варвара, въ нее вступавшаго, лучше всякой школы и книгъ. Безъ этой среды, безъ воздуха культуры школа теряетъ свое влiянiе, книга перестаетъ быть вполнѣ понятной. Культура, какъ организующая форма сознанiя, распадается на множество безсвязныхъ элементовъ, изъ которыхъ ни одинъ самъ по себѣ, ни ихъ сумма, не являются культурой.

Дѣло не въ грамотности и не въ запасѣ благородныхъ и безполезныхъ свѣдѣнiй — по исторiи, литературѣ, миѳологiи. Можно легко допустить, что съ годами, цѣной большого напряженiя школьной дисциплины, въ Россiи добьются сносной орѳографiи и даже заставятъ вызубрить конспекты по греческой миѳологiи. И все это останется мертвымъ грузомъ, забивающимъ головы, даже отупляющимъ ихъ, если не совершится чудо возрожденiя подлинной культуры; если, перефразируя въ обратномъ смыслѣ слова Базарова, мастерская не станетъ храмомъ.

Выражаясь въ общепринятыхъ нынѣ терминахъ, въ Россiи развивается и имѣетъ обезпеченное будущее цивилизацiя, а не культура. И наше отношенiе къ этому будущему — оптимистическое или пессимистическое — зависитъ отъ того, къ какому стану мы примыкаемъ: къ стану цивилизацiи или культуры. Водораздѣлъ проходитъ довольно четкiй, — какъ здѣсь, въ эмиграцiи, такъ и въ рядахъ старой интеллигенцiи т а м ъ, въ Россiи. Это различiе можно опредѣлять по разному: какъ различiе качества и количества или образованiя гуманистическаго и реалистическаго. Послѣднее опредѣленiе можно формулировать точнѣе: культура построена на приматѣ философски-эстетическихъ, а цивилизацiя — научно-техническихъ элементовъ. Но мы и безъ опредѣленiй понимаемъ, въ чемъ дѣло. Начиная съ 90-хъ годовъ, русская интеллигенцiя раздѣлилась на два лагеря — не по политическимъ настроенiямъ, но какъ разъ по линiи различнаго пониманiя культуры. Бои между людьми культуры и цивилизацiи велись жаркiе, даже ожесточенные. Къ началу войны они заканчивались относительнымъ торжествомъ культуры. Философiя, эстетика овладѣвали твердынями «завѣтовъ», завоевали позицiи въ толстыхъ журналахъ, въ школѣ, въ газетѣ. Однако, ихъ торжество было недолговѣчнымъ. Народныя массы оставались чуждыми этому культурному ренессансу. Онѣ едва просыпались отъ средневѣковаго сна къ диковинкамъ соблазнительной цивилизацiи. Чудеса науки и техники дѣйствовали неотразимо на дѣтскiе умы, вчера еще жившiе

вѣрой въ чудотворныя иконы и мощи. Обвалъ стараго религіознаго міровоззрѣнія былъ рѣзокъ и катастрофиченъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружились новыя ножницы между интеллигенціей и народомъ, совершенно обратныя расхожденіямъ 60-хъ и 70-хъ годовъ. Народъ оказался духовно въ 18 вѣкѣ, когда интеллигенція вступила въ 20-ый. Большевистская революція не создала этого конфликта, — она лишь трагически углубила его.

Въ извѣстномъ смыслѣ можно сказать, что большевизмъ былъ возвращеніемъ къ традиціямъ 60-хъ годовъ. Конечно, въ нравственномъ смыслѣ нельзя и сравнивать Ленина съ Чернышевскимъ. Но умственный складъ ихъ былъ сходенъ: недаромъ Чернышевскій вошелъ въ творимую легенду революціи, какъ предтеча большевизма. Можно было бы утверждать даже, что большевики кое въ чемъ смягчили вандализмъ Писаревыхъ: никто уже не думалъ теперь о разрушеніи эстетики или о развѣнчаніи Пушкина. Въ этомъ смыслѣ усилія послѣдняго поколѣнія рыцарей культуры не прошли даромъ. Имъ мы обязаны тѣмъ, что разрушительный разливъ русской революціи остановился передъ нѣкоторой культурной преградой. Безъ «Міра Искусства» была бы невозможна «Охрана памятниковъ старины». Характерно, что безпощадное разрушеніе церквей и старины началось уже тогда, когда ушелъ въ могилу или въ тюрьму первый интеллигентскій строй сподвижниковъ Ленина: всѣ эти Луначарскіе, Каменевы, Троцкіе (или Троцкія), которые не остались чужды культурѣ XX в. Сталинъ отъ нея совершенно свободенъ, какъ и тотъ низовой, полуграмотный слой, который онъ вызвалъ съ собою къ власти. Культурный вандализмъ большевизма разгулялся тогда, когда революціонный духъ его уже выдохся. Этотъ парадоксальный фактъ показываетъ, что самый страшный врагъ культуры въ Россіи — не фанатизмъ, а тьма, и даже не просто тьма, а тьма, мнящая себя просвѣщеніемъ, суевѣріе цивилизаціи, поднявшее руку на культуру.

Мы здѣсь, за рубежомъ, мучительно переживаемъ распродажу картинъ изъ Эрмитажа, какъ неисцѣлимую рану, нанесенную русской культурѣ. Не думаю, чтобы широкія массы въ Россіи были хоть сколько-нибудь ею взволнованы. Продать картины, чтобы купить машины или хлѣбъ — должно было казаться естественнымъ. Тѣмъ болѣе, что убыль качества покрывалась ростомъ количества. Эрмитажъ все разрастается, захватывая чуть ли не весь Зимній Дворецъ свезенными отовсюду музейными вещами. Безконечныя экскурсіи, дефилирующія цѣлый день по его заламъ, смогутъ ли замѣтить исчезновеніе нѣсколькихъ шедевровъ въ этомъ морѣ картинъ, отъ котораго голова

идетъ кругомъ? Для нихъ, для цивилизаціи — все на мѣстѣ. И цивилизаціи нуженъ музей, но по другому нуженъ, чѣмъ культурѣ. Одни люди влюбляются въ картину и цѣлую жизнь посвящаютъ ея культу, другіе — глазѣютъ, спѣша отбыть «культурную» повинность и сдѣлать «соціологическіе» выводы изъ запечатлѣнной на полотнѣ трагедіи.

Но, вѣдь, такой была, въ массѣ своей, и русская интеллигенція 60-хъ, 70-хъ, 80-хъ годовъ. Эти поколѣнія еще не исчезли изъ жизни, а исчезая оставили наслѣдниковъ. Современная молодежь и здѣсь, за рубежомъ, опять откровенно предпочитаетъ техническую цивилизацію — эстетической и философской культурѣ. Для старыхъ семидесятниковъ и для молодыхъ людей «тридцатыхъ» годовъ драма русской культуры одинаково не существуетъ. Просвѣщеніе въ Россіи разливается неудержимо. Тиражъ книгъ доходитъ до милліоновъ. Всѣ шероховатости и пробѣлы сегодняшняго дня будутъ завтра исправлены и Россія, дѣйствительно, догонитъ и обгонитъ Америку.

Да, Америку... Ее догнать нетрудно. Не сомнѣваемся, что «Новая Америка» сможетъ многое организовать и лучше старой. Но что же въ ней будетъ отъ Россіи? Почему этотъ евразійскій континентъ стóитъ нашей любви болѣе, чѣмъ всѣ другіе, превращающіеся на нашихъ глазахъ въ унылое единообразіе планеты?

Мы, несогласные на Россію-Америку — и чающіе для нея иного, высшаго будущаго, обязаны намѣтить мостъ отъ нашей мечты къ дѣйствительности. Что дѣлать намъ здѣсь сейчасъ, и завтра тамъ, чтобы, если возможно, отклонить «ходъ исторіи», согнуть «желѣзную необходимость»? Словомъ, еще разъ обойти Гегеля, какъ Ленинъ разъ уже обошелъ Маркса. Противъ теченія!

Разумѣется, жизнь и смерть культуры, въ отличіе отъ цивилизаціи, заключаютъ въ себѣ огромный элементъ ирраціональнаго. Никто не знаетъ, почему расцвѣтаетъ и почему чахнетъ искусство. Всѣ наши самыя героическія усилія не могутъ создать генія, который опредѣляетъ на вѣка содержаніе культуры и даетъ ей извѣстную форму. Но мы можемъ создать условія благопріятныя — не для появленія геніевъ, а для ихъ роста и ихъ вліянія. Да развѣ одни геніи движутъ культурой? Тысячи работниковъ ведутъ плугъ по указанной учителемъ бороздѣ. Культура, какъ и цивилизація, нуждается въ организаціи, въ школѣ, въ трудовой дисциплинѣ. И Адамъ былъ призванъ «воздѣлывать рай», — иными пріемами, конечно, чѣмъ воздѣлываетъ свое поле американскій фермеръ. А геніевъ мы имѣли до-

статочно за истекшій вѣкъ. Врядъ ли другой народъ имѣлъ столько великихъ людей за одно столѣтіе. Богъ не обидѣлъ Россію. Только бы намъ оказаться достойными этого наслѣдства. И не только сохранить, но и творчески пріумножить его, — что, въ сущности, одно и то же.

Проблема культуры, въ отличіе отъ цивилизаціи, имѣетъ два аспекта, допускающихъ оба сознательное воспитательное и общественное усиліе. Культура отличается отъ цивилизаціи, во-первыхъ, иной направленностью интересовъ; во-вторыхъ, приматомъ качества надъ количествомъ. Въ настоящій историческій день обѣ проблемы сводятся къ одной: какъ возсоздать въ Россіи тотъ разрушенный революціей культурный слой, который былъ бы способенъ поднять качество культурной работы и передвинуть центръ интересовъ съ вопросовъ техники къ вопросамъ духа *).

2.

Созданіе элиты, или духовной аристократіи, есть задача, прямо противоположная той, которую ставила себѣ русская интеллигенція. Интеллигенція нашла готовымъ культурный слой, главнымъ образомъ дворянскій по своему происхожденію и отдѣленный отъ народа стѣной полнаго непониманія. Она поставила своей цѣлью разрушить эту стѣну любой цѣной, хотя бы уничтоженія самого культурнаго слоя, ради просвѣщенія народа. Опуститься самимъ, чтобы дать подняться народу, — въ этомъ смыслъ интеллигентскаго «кенозиса» или народничества. Русское народничество, какъ культурное умонастроеніе, много шире того соціально-политическаго теченія, которое называется этимъ именемъ. За немногими исключеніями, почти вся интеллигенція раздѣляла его основныя предпосылки. И это было для нея тѣмъ легче, что основной темой предшествующей, петровской, императорской эпохи было «просвѣщеніе». Просвѣщеніе предполагаетъ истину данной, систему культурныхъ цѣнностей уже установленной. Для торжества истины нужно лишь пріобщить къ ней темныя массы. Просвѣщеніе, или цивилизація Россіи была, конечно, насущной необходимостью, вопросомъ ея существованія. Но преобладаніе этой темы налагаетъ на весь 18 вѣкъ, при всемъ его внѣшнемъ великолѣпіи, печать элементарности. Творческая эпоха, въ сущности, начинается въ Але-

*) Интересныя соображенія Г. П. Федотова относительно метода возсозданія русской культуры, не безспорныя въ отдѣльныхъ частностяхъ, остаются на отвѣтственности автора. — **Ред.**

ксандровскіе годы, чтобы, черезъ нѣсколько десятилѣтій, смѣниться просвѣтительнымъ народничествомъ. Различіе между просвѣщеніемъ петровскимъ и народническимъ весьма существенно, хотя легко ускользаетъ отъ наблюдателя. Просвѣтитель стремится поднять до себя просвѣщаемую массу, народникъ — спуститься до нея. Конечно, и народникъ спускается, чтобы поднимать — по крайней мѣрѣ, въ своемъ дневномъ сознаніи, — и просвѣтитель долженъ популяризировать, т. е. принижать свою истину. Но для послѣдняго всего дороже истина, для перваго — народъ, т. е. люди. Первый движется интеллектуальнымъ и эстетическимъ увлеченіемъ истиной, второй нравственнымъ стремленіемъ къ равенству. Какихъ только жертвъ не приноситъ народникъ на алтарь равенства! Н. К. Михайловскій рѣзко формулировалъ юношескія крайности своего поколѣнія: «Пусть насъ сѣкутъ! Мужика сѣкутъ же». Это жертва свободой, т. е. самымъ дорогимъ для русской интеллигенціи. Что же сказать о наукѣ, искусствѣ, философіи? Щедринъ любилъ высмѣивать благонамѣренныя общества, которыя выпускаютъ «101 томъ трудовъ». Какія общества имѣлъ въ виду сатирикъ? Вѣроятно, тѣ историческія, географическія и филологическія общества, труды которыхъ являются теперь для насъ неисчерпаемымъ источникомъ познанія Россіи и исполняютъ насъ законной гордостью за русскую науку. Щедринъ смѣялся надъ трудами академій. Врядъ ли ему приходило въ голову смѣяться надъ учебниками для народныхъ школъ. Народная школа была созданіемъ интеллигенціи и ея гордостью. Академія Наукъ казалась роскошью, излишествомъ. Званіе народнаго учителя и было самымъ почетнымъ въ Россіи. Званіе профессора было — и осталось — почти браннымъ словомъ. Считалось аксіомой, что культура (т. е. цивилизація) растетъ снизу, а не сверху. Я зналъ одного стараго чудака, который говорилъ: «Вѣдь, и человѣкъ растетъ не съ головы, а съ ногъ». Существованіе образованной элиты въ безграмотной странѣ считалось аномаліей, чѣмъ-то вродѣ помѣщичьихъ оранжерей и крѣпостныхъ балетовъ. Большевики, при всемъ своемъ марксизмѣ, раздѣляли (и даже до крайности обострили) это народническое пониманіе культуры. Они сдѣлали опытъ: все для народа, цѣною разрушенія высшихъ этажей культуры. Университетъ былъ полуразрушенъ, зато СССР гордится почти поголовной грамотностью. Но вотъ при первой попыткѣ поднять эту грамотность хотя бы до уровня грамотности орѳографической, встрѣтилось неожиданное (!) препятствіе: то, что называется на условномъ милитаристическомъ жаргонѣ — проблема кад-

ровъ. Нѣтъ учителей. Чтобы создать народныхъ учителей, надо имѣть приличную среднюю школу; чтобы создать среднюю школу, надо имѣть университетъ. Такъ, на собственномъ, т. е. народномъ лбѣ, большевики опытно провѣрили народническую философію культуры, и отрицательно оправдали дѣло Петра. Да, въ отсталой и дѣвственно-невѣжественной странѣ нужно начинать съ Академіи Наукъ, а не съ народной школы. Такимъ путемъ шелъ весь міръ. Западная Европа имѣла «Академію» при Карлѣ Великомъ, а народную школу лишь въ XIX вѣкѣ. Просвѣщеніе разливается, какъ вода, заполняя высокія водохранилища, чтобы переливаться, если не черезъ край, то по желобамъ или шлюзамъ, все въ болѣе низкіе водоемы. Народничество предпочитало болѣе органическія сравненія: съ ростомъ дерева, напримѣръ. Земля, при этомъ, представлялась источникомъ творческихъ силъ: все изъ народа. Народъ, и именно низы его, творятъ изъ себя свою интеллигенцію, которая поднимается все выше и выше, не отрываясь отъ массы. Таковъ идеальный порядокъ культуры, нарушенный аристократическимъ или буржуазнымъ грѣхопаденіемъ. Что можно возразить на это? Оставаясь въ границахъ органическихъ символовъ, приходится сказать, что земля сама ничего не производитъ. Сѣмя падаетъ сверху въ ея лоно, которое лишь питаетъ его. Растеніе столько же дитя солнца, какъ и земли. Безотцовская, лишь материнская, народническая или земная сила всегда остается темной и безплодной. Порывъ личности къ свѣту, къ солнцу, къ свободѣ неизбѣжно создаетъ надрывъ, если не разрывъ ея связей со средой, съ материнскимъ лономъ народа. Неизбѣжна драма непониманія, отчужденія, борьбы. Народъ идетъ за духовными вождями противъ воли, упираясь, — всякій народъ, хотя бы и высоко культурный. Масса, въ которую бросали просвѣщеніе подвижники 18 вѣка, была еще почти исключительно дворянской, какъ дворянской, и даже вельможной была та чернь, которую бичевалъ Пушкинъ. Есть, правда, разстоянія, которыя оказываются пропастью. Такія пропасти могутъ поглотить государство, это былъ случай Россіи. Но для Россіи заполненіе пропасти требовало методовъ просвѣщенія, а не народничества, отъ Академіи къ народной школѣ, а не обратно.

Но теперь вопросъ ставится уже не о возвратѣ отъ народничества къ просвѣщенію, а о дальнѣйшемъ шагѣ — отъ просвѣщенія къ творчеству. За просвѣщеніе мы можемъ быть спокойны. И государство и народъ, т. е. всѣ слои его, одинаково въ немъ заинтересованы. Въ сущности, оно нуждается лишь въ матеріальныхъ средствахъ и организаціи. Оно можетъ пока

еще — и долго — совершаться въ Россіи самотекомъ, т. е. по инерціи, силой разбуженной въ массахъ жажды знанія.

Иное дѣло творчество, т. е. культурное творчество. Работа для него потребуетъ методовъ кореннымъ образомъ отличныхъ отъ народническихъ. Методовъ, не только непривычныхъ для насъ, но и прямо враждебныхъ нашимъ «завѣтамъ».

Поставить творчество впереди просвѣщенія то же самое, что въ хозяйственной жизни подчеркнуть производство передъ распредѣленіемъ. Логически можетъ ли быть иначе? Прежде чѣмъ распредѣлять, нужно, чтобы было, что̀ распредѣлять. Лишь XIX вѣкъ съ его титаническимъ, почти стихійнымъ ростомъ производства, какъ и культурнаго накопленія, пріучилъ насъ поверхностно скользить надъ проблемою производительныхъ силъ. Соціализмъ сводился къ проблемѣ распредѣленія. Понадобилось тоталитарное осуществленіе соціализма въ СССР, чтобы вопросы производства встали въ порядокъ дня. Производство падаетъ. Мощный потокъ хозяйственной энергіи, вчера, казалось, неистощимой, изсякаетъ, какъ степной ручей. Нужны планомѣрныя и сознательныя усилія, чтобы оживить его. Сюда относится борьба съ «уравниловкой», преміальные тарифы, стахановщина, возстановленіе кадровъ, техническое образованіе. Обобщая, можно было бы сказать: созданіе неравенства, или технической элиты. Слѣдуетъ признать, что основное направленіе технической политики выбрано правильно. Страна должна создать свою техническую элиту, если хочетъ выбиться изъ нищеты. Лишь органическое головотяпство режима (отчасти совпадающее съ самымъ духомъ большевизма) губитъ всѣ разумныя начинанія.

Въ сферѣ духовной культуры меньше мѣста плановому вмѣшательству, организаціи, больше свободѣ, ирраціональнымъ силамъ духа. Но основная проблема воспитанія и здѣсь та же самая: созданіе элиты, культурнаго неравенства. Потрясенные фактомъ общественнаго неравенства — дѣйствительно безнравственнаго и уничтожающаго возможность подлиннаго національнаго общенія, — мы проглядѣли цѣнность и вѣчность духовной іерархіи. Должно быть разстояніе между учителемъ и ученикомъ, между писателемъ и читателемъ, между мыслителемъ и популяризаторомъ. Иначе не чему будетъ учить. Напряженность восходящаго движенія къ культурѣ пропорціональна разстоянію ея полюсовъ — если только связь между ними не утрачена: такъ сила тока пропорціональна разности потенціаловъ. Конечно, разстояніе между полюсами должно быть заполнено посредствующими дѣятелями; строеніе культурнаго міра ступенчато, іерархично. Академикъ не долженъ, да и не

можетъ, не умѣетъ преподавать въ народной школѣ. Вотъ то, чего у насъ не одни большевики, но почти никто не понимаетъ. Непосредственное творчески-трудовое общеніе происходитъ между смежными звеньями іерархіи. Тогда — и только тогда по слову Данте, tutti tirati son e tutti tirano — «всѣ влекомы и всѣ влекутъ».

И, наконецъ, отрѣшаясь отъ всѣхъ соображеній педагогической цѣлесеобразности и даже общественнаго блага, надо отдать себѣ отчетъ въ томъ, для чего, собственно, существуетъ культура. Культура ли для народа или народъ для культуры? Единственный смыслъ существованія націи — въ ея творчествѣ: въ открытой ею истинѣ, въ созданной красотѣ, въ осуществленной или прозрѣваемой ею правдѣ. Хотя сказано, что суббота для человѣка, но человѣкъ — для Бога. Суббота относится къ цивилизаціи.

Наша радость о Греціи, наша благодарность ей за созданное ею вѣчное достояніе омрачается, правда, мыслью о рабствѣ, объ узости того соціальнаго слоя, который былъ носителемъ ея культуры. Но кому серьезно придетъ въ голову отказаться отъ этого наслѣдія (т. е. въ духовномъ смыслѣ отвергнуть его) лишь потому, что оно пахнетъ рабствомъ? Или отъ великой русской культуры — которая почти вся вскормлена крѣпостнымъ строемъ? Неравенство, въ самыхъ тяжкихъ соціальныхъ формахъ, до нынѣшняго дня было необходимымъ условіемъ высшей культуры: таковъ законъ соціальнаго грѣхопаденія. Лишь наше время — впервые въ исторіи міра, благодаря неслыханному накопленію матеріальныхъ средствъ сдѣлало возможнымъ — покамѣстъ только теоретически — культуру, построенную, если не на равенствѣ, то на общности, на всенародномъ общеніи, на безклассовомъ, въ экономическомъ смыслѣ, обществѣ. Это наше счастье, наша привилегія. Сумѣемъ ли мы воспользоваться ею? Лишь въ томъ случаѣ, если на почвѣ экономическаго почти-равенства сумѣемъ создать культурное неравенство, іерархію духовной элиты. Надо постоянно повторять это, кричать объ этомъ, — въ наши дни, когда не въ одной Россіи, а въ половинѣ Европы торжествующая демагогія хочетъ обезглавить элиту и утопить ее въ красномъ, черномъ, коричневомъ, но по существу всегда сѣромъ національномъ однообразіи.

3.

Созданіе элиты въ Россіи дѣло не столь безнадежное, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Прежде всего, въ какой-

то мѣрѣ, она существуетъ. Въ Россіи работаютъ ученые съ міровымъ именемъ. Время отъ времени выходятъ художественныя изданія, тонкія книги по литературѣ и искусству. Доходятъ изрѣдка письма; свидѣтельствующія о неистребимости старой интеллигенціи. Старый режимъ оставилъ большевикамъ въ наслѣдство не только сотни ученыхъ, но и тысячи «аспирантовъ». Ими и по сію пору питается русская совѣтская наука. Большинство писателей — выходцы изъ иной среды, дѣти новой Россіи и, въ смыслѣ культуры, врядъ ли удовлетворяютъ строгимъ требованіямъ. Но элита, или, вѣрнѣе, ядро ея существуетъ. Она разсѣяна, придавлена, измучена, лишена корпоративнаго сознанія. Но она не только существуетъ, она способна расти. Этотъ приростъ ея, или ея накопленіе можетъ совершаться изъ трехъ источниковъ: изъ подрастающихъ поколѣній старой интеллигенціи, изъ новаго правящаго слоя и изъ народныхъ низовъ.

Мы знаемъ, что многіе изъ представителей интеллигенціи, старѣющей, обезсиленной и уходящей изъ жизни, сумѣли, цѣною героическихъ усилій, дать своимъ дѣтямъ образованіе, соотвѣтствующее требованіямъ старой Россіи. Молодежь духовно далеко ушла отъ отцовъ, большинство прошли черезъ комсомолъ и черезъ увлеченіе сталинскимъ строительствомъ, но культурный отпечатокъ сохранился. Сейчасъ они, конечно, пережили горькое похмелье. Иные сумѣли чудомъ сохраниться и духовно. Эта молодежь и будетъ носительницей культурнаго преемства.

Новый правящій слой, который сформировался въ Россіи и уже рѣзко отталкивается отъ народной массы, связанъ исключительно съ государствомъ и службой. При всемъ стараніи его внѣшне подтянуться и лакироваться, при всѣхъ усиліяхъ его цивилизаціи, внутренне онъ остается совершенно варварскимъ. Сравненіе съ обществомъ директоріи или Наполеоновской Имперіи окажется далеко не въ его пользу. Новые люди подчасъ играютъ въ меценатовъ, ведутъ дружбу съ писателями, подражая Сталину, но, конечно, ни въ какой элитѣ имъ нѣтъ мѣста. Однако, они стараются дать своимъ дѣтямъ лучшее образованіе: приглашаютъ частныхъ учителей, учатъ иностраннымъ языкамъ. Золотая молодежь вступаетъ въ жизнь морально развращенной, падкой на привилегіи, жадной до успѣха. Но по своему уровню она можетъ быть вторымъ источникомъ для питанія элиты. Вліяніе потомковъ старой интеллигенціи, переломъ духовной направленности можетъ спаять ихъ въ одинъ слой.

Наконецъ, выходцы изъ народа. Мы знаемъ, что пора равенства въ Россіи прошла, что массы отброшены назадъ въ

своемъ соціальномъ бытѣ и самосознаніи. Тѣмъ не менѣе порывъ революціи для нихъ не прошелъ безслѣдно. Тяга къ знанію, къ цивилизаціи огромна. Среди пробивающихъ себѣ дорогу посредственностей, сильныхъ только волчьей хваткой или лисьей способностью къ приспособленію, есть и настоящіе таланты. Вспомнимъ хотя бы объ успѣхахъ музыки, о совѣтскихъ пѣвцахъ и піанистахъ. Правда, талантъ одно, а культура другое. Геніальный Шаляпинъ, какъ и очень талантливый Горькій, такъ и не могли до конца слиться съ русскимъ культурнымъ слоемъ. Но при огромномъ матеріалѣ и строгомъ отборѣ даже сейчасъ возможенъ притокъ культурныхъ единицъ изъ низовъ. Нѣсколько сотенъ изъ милліоновъ. Впослѣдствіи пригодная система образованія значительно расширитъ этотъ притокъ.

Какимъ образомъ изъ этихъ матеріаловъ можетъ создаться элита? Въ двухъ словахъ: путемъ отбора и концентраціи. Культурныхъ людей въ Россіи еще немало. Но они разсѣяны, разсыпаны въ ея страшныхъ пространствахъ. Погруженные въ море варварства, они окрашиваются въ его защитный цвѣтъ. Лишенные общенія, они обречены на безплодіе. Соберите ихъ, сдѣлайте ихъ участниками національной бесѣды, и жизнь вспыхнетъ, какъ огонь изъ сухого дерева подъ фокусомъ оптическаго стекла. Этотъ отборъ и концентрація могутъ, и должны, происходить двумя путями: государственнымъ и частнымъ. Не можетъ не быть государственной въ наше время организаціи науки. Въ Россіи, вѣроятно, нѣтъ ни одной подлинной высшей школы. Но есть Академія Наукъ. Она разбухла, наводнена полу-учеными и политическими агитаторами. Нужно начать съ ея чистки. Очищенная, Академія и въ настоящее время будетъ представлять солидное ученое учрежденіе — какого не было у Петра, когда онъ задумывалъ созданіе науки въ Россіи. Академія безъ труда отберетъ изъ 700 высшихъ (!) школъ профессорскіе кадры для одного университета. Другой она можетъ обслуживать сама. Не будемъ бояться, что, оттягивая всѣ лучшія силы въ центръ, мы обездолимъ провинцію. Задача возстановленія центровъ стоитъ на первомъ планѣ и должна проводиться безстрашно. Два университета на Россію, уже сейчасъ, но настоящихъ, — это не слишкомъ смѣлая мечта. Труднѣе найти студентовъ. Но здѣсь отборъ лучшихъ учениковъ производится изъ десятковъ тысячъ школъ. Можно представить себѣ, что такой строгій отборъ дастъ исключительно даровитый составъ молодежи, съ которой можно начинать дѣло. Ея подготовка будетъ все-таки недостаточной. Для будущихъ студентовъ должны быть сразу же открыты двѣ классическихъ шко-

лы, весьма замкнутыя и привилегированныя, какъ и первые университеты. Но привилегіи обезпечиваются исключительно знаніями и способностями. Черезъ 10 лѣтъ историко-филологическіе факультеты, наиболѣе обезкровленные теперь, будутъ пополняться прекраснымъ составомъ слушателей, какихъ не имѣлъ и нашъ старый демократическій университетъ. Главное дѣло университета будетъ состоять не въ чтеніи популярныхъ лекцій, а въ лабораторно-семинарскихъ занятіяхъ для подготовки будущихъ ученыхъ. Неизбѣжно придется посылать молодежь за-границу — на первое время въ широкихъ размѣрахъ — для научнаго усовершенствованія. Слишкомъ долго длилась искусственная изоляція Россіи отъ Европы за десятилѣтія революціи. И прежде всего этотъ путь на Западъ долженъ быть открытъ для сотенъ молодыхъ ученыхъ новой формаціи — даже для тѣхъ, кто занимаетъ въ Россіи командныя мѣста. Большинство изъ нихъ, конечно, претерпятъ deminutio capitis, какъ и вся масса высшихъ школъ превратится въ техническіе и обще-образовательные курсы. Просвѣтительная работа, количественная и экстенсивная — можетъ не прерываться и не сокращаться. Она лишь потеряетъ свои необоснованныя претензіи и титулы.

Таковъ государственный планъ возсозданія научной элиты. Захочетъ ли государство проводить его, мы не знаемъ. Если пореволюціонная власть останется въ рукахъ людей, созданныхъ революціей, то мы не можемъ ожидать отъ нихъ настоящаго пониманія культуры и ея задачъ. Культурной элитѣ придется, можетъ быть, выдержать не легкій бой — за Академію, за университетъ, за классическую школу. Но эта борьба не безнадежна. Проблема качества и проблема кадровъ пробиваютъ уже въ Россіи самые темные мозги.

Во всякомъ случаѣ, передъ остатками и новыми ростками интеллигенціи остается другой путь: путь общественнаго, вольнаго воспитанія элиты и созданія въ Россіи культурнаго воздуха. Когда интеллигенція получитъ возможность дышать и думать вслухъ, она почувствуетъ непреодолимую тягу къ объединенію — въ кружки, въ группы, въ общества. Одна потребность говорить на своемъ языкѣ, съ людьми, понимающими собесѣдника съ полуслова, сдѣлаетъ свое дѣло. Вѣдь до сихъ поръ интеллигенція въ Россіи живетъ, какъ колоніи европейцевъ среди цвѣтныхъ расъ — съ той только разницей, что здѣсь бѣлые находятся въ рабствѣ у цвѣтныхъ. Эта интеллигенція давно отвыкла отъ политики, потеряла всякій вкусъ къ ней. Зато работа культурная приняла для нея характеръ почти религіознаго служенія. Задача возсозданія культуры въ Россіи

можетъ стать дѣломъ жизни и призваніемъ цѣлаго поколѣнія — я хочу сказать, чисто формальная задача культуры — безотносительно къ ея цѣнностному содержанію. Объединенія интеллигенціи могутъ имѣть различныя формы: отъ салоновъ и кружковъ до правильно организованныхъ культурныхъ обществъ. Ихъ цѣли и работа могутъ быть самыми разнообразными: религіозныя, философскія, историческія, литературныя, «общества ревнителей русскаго языка и грамматики», «общества любителей латинскаго и греческаго языка» и т. п. Въ самыхъ глухихъ мѣстахъ невозможна спеціализація: культурные люди просто тянутся другъ къ другу отвести душу за чашкой чая, поговорить о новой или старой книгѣ. Но выше уже необходимо раздѣленіе интересовъ и труда. Нечего бояться пуризма и педантизма. Старый опытъ интеллигентской кружковщины предостерегаетъ скорѣе отъ другой опасности: диллетантскаго всезнайства. Да и самая задача новой элиты иная: не рѣшеніе всѣхъ вѣковѣчныхъ вопросовъ жизни, а культурное воспитаніе для работы, для восхожденія по ступенямъ духовной іерархіи. Когда приходится бороться за русскій языкъ или за культурную грамотность, кружки или салоны должны проявлять такую же строгость, какъ университеты. Доступъ въ нихъ долженъ быть труденъ и ограниченъ. Важно лишь одно: чтобы въ основѣ этой замкнутости не лежало никакихъ старыхъ сословныхъ или политическихъ реминисценцій. Старая интеллигенція должна соединиться съ новой на единственномъ условіи равнаго качества. Новые люди принесутъ съ собой новые взгляды; возникнетъ плодотворная борьба идей, которая помѣшаетъ интеллигентскимъ группамъ выродиться въ безплодныхъ хранителей завѣтовъ, себя пережившихъ и никому не интересныхъ.

Гораздо важнѣе всякой просвѣтительной литературы въ Россіи завтрашняго дня созданіе литературы для избранныхъ, для немногихъ. Книгъ, совершенно свободныхъ отъ заботы — не о читателѣ, конечно, но о грамотности читателя. Вы не понимаете? — значитъ, это не для васъ. Ищите болѣе подходящей литературы, только и всего. Для кого же тогда писать? Опытъ эмигрантской литературы показываетъ, что 300 читателей уже обезпечиваютъ сбытъ книги. Триста читателей изъ необъятной Россіи найдутся на всякую книгу. Печатать мы будемъ, но это потребуетъ отъ всѣхъ насъ жертвъ. Интеллигенціи придется измѣнить свое отношеніе къ книгѣ, какъ къ почти безплатному общественному продукту, за которымъ идутъ въ библіотеку. Нѣкоторыя книги надо будетъ вырѣзать изъ скромнаго бюджета, покупать ихъ цѣною поста.

За всѣми внѣшними формами организаціи элиты и ея работы, стоитъ ея духовная организація. Говорятъ нерѣдко, что старая русская интеллигенція была орденской. Она имѣла не внѣшнюю организацію ордена, но его внутреннее самосознаніе. Была исполнена сознаніемъ своей миссіи и своей выдѣленности изъ толпы. Выдѣленности не для привилегій, а для страданій и борьбы. При всѣхъ измѣнившихся условіяхъ, при иной, противоположной даже направленности, новая элита не менѣе старой нуждается въ орденскомъ самосознаніи. Только ея образцомъ будетъ не столько массонство, сколько средневѣковый клиръ, организовывавшій свою латинскую культуру вокругъ общезначимой и всенародной церкви. Жертвъ и страданій новое подвижничество во имя культуры потребуетъ немало — можетъ быть, не менѣе политическаго подвижничества старой интеллигенціи. Однако новая анти-кенотическая направленность требуетъ и новой этики: этики не столько самоуничиженія, сколько достоинства. Нынѣ поставленная на колѣни передъ властью и народомъ, новая элита, во имя достоинства культуры, должна потребовать и уваженія къ себѣ. Должна научиться бороться за свое собственное достоинство и право, умѣя отличать достоинство отъ интерессвъ и право отъ привилегій. Она должна занять въ обществѣ подобающее ей мѣсто: не привилегированной касты, но всѣми признанной духовной аристократіи. Мѣсто перваго среди равныхъ.

4.

Достоинство интеллигенціи — не въ противопоставленіи ея народу. Перо и кисть не должны противополагаться серпу и молоту. Если будущая Россія, какъ впрочемъ и вся пережившая соціальную революцію Европа, будетъ организована корпоративно или профессіонально, интеллигенція должна занять свое мѣсто среди трудовыхъ корпорацій или союзовъ. Идея труда не противна высокому строю культуры, — болѣе того, она созвучна нашему современному пониманію творчества. Мы всѣ ставимъ ремесло подножіемъ искусству. Современный университетъ въ своей организаціи хранитъ слѣды своего корпоративнаго происхожденія; это послѣдняя изъ сохранившихся средневѣковыхъ гильдій. Художники Ренессанса всѣ сознавали себя людьми ремесла и цеха. Таковы и средневѣковые миннезингеры. Лишь романтизмъ противопоставилъ вдохновеніе труду, и въ этомъ было его трагическое заблужденіе. Мы всѣ — и люди науки и люди искусства — возвращаемся теперь къ древнимъ

и вѣчнымъ основамъ искусства-ремесла — techne, ars — и не гнушаемся высокимъ званіемъ работника. Признаюсь, «работникъ науки» звучитъ для меня честнѣе, чѣмъ «ученый», въ которомъ много самомнѣнія. Кто, по совѣсти, можетъ назвать себя ученымъ? Мы всѣ учимся и учимъ, и въ этомъ видимъ наше право на уваженіе. А творческимъ долженъ быть всякій трудъ, трудъ столяра не менѣе труда живописца.

Поэтому интеллигенція не должна возражать противъ включенія ея въ систему общенаціональныхъ трудовыхъ корпорацій. Но въ то же время она должна бороться за первое мѣсто среди нихъ. Ненормально, чтобы это мѣсто было занято металлистами, какъ въ коммунистической Россіи, или земледѣльцами въ возможной Россіи крестьянской. Первое мѣсто интеллигенціи предполагается іерархіей цѣнностей въ системѣ національнаго производства. Мысль, слово, форма и звукъ важнѣе, выше практическихъ матеріальныхъ вещей, ибо имѣютъ болѣе близкое отношеніе къ цѣли культуры, къ самому смыслу существованія націи. Telos, конечная цѣль, опредѣляетъ мѣсто каждаго звена въ системѣ іерархіи. Мѣсто мыслителя и художника непосредственно вслѣдъ за святымъ и рядомъ со священникомъ въ нормальной іерархіи. Но святость не принадлежитъ къ іерархіи соціальной.

Корпоративная организація интеллигенціи, конечно, не должна означать непремѣнно корпоративной организаціи ея труда и творчества. Трудъ ея можетъ быть или совершенно личнымъ (поэтъ) или корпоративнымъ (академическій ученый) или лично-общественнымъ (музыкантъ), но корпорація сейчасъ болѣе, чѣмъ когда-либо, необходима для защиты соціальнаго достоинства интеллигенціи. Мы сознательно говоримъ о достоинствѣ, а не объ интересѣ, ибо не считаемъ задачей дня борьбу за матеріальные интересы интеллигенціи. Болѣе того, мы боимся, что борьба за матеріальные интересы, за болѣе высокое вознагражденіе можетъ повредить ея достоинству. Внутри каждой профессіи, какъ интеллигентной (!), такъ и механической (!) неизбѣжна далеко расходящаяся скала вознагражденій — отъ ученика до мастера и до мастера единственнаго въ своемъ цехѣ. Но между цехами не должно быть принципіальнаго неравенства. Намъ не слѣдуетъ притязать на уровень жизни высшій уровня рабочей или крестьянской семьи — при условіи, если народное хозяйство дастъ возможность для всѣхъ жить безбѣдно. Болѣе того, намъ духовно легче переносить и бѣдность, ибо нашъ трудъ даетъ высшее удовлетвореніе. Художникъ готовъ голодать ради своего искусства, но ни одинъ ремеслен-

никъ не будетъ голодать ради своего ремесла, ибо онъ не служитъ ремеслу, а живетъ имъ.

Неравенство матеріальное, выростающее на почвѣ культуры, можетъ компрометировать ея достоинство въ глазахъ массъ, какъ богатство Церкви или даже слишкомъ большая ея обезпеченность содѣйствуетъ росту сектъ и анти-церковныхъ движеній. Съ другой стороны, соблазнъ комфортабельной жизни можетъ вызвать приливъ въ ряды интеллигенціи людей, ей чуждыхъ по духу, карьеристовъ, которыхъ и сейчасъ болѣе, чѣмъ достаточно въ ея рядахъ. Ей лучше очиститься отъ лишнихъ элементовъ, облегчиться отъ буржуазнаго наслѣдства, чтобы съ орденской суровостью отдаться своему строгому служенію.

Но, отказываясь отъ лишнихъ рублей, интеллигенція тѣмъ болѣе должна настаивать на уваженіи къ ней — въ странѣ, гдѣ попраніе интеллигенціи такъ долго было возведено въ систему.

Эта защита достоинства прежде всего требуетъ огражденія независимости своего труда отъ всякаго вторженія самоувѣреннаго невѣжества. Мы не можемъ принять никакихъ приказовъ и указаній въ области нашей компетенціи. Нынѣ въ Россіи сапожники (фигуральные) учатъ художниковъ, а вахмистры писателей. Русская интеллигенція глубоко унижена или сама себя унизила. Это ея великій грѣхъ передъ культурой и Россіей. Нелегко ей будетъ изгладить изъ памяти народной эти позорныя страницы вольнаго и невольнаго рабства. Но она должна искупить ихъ. Искупить самоотверженной борьбой за свободу своего святого ремесла.

Въ прошломъ, въ первые годы революціи ея свобода нерѣдко попиралась рабочимъ или человѣкомъ изъ народа, впервые ворвавшимся въ храмъ культуры и учинившимъ въ немъ порядочный погромъ. Въ будущемъ опасность угрожаетъ, кажется, не отъ рабочаго, а отъ солдата. Политически Россію завтрашняго дня, въ ея трудной международной и между-національной обстановкѣ, трудно представить себѣ иначе, чѣмъ въ формѣ военной или полувоенной диктатуры. Опытъ всѣхъ современныхъ диктатуръ показываетъ, какъ трудно дается имъ самоограниченіе. Нашъ вѣкъ соблазняетъ тоталитарностью, и генералъ, привыкшій рѣшать политическіе и соціальные вопросы своего времени, кончаетъ декретами въ области поэзіи и музыки. Такая перспектива обязываетъ быть на стражѣ. Интеллигенція должна оградить свою духовную свободу отъ всѣхъ покушеній, откуда бы они ни исходили, снизу или сверху, отъ рабочаго, крестьянина или солдата, отъ партійнаго, государ-

ственнаго и даже — случай, конечно, для Россіи фантастическій, — клерикальнаго вмѣшательства.

Но это огражденіе достоинства культуры не исчерпывается долгомъ политической независимости. Еще большее значеніе, пожалуй, имѣетъ возстановленіе должныхъ іерархическихъ отношеній между учителемъ, или мастеромъ, и ученикомъ. Эта давно уже разрушенная въ Россіи іерархія требуетъ того, чтобы ученикъ относился съ уваженіемъ къ учителю, который посвящаетъ его въ тайны своего искусства или науки. Учитель не софистъ, торгующій мудростью, а служитель мудрости. Признаніе высшей цѣнности требуетъ уваженія къ тѣмъ, кто стоитъ на высшей ступени посвященія или искусства. Не уважая себя, заискивая передъ народомъ, интеллигенція въ прошломъ пріучила народъ относиться къ ней безъ всякаго уваженія. Революція породила цѣлыя поколѣнія самоувѣренныхъ полузнаекъ, которые снисходятъ до спецовъ, но мстятъ имъ презрѣніемъ за прошлое неравенство. А между тѣмъ безъ искренняго сознанія неравенства нельзя и представить себѣ культурнаго восхожденія. Всякій работникъ культуры, занимающійся не только личнымъ творчествомъ, но и учительствомъ, долженъ начинать съ того, чтобы вызвать въ ученикѣ, безотносительно къ его уровню, сознаніе своего невѣжества. Ученичество начинается со смиренія. За смиреніемъ — трудовая аскеза. Кто не хочетъ итти методомъ Сократа — и сказать отъ всего сердца «я ничего не знаю», не можетъ быть допущенъ въ строющійся храмъ. Здѣсь не должно быть никакой преступной снисходительности. Никто не долженъ читать передъ аудиторіей глумящейся или даже скучающей. Никто не долженъ учить тѣхъ, въ комъ не встрѣчаетъ достаточнаго уваженія. Культура не должна быть недоступной, но не должна быть и общедоступной. Она окружена кольцомъ, если не огня, то трудового искуса, и путь къ ней, особенно къ ея вершинамъ, долженъ рисоваться по образу исканія Грааля.

Конечно, прежде чѣмъ заставить народъ такъ относиться къ своему служенію, интеллигенція должна сама повѣрить въ него. Для этого нуженъ глубокій переворотъ въ самой культурѣ и ея пониманіи. Культура должна быть понята религіозно, или она будетъ растоптана тяжелымъ сапогомъ демагога. На уваженіе не можетъ претендовать ни легко продающаяся, скептическая буржуазная интеллигенція ни раболѣпствующая интеллигенція тоталитарныхъ народовъ. И здѣсь и тамъ культурная элита находится въ процессѣ своего разложенія. Воскрешеніе ея требуетъ прежде всего возсозданія духовной іерархіи

цѣнностей, и потомъ уже соціальнаго воспитанія и организаціи, ей соотвѣтствующихъ. «Ищите прежде всего Царствія Божія»...

5.

Остается послѣднее большое сомнѣніе. Отрекаясь отъ традицій народничества и призывая русскую интеллигенцію на новый, культурно-аристократическій путь, не совершаемъ ли мы духовной измѣны? Измѣны не только нашимъ отцамъ, — тѣмъ, что сами такъ легко отрекались — но и чему-то высшему. За культурно - политическимъ кенозисомъ русской интеллигенціи не скрывается ли болѣе глубокій кенозисъ — религіозный? Да, такъ оно и есть, конечно. Въ отрицаніи государственно-культурнаго идеала Ренессанса (Петра) русское народничество безсознательно выражало отношеніе къ нему русской религіозной души. Кенотично было русское христіанство съ младенческихъ своихъ лѣтъ. Первымъ русскимъ народникомъ можно признать преп. Ѳеодосія Печерскаго. Народъ, возлюбившій во Христѣ превыше всего образъ убогаго смиренія, народъ, хранившій до нашихъ дней — единственный во всемъ христіанскомъ мірѣ — культъ юродивыхъ, имѣетъ, несомнѣнно, свое особое религіозное призваніе. Посягать на него не значитъ ли совершать отступничество отъ того, что является самымъ завѣтнымъ въ душѣ народа?

Борьба съ народничествомъ очень распространена въ наше время. Но часто она ведется съ такимъ паѳосомъ, на такомъ языкѣ, что христіанинъ не можетъ не почувствовать себя уязвленнымъ. Въ борьбѣ противъ народничества, какъ въ борьбѣ противъ Толстого (или въ современной борьбѣ противъ іудаизма) сплошь и рядомъ, сознательно или безсознательно, происходитъ возстаніе противъ Христа.

Кенозисъ есть одна изъ существеннѣйшихъ идей, или, точнѣе, одинъ изъ основныхъ фактовъ христіанства. Можетъ быть, главный — но не единственный. На немъ нельзя строить ни политики ни культуры, — въ этомъ убѣдилъ насъ и горькій опытъ исторіи. Но на немъ можно строить духовную жизнь, и это обязываетъ насъ въ отношеніи къ нему къ крайней осторожности.

Культура, какъ и политика, не принадлежитъ къ самому глубокому и высшему плану бытія. Но бытіе многопланно, и христіанство сложно. Его истина, объемлющая всѣ истины, есть совпаденіе противоположностей, coincidentia oppositorum; то, что отрицается въ одномъ изъ низшихъ плановъ, утверждается въ высшемъ. Въ вѣрѣ, въ личной религіозной жизни для тѣхъ,

кто воспитанъ въ русской православной традиціи, нѣтъ ничего выше кенотическаго опустошенія. Но даже и здѣсь, въ отрывѣ отъ другихъ данныхъ христіанскаго опыта, кенозисъ можетъ быть соблазномъ.

Христіанская любовь двухстороння: она намъ открылась одновременно и какъ Эросъ, любовь восходящая, творческая. радостная, и какъ Агапе — нисходящая, сострадательная, жертвенная любовь. Сейчасъ много спорятъ о томъ, какая любовь является по преимуществу христіанской. Безполезный споръ: онѣ не могутъ существовать одна безъ другой. Чистый Эросъ приводитъ къ язычеству, чистая, кенотическая Агапе — къ моральному атеизму. Конечно, культура выростаетъ изъ Эроса — изъ творческой радости объ истинѣ, о красотѣ. Но въ этической сферѣ Эросъ измѣняетъ намъ и нуждается въ кенотическомъ восполненіи. Впрочемъ, можетъ быть, не только въ восполненіи. Эросъ, самъ себя опустошающій въ жертвенномъ снисхожденіи — къ міру и человѣку — есть все же высшій образъ любви. По крайней мѣрѣ, таковъ завѣтъ русскаго христіанства.

Вотъ почему, возстанавливая іерархическій строй культуры, не будемъ думать, что этотъ строй есть уже строй Царствія Божія. Послѣднее слово мудрости — о собственномъ невѣжествѣ. Послѣднее слово земной красоты — въ обезображенномъ крестной мукой Лицѣ.

Было бы глубоко печально — хотя исторически и діалектически естественно — если бы будущая русская интеллигенція замкнулась въ гордомъ самодовлѣніи. Ея борьба за достоинство своего служенія не должна закрывать отъ нея послѣдней правды о своей человѣческой нищетѣ. Отстаивая себя передъ господствующимъ уже народомъ и его вождями, она должна попрежнему склоняться передъ нищимъ и страдальцемъ. Нищета и страданіе — мета-соціальны. Это духовныя категоріи падшаго міра. Склоняясь передъ ними, мы склоняемся передъ Тѣмъ, Кто одинъ можетъ искупить всѣ страданія міра и превратить въ чудесныя сокровища его нищету.

ЗАГАДКИ РОССИИ

Россія всегда была загадочной страной — и для европейцев и для своих собственных сынов. Иностранцы останавливались в недоумѣніи перед ея противорѣчіями: варварство и утонченная культура, святость и буйный разгул, кротость и жестокость — все уживалось в этом скифском сфинксѣ. Русскіе не удивлялись этим противорѣчіям, они скорѣе гордились ими, но так же мало подчас понимали их происхожденіе. Основным их источником, хотя и не единственным, был культурный дуализм, в котором жила Россія с Петра: одновременно и западной культурой в своих общественных верхах и старой, Московской, в средних и низших слоях народа. Московское и европейское начала и боролись друг с другом и вступали в сложнѣйшія сочетанія. Кто, на первый взгляд, угадал бы в православіи Достоевскаго вліянія католическаго гуманизма Франціи 40-х годов?

Со времени революціи загадочность Россіи еще усилилась. Хотя революція объявила войну и Московской Руси и западнической «буржуазной» Россіи, тѣм не менѣе онѣ еще существуют. Рядом с ними, или, вѣрнѣе, на их тѣлѣ выросла новая «совѣтская» культура, рожденная в духѣ ленинскаго большевизма и современной индустріальной техники. Но и она прорѣзывается густыми прослойками пестрых культур пробужденнаго — в СССР и за его границами — Востока. Россія — кипящій котел противорѣчій. Родится ли в них новая цѣльность или они взорвут его еще крѣпкія стѣнки — кто может сказать? И что можно сказать, что можно увидѣть отсюда, через десять тысяч раздѣляющих верст?

Газеты, журналы, книги доносят нам отрывочныя вѣсти из Россіи. Но как трудно вышелушить зерно истины из-под массивной, все покрывающей лжи. Никогда еще ложь не изготовлялось и не лилась в мір в таких пантагрюэлических количествах, как в современных тоталитарных странах. Ложь стала воздухом, которым там дышат, самой тканью культуры, производимой государством. Может-быть, там, в зонѣ угле-

---

Впервые опубликовано в "Новом журнале", № 5, New York.

кислоты, вырабатываются дыхательныя приспособленія организма, вродѣ способности видѣть в темнотѣ, — да и то, вѣроятно, у немногих. Большинство слѣпнет. А здѣсь расшифровка тоталитарных документов требует изощренной научной критики. И всякая эмоціональность, — а она неизбѣжна, — всякій энтузіазм — а сегодня он так естествен, — даже просто привычка, инерція пассивнаго чтенія дѣлают пониманіе невозможным.

Кажется, что для оцѣнки Россіи нѣт хуже положенія, чѣм эмиграція. Но это невѣрно. Положеніе иностранца гораздо хуже. Его безпомощность, его беззащитность перед культурой лжи вызывает жалость. Но многим ли лучше положеніе русских людей в самой Россіи? Там, гдѣ нѣт ни свободнаго слова, ни свободнаго общенія, люди живут кучками, каждый видит лишь то, что происходит в его углу. Заговорите с пріѣзжим из Россіи — нѣсколько лѣт тому назад такіе разговоры были еще возможны — о религіи, например. Если он вѣрующій, он разскажет вам о необычайном под'емѣ религіознаго чувства. Он жил почти исключительно среди своих единовѣрцев, особенно если прошел сквозь тюрьмы и лагери. Но спросите средняго совѣтскаго юношу — из вузовцев, — и он скажет вам, что никогда не встрѣчал вѣрующих в своей средѣ и не слыхал о существованіи религіозных кружков.

Сейчас нас прежде всего интересует международно-политическая загадка Россіи. Чего хочет она, помимо обороны своей земли от нѣмецких завоевателей? С чѣм придет в послѣвоенную Европу, когда будут устанавливаться основы будущаго мира? Эти вопросы, волнующіе сейчас весь свѣт, обращены лишь отчасти к настоящему — к мыслям, мечтам и волѣ Россіи. Главным же образом они относятся к будущему, и здѣсь почва под ногами становится совсѣм зыбкой. Знает ли кто-нибудь в самой Россіи, чего она хочет от Европы, с какой программой перейдет, — если вообще перейдет — свои рубежи? Может быть, один человѣк в Россіи знает об этом, т. е. имѣет планы на будущее, но весьма вѣроятно, что он никого не посвящает в свои планы.

Всѣ мы — без различія взглядов и степени освѣдомленности — недавно совершили огромную ошибку. Никто не предполагал той изумившей мір способности к сопротивленію, которую обнаружила Россія. Говорили — даже ея друзья — что она будет разбита через три мѣсяца, если ей не придут на помощь. Оказалось, что она, если не сильнѣе Германіи,

то равный, или почти равный ей противник. До сих пор она одна почти выносит на себѣ весь натиск врага. Тѣ дивизіи, которыя Германія держит на Западѣ и на африканском фронтах, замѣщены на русском, хотя и слабѣйшими дивизіями нѣмецких союзников. Русскій солдат не уступает по своей доблести германскому и японскому; и даже военная промышленность Россіи, несомнѣнно, менѣе развитая, чѣм в Германіи, не поражает опасным несоотвѣтствіем. Вѣдь, и техническая помощь Англіи и Америки до сих пор покрывала лишь малую часть русскаго военнаго потребленія.

Да, скажем откровенно: этого мы не ожидали... Ошибившись в этой, самой элементарной, оцѣнкѣ сил и возможностей Россіи, как рѣшиться на другую, гораздо болѣе сложную и трудную, оцѣнку — ея политической воли?

Кажется, единственный открытый сейчас путь — это анализ возможностей. Там, гдѣ матеріал наблюденій скуден или обманчив, дедукція получает право на существованіе. Конечно, при условіи скромности. Анализ шансов не дает возможности предвидѣть, какіе из них осуществятся. Но он может подготовить наблюдателя к болѣе вдумчивому воспріятію грядущих событій.

Тѣ политическія категоріи, в которых опредѣляется наше отношеніе к Россіи, отличаются упрощенностью. Мы загипнотизированы одним образом, и не хотим видѣть ничего, что нарушает четкость его линій. Если нижеслѣдующія строки покажут всю сложность русской проблемы, не принеся никаких ея рѣшеній, онѣ не будут совершенно безполезны.

***

Первая русская проблема, перед которой стоит сейчас мір, не задержит нас, несмотря на очевидную ея важность. Слишком мало элементов для ея рѣшенія в наших руках. Это проблема военная. Предоставим ея изслѣдованіе специалистам, хотя, по существу, не спеціалистам ее рѣшить. Чтобы рѣшить ее, нужно располагать таким исчерпывающим знаніем всѣх сил и возможностей обоих противников — Россіи и Германіи — каким никто не обладает. Вопрос может быть поставлен так: в каком положеніи будет русскій фронт к тому моменту, когда произойдет, наконец, вторженіе союзников в Европу — в условіях, означающих разгром Германіи?

Ограниченность нашего знанія обязывает серьезно считаться со всѣми возможностями, даже допуская не одинаковую их вѣроятность. Эти три возможности суть: пораженіе

Россіи Германіей, пораженіе Германіи Россіей и равновѣсіе сил, означающее стабилизацію фронта, или медленное его передвиженіе в ту или другую сторону. Сейчас, когда мы наблюдаем именно эту третью ситуацію, она нам кажется наиболѣе вѣроятной и длительной. Это не помѣшает ей круто измѣниться в один прекрасный день.

Важно помнить, что стабилизація на русском фронтѣ, даже маловѣроятное пораженіе Россіи не означают проигрыша войны. Они, несомнѣнно, затянули бы ее, отягчили бы и без того не легкое положеніе западных демократій, но едва ли отвратили бы пораженіе Германіи. Возстановленіе Россіи было бы одним из первых результатов этого пораженія. Даже сепаратный мір, который вынуждена была бы подписать Россія, не помѣшал бы ей воспользоваться, хотя и в болѣе ограниченной мѣрѣ, плодами демократической побѣды. Одно время, слѣдя за русскими успѣхами, западная печать спрашивала себя: остановится ли русская армія, гнавшая нѣмцев, на границах Россіи или будет продолжать войну на германской территоріи? Указывали на то, что в рѣчах Сталина постоянно звучит мотив отечественной войны: изгнаніе врага за предѣлы родины, и ни словом не упоминалось об общем заданіи — освобожденіи и организаціи Европы. И в этой возможности, которая кое-кого пугала, нѣт ничего страшнаго. Германія, разбитая до отхода за свои рубежи, не сможет долго сопротивляться ударам с Запада. Быть может, такой исход был бы лучшим и для Европы и для Россіи.

Всѣ эти военныя возможности не ставят перед нами особо трудных политических проблем. Политическія проблемы связаны с послѣдней возможностью: русской побѣды. Недаром, один намек на нее, счастливая зимняя кампанія в Россіи высыпала, как из рога изобилія, ряд чрезвычайно щекотливых вопросов, связанных с будущим восточной Европы. И, что всего важнѣе, всѣ эти вопросы поставлены самой Россіей, а не ея подозрительными критиками. Окрыленный успѣхом — или опьяненный им — Сталин измѣняет своей обычной сдержанности, и дѣлает ряд шагов и заявленій, которыя торопятся предрѣшить ряд восточно-европейских проблем. В свѣтѣ этих актов, заявленій — и воздержаній — Сталина ставится теперь мучительный вопрос: что несет Россія освобожденной Европѣ? В данной исторической ситуаціи этот вопрос равносилен другому: чего хочет в Европѣ Сталин?

Пробѣгая послѣдніе акты и волеизъявленія Москвы —

русскаго правительства и русской печати, — трудно найти в них единую политическую мысль. Москва требует от Польши бѣлорусских и украинских земель, из которых первыя вошли в ея состав по Рижскому миру 1921 года, а послѣднія отчасти в 14-м столѣтіи. Москва считает окончательной аннексію трех лимитрофных республик: Эстоніи, Латвіи и Литвы. Москва протестует против образованія польско-чешской федераціи, и по слухам добилась от Бенеша отказа от нея. Москва отклоняет возможность мирных переговоров с Финляндіей, заявляя о том, что она считает финское правительство не правомочным говорить от имени своего народа. Такіе же намеки дѣлаются и относительно польскаго правительства в Лондонѣ. Всѣм памятно «кукольное» правительство Куусинена, выдвинутое в послѣдней финляндской войнѣ. Организація польской коммунистической группы в Москвѣ, издающей газету "Volna Polska", указывает на угрозы в том же направленіи. В Москвѣ дѣйствует и новое, преимущественно коммунистическое, об'единеніе славянских народов, с их органом «Славяне». И, наконец, в Югославіи уже с лѣта прошлаго года организовались коммунистическіе «партизаны» в противовѣс «буржуазному» и англофильскому четническому движенію Дражи Михайловича, с которым они уже ведут братоубійственную гражданскую войну. В Польшѣ тоже дѣйствуют русскіе партизанскіе отряды, образованные против желанія польскаго правительства, но эти, по счастью, дерутся пока против нѣмцев. Как распутать весь этот клубок противорѣчій? Одни из требованій Москвы мотивируются интересами русскаго или украинскаго націонализма; другія — стратегическими соображеніями. В пред'явленіи «національных» требованій останавливает их поспѣшность и односторонность: Москва не хочет дѣлать их предметом мирных переговоров. Тѣм самым она выражает недовѣріе к будущим строителям Европы и хочет защищать сама свои интересы. Стратегическая защита ея границ на Балтійском морѣ неизвѣстно против кого направлена. Если Германія исчезнет послѣ войны как великая держава, то обороняться Москва думает, вѣроятно, не от нея, а от новых хозяев Европы. Запрет федерацій в Восточной Европѣ явно стремится к раз'единенію и ослабленію сосѣдей, из которых каждый порознь легко может стать в политическую зависимость от Москвы. Наконец, гражданская война в Югославіи может имѣть только одну цѣль: установленіе в странѣ коммунистическаго правительства послѣ побѣды. Может быть,

эта цѣль имѣется и в отношеніи Финляндіи и Польши, хотя там слова и даже акты могут имѣть значеніе простой угрозы.

Во всяком случаѣ, мы видим огромную политическую активность, простирающуюся на всю территорію Восточной Европы — особенно на славянскія земли. Если цѣли русской отечественной войны, в самом дѣлѣ, являются только оборонительными, то эта оборона явно требует политическаго закрѣпленія в формѣ господства на всей территоріи В. Европы.

Вся эта активность не случайно совпала с періодом успѣхов Красной Арміи. Вѣроятно, в Москвѣ царило настроеніе, которое можно было бы охарактеризовать, выражаясь посталински, как «головокруженіе от успѣхов». Переоцѣнка собственных сил связана с недооцѣнкой военных сил или политической серьезности союзников. Только этим можно об'яснить неожиданную дипломатическую откровенность Москвы. Она принадлежит к той же категоріи политических ошибок, как и убійство Эрлиха и Альтера: "hybris" говорили древніе греки; «головокруженіе» говорит Сталин.

На фонѣ этой экспансивности особенно выразительным является воздержаніе, молчаніе, уклоненіе во всем, что касается общей с союзниками политики войны и мира. Москва так и не послала своих представителей в Казабланку. Она не хочет себя связывать общими рѣшеніями. Она ведет свою собственную политику, свою собственную войну. Мы не сомнѣваемся, что эта политика есть то, что называется по-англійски power policy, чисто «реалистическая» политика силы, которая может использовать любыя средства, любые мотивы и фикціи мотивов для достиженія своих цѣлей. Но здѣсь и встает главный вопрос, рѣшеніе котораго не дается изученіем текущих политических событій: каковы послѣднія цѣли московской политики? гдѣ подлинная цѣль, гдѣ средства к ней, и гдѣ защитная дымовая завѣса? В поисках этой подлинной цѣли приходится исходить от старой дилеммы: интернаціональный коммунизм или національная государственность? Спѣшу заранѣе оговориться, что я считаю эту дилемму грубой, неточной, для Россіи 1943 г. устарѣлой. Но логически от нея неизбѣжно отправляться. Она все еще опредѣляет мысль большинства людей — русских и иностранцев — которые пишут и говорят о Россіи. Итак: интернаціонализм или національзм?

В пользу интернаціональнаго коммунизма говорит старая революціонная традиція большевизма, существованіе во всѣх странах коммунистических партій, поддерживаемых Москвой,

— наконец, марксизм как офиціальная догма, все еще царящая в Россіи. Сотни милліонов — вѣроятно, большинство человѣчества, видят в Москвѣ символ соціальной революціи, милліоны работают активно для этой революціи, получая из Москвы деньги, литературу и политическія директивы. До самаго прихода Гитлера к власти Сталин поднимал нѣмецкій пролетаріат к возстаніц против Веймарской республики. Третій Интернаціонал не распущен. Его резиденція в Москвѣ, его цѣли не подвергались пересмотру, при всей измѣнчивости его тактики. Русская интеллигенція по-прежнему обязана клясться Марксом, каким бы дѣлом она ни занималась. Книги, изданныя в началѣ 40-х годов по исторіи и литературѣ, даже авторами, не имѣющими ничего общаго с марксизмом, носят на себѣ марксистское клеймо. Старый русскій профессор, защищая свои взгляды на характер соціальнаго строя древней Руси, должен ссылаться на какія-то замѣтки Маркса по русской исторіи, найденныя в его черновиках.

Есть много серьезных и освѣдомленных людей, не ослѣпленных политическими страстями, которые раздѣляют этот взгляд. Для них Сталин все еще ученик Ленина, хотя и потерявшій окончательно вѣру в революціонную самодѣятельность масс. Война для него есть лучшій метод революціи — не в ленинском только смыслѣ дезорганизаціи стараго міра, но и в прямом смыслѣ завоеванія ради организаціи коммунизма побѣдоносным СССР.

Сторонники національной гипотезы видят в Сталинѣ прежде всего самодержавнаго хозяина Россіи. Національзація русской революціи началась еще в ленинскую эпоху. Долгое время ея основой была крестьянская и бунтарская стихія, сильно проступившія в гражданской войнѣ. С крестьянством и его русским духом покончила первая пятилѣтка. Но она же вызвала к жизни новый правящій класс, не столько партійный, сколько хозяйственно-организаторскій. Сталин стал во главѣ новой индустріальной революціи, которая должна была укрѣпить «соціализм в одной странѣ». Для этой новой конструктивной революціи понадобились другіе учителя, чѣм Маркс и Энгельс. Алексѣй Толстой в «Петрѣ I» рисовал портрет Сталина, каким тот хотѣл бы войти в исторію. С пришествіем Гитлера к власти умирают надежды на революціонное движеніе в Европѣ. Растущая опасность со стороны Германіи заставляет сосредоточить всѣ силы на оборонѣ страны. Начинается реабилитація русскаго патріотизма, русской исторіи. Один за

другим князья, цари, полководцы, — строители государства Россійскаго — поднимаются из мусорной кучи, в которую их сбросила революція, и возводятся на старый карамзинскій пьедестал. Трактовка русской исторіи в учебниках порывает с либеральной традиціей 19 и 20 вѣков. Экспансія государства и строительство самодержавія становятся в центрѣ изученія как факты положительные. Наряду с этим сохраняется еще культ народных бунтов и их вождей. На скрещеніи этих линій стоит образ царя Пугачева, который, очевидно, и призван завершить историческое развитіе Россіи. Коммунизм остается как высшее достиженіе русской исторіи — конечно, в новом, сталинском его пониманіи. В Россіи под коммунизмом понимают національзацію всей хозяйственной жизни в рамках тоталитарнаго государства. Если Ленин говорил полу-шутя: «соціализм есть совѣтская (= партійная) власть + электрофикація», то Сталин мог бы сказать: коммунизм есть самодержавіе с полным уничтоженіем личной собственности.

Всякая великая революція, в каких бы универсальных идеях она ни родилась, завершается національзмом. Люди, отбившіе родину от классовых врагов, начинают по-настоящему чувствовать ее своей. Нельзя — даже чужестранцу — безнаказанно управлять двадцать лѣт страной, не срастаясь с ней — по крайней мѣрѣ, чувствами хозяина, собственника. В 18 вѣкѣ даже нѣмка на русском престолѣ вела русскую политику. И корсиканец, возглавившій французскую революцію, при всѣх своих универсальных планах, был прежде всего императором французов. Сталин из всѣх учеников Ленина больше всего годился для національзаціи русской революціи. Он никогда не принимал участія в международном соціалистическом движеніи, никогда не интересовался и теоретическими проблемами марксизма. Практик и организатор, он цѣликом вложился в дѣло русской революціи, предоставив своим болѣе культурным и ненавистным ему товарищам работу в Интернаціоналѣ. Нынѣ он ликвидировал почти всѣх сподвижников Ленина. Вмѣстѣ с ними разстрѣляны или удалены из партіи тысячи настоящих ленинистов, мѣста которых заняты новыми людьми, ничѣм не связанными с интернаціональным движеніем. Случайны ли всѣ эти чистки, московскіе процессы, смѣна почти всѣх дипломатов — в концѣ 30-х годов? Вряд ли они об'ясняются только личными столкновеніями между Сталиным и Ленинской гвардіей. Если же за ними

стоят идеологическія разногласія, то всего естественнѣе искать их в смѣнѣ вѣх: в торжествѣ новаго націонализма.

В этой смѣнѣ, происходящей по указкѣ сверху, проводимой невѣжественными людьми, много безвкусія; господствует полное смѣшеніе стилей. Отрывки из Коммунистическаго Манифеста подаются в одной окрошкѣ со славянофильством черносотенной окраски. Маркс и Александр Невскій в одной галлереѣ предков? Общее между ними пока найдено только в том, что Маркс назвал гдѣ-то собаками нѣмецких рыцарей, противников Александра.

В этом синкретизмѣ Марксу явно отведено почетное, но безвластное мѣсто учителя науки. Учителем жизни ставится Александр или его московскіе потомки. Сталин, вѣроятно, марксист в его собственном сознаніи. Это значит, у него не было ни времени ни сил производить теоретическую ревизію Маркса. Маркс, рядом с Дарвином, остается висѣть, как икона, в красном углу.

Коммунистическія партіи Запада? Онѣ поставлены на службу государственных интересов СССР. В зависимости от измѣнчивой конъюнктуры московской международной политики, онѣ мѣняют фронт с поразительной легкостью: сегодня онѣ революціонны, завтра поддерживают національныя правительства, сегодня борются против войны, завтра — первые среди оборонцев. Онѣ покорно подчиняются противорѣчивым директивам Москвы, потому что за смѣной тактики вѣрят в постоянство цѣли: міровой революціи. С их точки зрѣнія, русская государственность — вещь очень цѣнная, но служебная. Русская армія выполнит свое назначеніе, когда принесет міру коммунизм на своих штыках.

Кто-нибудь здѣсь обманут: иностранные коммунисты или русскій народ. Чьи-то интересы приносятся в жертву.

На наших глазах Сталин разыграл и предал революціонную Испанію, когда поддержка ея стала грозить военной опасностью Россіи. Как будто обмануть Россію труднѣе, чѣм далеких и наивных товарищей. Партія в Россіи давно уже срослась с населеніем. Обманывать пришлось бы не одних подвластных, но и правителей. Новый націонализм, вливаемый в массы лошадиными порціями, воспитывающій цѣлое поколѣніе, может ли быть убран в один прекрасный день по манію Сталинской руки? Марксистов, воспитанных Лениным, пришлось перестрѣлять, — но их были тысячи. Как перестрѣлять милліоны новых сталинцев, молодых, крѣпким, увѣренных в

себѣ, строющих с такой жестокостью новую жизнь и с таким героизмом защищающих теперь свою Россію?

Признаемся, нам труднѣе осмыслить интернаціоналистическую концепцію сталинизма, чѣм націоналистическую. Но как, в дѣйствительности, велико расхожденіе между ними? Находятся ли онѣ в настоящем противорѣчіи?

Почти всякій національный режим живет запасом сверхнаціональных идей и принципов. Во всяком случаѣ, это вѣрно в отношеніи народов христіанской культуры. Голый національный интерес чрезвычайно рѣдко осмѣливается утверждать свое единовластіе. Он любит облекаться в идеальныя одежды: то это защита церкви, католичества, православія, протестантизма; то защита свободы, демократіи или, наоборот, монархіи, тронов и алтарей, порядка и собственности, наконец, цивилизаціи как таковой. Все это, конечно, не простой обман или самообман. Иногда идеалистическіе мотивы в политикѣ на краткій срок — получают даже преобладаніе. Говоря вообще, они становятся мощными, когда получают подкрѣпленіе со стороны національных интересов. В наши дни Англія и Америка сражаются не только за свое существованіе (которому пока еще не угрожает непосредственная опасность), но в самом дѣлѣ — как это ни удивительно для циников — за торжество свободы. Англія серьезно увлекалась освобожденіем угнетенных народов в Европѣ 19 столѣтія, а императорская Россія дѣйствительно принимала к сердцу судьбу турецких христіан, а не один свои военные и экономическіе интересы на Черном морѣ. Солдаты Наполеона, даже порабощая народы, были увѣрены, что несут им освобожденіе, в чем, со своей стороны, был увѣрен и Александр I, добивая Наполеона за рубежами Россіи. С точки зрѣнія русских національных интересов кампанія 1813-1814 годов была безцѣльной — мнѣніе, кажется, раздѣляемое Тарле в наши дни. Но Александр освобождал Францію и возстановлял старый порядок в Европѣ не потому, что он был русским императором, а потому, что был добрым европейцем.

Почему же с революціонной Россіей это должно быть иначе? Она создала для себя строй, который она, или ея правящій слой, считает идеальным. Осуществленный — или осуществляемый — коммунизм наполняет ее чувством національной гордости, заставляет смотрѣть свысока на весь мір. Но она готова предложить всему міру свои «достиженія». Коммунизм — продукт русскаго историческаго процесса, но

он сверхнаціонален по своей формѣ. Совѣтскій человѣк хотѣл бы видѣть его повсюду в мірѣ, как англо-сакс — начала личной свободы и демократіи. Он, вѣроятно, готов принести для торжества коммунизма в мірѣ извѣстныя жертвы своей — и чужой — кровью. Но жертвовать для него своей родиной, только что открытой и любимой страстно и ревниво, — этого от него трудно ждать.

Таково как будто намѣчающееся рѣшеніе первой русской загадки: Россія готова нести міру коммунизм — добровольно или насильственно — но лишь постольку, поскольку это допускается ея національными интересами. Здѣсь, как и выше, мы употребляем слово «національный» в смыслѣ государственном. Совпадает ли «національное» для СССР с «русским», это вопрос дальнѣйшаго разсмотрѣнія.

Но первая проблема — коммунизма, который несет Россія — при національном ея рѣшеніи, принимает новую форму: является ли внѣшняя политика Совѣтской Россіи агрессивной или оборонительной? Конечно, оборонительный характер политики отнюдь не вытекает из національзма. Германія, Японія, Италія тому свидѣтели. Но о міровой опасности коммунизма можно говорить только при агрессивности Россіи. Вопрос о мѣрѣ этой агрессивности для Европы сейчас важнѣе вопроса о том, насколько серьезно Россія принимает к сердцу дѣло коммунистической революціи.

По вопросу об агрессивности или миролюбіи Россіи не мѣшает заглянуть в ея прошлое. Так как СССР географически совпадает с императорской Россіей (за вычетом западной полосы), то в своей внѣшней политикѣ Союз является ея преемником. Один факт поражает нас на протяженіи всей русской исторіи: это отсутствіе у Россіи четких границ. Она не имѣет ни опредѣленных географических рубежей (рѣк, гор), ни рубежей этнографических. В этом отношеніи она совершенно не похожа на національныя государства Запада — Францію, Германію, Италію, гдѣ границы государства приблизительно совпадают с предѣлом этнографических національностей. Россія с 15 вѣка перестала быть чисто національным государством. Прежде, чѣм соединиться со своими южными и западными братьями, она перелилась через границу русской народности и потекла по необозримым равнинам Востока. Экспансія Россійской Имперіи продожалась непрерывно до послѣдних ея дней, несмотря на тяжкій удар, нанесенный ей Японіей.

Но до столкновенія с Японіей Россія не встрѣчала на Востокѣ почти никакого отпора. Ея завоеванія носили поэтому характер колонизаціи. На Западѣ Пруссія и Австрія стояли крѣпкой стѣной, и здѣсь, со времени раздѣлов Польши, русская граница была болѣе или менѣе неподвижной. Единственный пролом в этой стѣнѣ находился на югѣ, гдѣ слабость Турціи открывала сравнительно легкую дорогу на Балканы. Таким образом русская экспансія шла по линіи наименьшаго сопротивленія (за исключеніем героических завоеваній Петра). Войны Россіи не требовали поэтому (кромѣ Отечественной) напряженія всѣх ея сил — а главное, всего политическаго вниманія. Народ не должен был вкладывать в них своей души, и оставался одним из самых миролюбивых народов Европы. В этом заключался главный парадокс русской имперіи. Она была агрессивной, не будучи воинственной, не бряцая оружіем и не имѣя большого вкуса к военному дѣлу. Образ Россіи для внѣшняго міра и ея же образ для русскаго общества были совершенно различны. Общество почти не замѣчало военнаго характера государства. Этот парадокс может быть сопоставлен только с экспансіей Британской Имперіи, не нарушавшей глубоко цивильнаго характера націи.

Русская революція не могла не усилить имперіалистических тенденцій государства. Мы говорили выше о націоналистическом исходѣ всякой «великой» революціи. Но революціонный націонализм неизбѣжно принимает характер имперіализма. Взрыв насильственных чувств, направленных против внутренних врагов, не расходится безслѣдно послѣ побѣды. Он перерождается, обращаясь на врагов внѣшних. Ненависть к русским помѣщикам и буржуям переходит в ненависть к панам и лордам, к буржуям вообще. Любовь к революціонным символам, к демонстраціям, к жестам находит свое выраженіе в культѣ Красной Арміи, ея парадах, ея марсовых играх. Через сто лѣт послѣ Пушкина Россія снова пріучилась бряцать оружіем и грозить всему «капиталистическому», т. е. западному міру.

Вмѣстѣ с тѣм новая государственная форма Россіи, т. е. псевдо-федеративный СССР, оказывается чрезвычайно удобной для внѣшней экспансіи. СССР в принципѣ не имѣет никаких національных границ. Любой народ, любое государство, совершив соціальную революцію русскаго типа, может войти в состав этой «федераціи». Больше того, экспансія, при этих условіях, перестает быть имперіалистическим грѣхом, а ста-

новится революціонной добродѣтелью. Завоеваніе считается освобожденіем. Как это происходит на практикѣ, мы видѣли на примѣрѣ трех балтійских республик.

В том же направленіи вліяет и принципіальный аморализм, положенный Лениным в основу коммунистической политики. Нравственные и правовые моменты всегда были слабой сдержкой для насилія в международных отношеніях. Но все-таки они существовали. Международное право развивалось, под его покровительством находилось мѣсто в Европѣ не одним великим державам, но и малым независимым народам. Макіавеллизм не означает непремѣнно политики агрессіи, но он развязывает ее, когда она диктуется имперіалистическими интересами. «Война дворцам, мир хижинам», провозглашали идеалисты Французской революціи. «Мир сильным, война слабым» — таковы не лозунги, но принципы современнаго революціоннаго макіавеллизма.

И тѣм не менѣе, несмотря на всѣ благопріятныя условія для имперіалистической агрессіи, Совѣтская Россія, с 1920 по 1939 год, отличалась безспорным миролюбіем. Россія непрестанно ковала оружіе, она подчинила военным задачам всю свою хозяйственную жизнь, истребила в голодовках милліоны своего населенія, но оружія не обнажала. 1920 год, показавшій военную слабость Красной Арміи, тогда еще слишком юной, не был забыт. Несмотря на обиды, нанесенныя Россіи Польшей, Румыніей — сравнительно слабыми ея сосѣдями, она не рѣшалась на реванш. Конечно, она выжидала новой міровой войны, когда возможно будет свести всѣ счеты со старым міром. Москва страстно ждала этой войны, в то же время боялась, чтобы первый удар с Запада не поразил ея. Отсюда всѣ ея усилія остаться в сторонѣ от конфликта. Сначала отсрочить его (женевскій — Литвиновскій період), потом выйти сухой из воды, хотя бы в качествѣ союзника Гитлера. Это говорит о чрезвычайной осторожности кремлевских вождей. Они легко играют с оружіем, любят грозить, но не любят риска. Они хотят играть навѣрняка (в 1939-40 годах им показалось, что время безпроигрышной игры наступило; в этом, правда, они жестоко ошиблись).

В осторожности и медлительности Москвы есть много общаго с политикой Петербурга («сѣверный медвѣдь»). Агрессивный или оборонительный характер ея зависит всецѣло от силы или слабости сопротивленія. Пока мощная Германія и Японія стерегли совѣтскіе рубежи, СССР не рѣшался

на войну по своему почину. Пораженіе Германіи и Японіи неизбѣжно открывает двери русской экспансіи. Никакія естественныя или національныя границы не остановят этой экспансіи, пока она не встрѣтит новой силы, замѣняющей давленіе старых имперій. Но, встрѣтив эту силу, она, возможно, с большой легкостью войдет в свои берега. В противоположность Германіи, ея экспансія не слишком дерзка и не знает жестов отчаянія. Героическая оборона Сталинграда и Ленинскій Брест-Литовск — оба вмѣщаются в линію одной и той же большевистской игры: всегда трезвой и чуждой самоубійственнаго мистицизма германских нибелунгов.

Встрѣтив устойчивыя границы и военную силу, стоящую на стражѣ их, Россія, по всей вѣроятности, вернется к задачам внутренняго строительства, среди которых организація арміи и вооруженіе ея будет занимать по-прежнему первое мѣсто.

Если же этого не произойдет, если крушеніе Германіи и Японіи оставит послѣ себя хаос и безвластіе на обѣих окраинах Россіи, то для ея экспансіи открываются широкія перспективы. Слѣдующій вопрос, встающій перед нами, это именно вопрос о возможных направленіях этой экспансіи: на Запад или на Восток?

Почему вопрос ставится в формѣ дилеммы, это тоже вытекает из всей русской исторіи. При чудовищности разстоянія между германским и китайским рубежами Россія не может вести одновременно войны на западѣ и на востокѣ и, слѣдовательно, не может вести одинаково активной политики в Европѣ и в Азіи. Она должна выбирать.

Представим себѣ, что она выбирает Запад, на что как будто указывают уже аннексіи 1939-40 годов. При идеократическом строе СССР всякія аннексіи возможны только в видѣ полной совѣтизаціи по русскому образцу. Оставляя в неприкосновенности язык и національную внѣшность культуры, Москва добивается полной унификаціи своих провинцій — республик. Никакая финляндская конституція не мыслима в новом совѣтском самодержавіи. Вдумаемся конкретно, что означала бы при таких условіях совѣтизаціи Германіи или Франціи. Коммунистическія революціи в этих странах послѣ войны вполнѣ возможны. Естественна была бы и тяга их коммунистических правительств к соединенію с Москвой. С точки зрѣнія національно-русской, аннексія Германіи или Франціи, конечно, абсурд. Но при гипотезѣ коммунистической экспан-

сіи, в Москвѣ многіе ощущали бы соблазн расширенія СССР на всю Европу. Мечта Ленина, наконец, была бы осуществлена.

Может быть, для Ленина эта мечта и была бы осуществимой. Она не осуществима для Сталина с его концепціей коммунизма как абсолютнаго самодержавія. Что понадобилось бы для превращенія, напримѣр, Франціи в совѣтскую республику? Отрицательная часть программы хорошо извѣстна. Разстрѣлять нѣсколько милліонов буржуазіи и интеллигенціи, выдержать огромное множество людей в тюрьмах и лагерях, это вполнѣ мыслимая вещь. Но положительная часть — перевоспитаніе масс — встрѣтит огромныя препятствія. Начала личной свободы, как и личной собственности, во Франціи уходят в глубину вѣков. Буржуазный дух (в обоих смыслах) пропитывает глубоко и крестьянство и рабочій класс. В Москвѣ это знают и потому глубоко презирают западный пролетаріат. На кого же, на какую «бѣдноту» будет опираться Марат новой Франціи в дѣлѣ созданія новой расы рабов? Как ни велико могущество государственнаго насилія (мы то теперь это слишком хорошо знаем), оно нуждается в чем-то другом: в отвѣтном энтузіазмѣ меньшинства — по крайней мѣрѣ. В Россіи новое самодержавіе удалось потому, что оно пришло на смѣну стараго. В Россіи коммунизм строят внуки крѣпостных рабов и дѣти отцов, которые сами пороли себя в волостных судах. Это необходимое условіе успѣха. Какой пролетарій во Франціи добровольно вернется в крѣпостной серваж?

В Германіи, гдѣ Гитлер расчистил наполовину дорогу коммунизму, другія трудности. Уровень ея технической культуры настолько превышает русскій, что ея спецы, военные и гражданскіе, в общем коммунистическом отечествѣ должны будут занять первыя мѣста. При необыкновенной способности Германіи к организаціи, ея коммунисты (вчерашніе наци) примутся за организацію СССР. Это было бы настоящим реваншем побѣжденных. Колонизація Россіи, предположенная Гитлером, осуществилась бы в формѣ иной идеологіи. Эту опасность тоже должны понимать в Москвѣ, гдѣ к тому же горячая ненависть к врагу не позволит признать его «товарищем». Месть, вѣроятно, слаще строительства мірового рабства.

Иное дѣло — восточная Европа. Мелкіе народы, особенно славянскіе, воспитанные в вѣковом турецком или мадьярском

гнетѣ, представляют прекрасный матеріал для коммунизма. Буржуазія немногочисленна и легко может быть истреблена. Интеллигенція в значительной части теперь не окажет сопротивленія — в Россіи видят освободительницу, — крестьянство потеряет не много. По всей видимости, Югославіи эта участь уже готовится. Коммунистическое панславянское движеніе как будто говорит об общей судьбѣ, ожидающей славянскіе народы. Едва ли для Румыніи будет сдѣлано исключеніе. В ожиданіи будущаго, скромная Молдавская автономная республика, входившая в состав Украины, теперь, расширенная Бессарабіей, стала республикой федеративной. Для совѣтской Румыніи уже готовы административныя рамки. Зато славянскія страны западной культурной традиціи, Чехословакія и Польша, представляют трудности того же порядка, что и Франція. В Польшѣ Москва еще может надѣяться на некоторую классовую рознь между шляхтой и крестьянством. Но необычайная сила польскаго національнаго чувства, опыт царской Россіи, не сумѣвшей справиться с ним, как будто должны предостеречь от новаго поглощенія Польши.

Государства, которыя не войдут в состав СССР, могут сдѣлаться его вассалами. Чехословакія уже как будто примирилась заранѣе с этим положеніем. Москвѣ выгоднѣе имѣть послушнаго сосѣда, чѣм подданнаго-саботажника. За линіей вассалов начинается область народов чуждых и враждебных. Запад и сѣвер Европы не годятся для коммунизма. Они должны быть обезврежены, ослаблены, минированы внутри классовой борьбой и вовнѣ международным соперничеством. Здѣсь братскія коммунистическія партіи могут продолжать свою почтенную роль — пятой колонны Москвы.

Такова была бы политика Москвы, если бы она пожелала руководиться національными интересами в их грубом и агрессивном пониманіи. Если же правы сторонники коммунистической гипотезы (Сталин ученик Ленина), то попытка полной совѣтизаціи Европы, послѣ первых удач, может привести к разложенію Россіи. СССР является живым и жизненным как продолженіе Россіи. СССР, включившій всю Европу, перестает быть Россіей. Он вбирает в себя такія центробѣжныя силы, которыя должны будут привести к его распаду.

Иной характер имѣет экспансія на Восток. Революціонизировать Восток — материк угнетенных рас — чтобы бросить его, вмѣстѣ с пролетаріатом, на разрушеніе западнаго капитализма — было одной из любимых идей Ленина. Но в его

схемѣ Восток играл служебную роль. Позже соотношеніе перемѣнилось. Опыт насажденія коммунизма среди азіатских народов самой Россіи оказался очень удачен. В общем, восточные народы принимают совѣтскую культуру с гораздо большей легкостью, чѣм массы русскаго народа. Они никогда не знали свободы. Абсолютная власть и даже ея террористическіе методы кажутся им вполнѣ естественными. Они легко принимали и старую русскую власть в эпоху завоеваній. Теперь же Москва несет им нѣчто весьма привлекательное: опьяняющее чувство національнаго и расоваго равенства с бѣлым человѣчеством и легкое пріобщеніе к современной технической цивилизаціи. Через совѣтскую политику неподвижно спавшія массы Востока впервые проснулись, увидѣли свѣт, получили книгу, пріобщились через нее к міровой культурѣ. Восток — это единственное мѣсто, куда совѣтская культура несет с собой нѣчто прогрессивное.

Осуществляется даже нѣкоторое подлинное — не политическое — освобожденіе: женщины от власти мужа, рабочаго человѣка от власти родовых старѣйшин, беков или ханов. Правда, одновременно происходит убійство старых традицій, уклада жизни, нравственных понятій, прежде всего религіи. Это по необходимости повлечет за собой оскудѣніе національных культур, которыя, утратив живописность фольклора и глубину духовной жизни, получают взамѣн лишь механическіе продукты цивилизаціи. Но до этого еще далеко. Пока Восток живет старыми запасами духовных сил, пробужденных к новой активности.

Народы тѣх же культур, часто тѣх же рас и языков, живут и за восточными рубежами Россіи. И среди них пропаганда коммунизма в его восточном изданіи — как національно-расоваго освобожденія — находила всегда благодарную почву. Здѣсь коммунистическій агитатор идет по слѣдам царскаго дипломата. Скрытая экспансія Россіи в Персіи, Монголіи, Китаѣ продолжается с большим успѣхом СССР. Монголія почти совсѣм совѣтская республика. Сѣверо-западныя провинціи Китая сильно обрусѣли. Глубокое проникновеніе в Китай было остановлено только Японіей и національным сопротивленіем Чан-Кай-Шека. Как и на Западѣ, русская экспансія останавливается перед угрозой настоящей, рискованной войны.

Возможный разгром Японіи открывает новыя перспективы. Уход англичан из Индіи, которая не в силах защищать

себя и даже не нашла своего національнаго единства, дѣлает вполнѣ реальной фантастическую сказку русской Индіи. Огромныя пустыни средней Азіи естественно продолжают русско-евразійскія пространства и не представляют для русской экспансіи никаких преград, кромѣ чисто технических.

Единственно серьезная сила в Азіи (послѣ гибели Японіи) это Китай. Но Китаю понадобится не мало лѣт, чтобы организовать свои огромныя возможности.

Что отличает восточную экспансію Россіи, это присутствіе в ней положительных и безкорыстных мотивов. Современная Россія любит Восток, увлекается им и хочет содѣйствовать его освобожденію. Для нея это не почва для насажденія своей русской культуры, не «жизненное пространство» для вытѣсненія чужих, низших рас. Это естественное расширеніе своего организма, не за счет иных, а в сліяніи с ними. Братаніе с народами Востока происходит на каждом шагу, в каждой политической и культурной демонстраціи совѣтской Россіи. В Россіи представителям меньшинств отводятся всюду почетныя мѣста. А меньшинства в Россіи почти всѣ на Востокѣ.

Какая огромная разница в отношеніи к Западу! Запад силен и опасен. От него СССР отгородился глухой стѣной. Двадцать пять лѣт стѣна раздѣляет новыя русскія поколѣнія от Западной Европы. Путешествіе туда для рядового гражданина невозможно. Общеніе с иностранцами опасно. Опасна даже переписка с заграницей. Двадцать пять лѣт печать окутывает Запад густым покровом лжи. Там капитализм и фашизм, там голод и вѣчная эксплоатація. Давно уже ничего не осталось от свободы. Над этим разлагающимся варварством СССР возвышается, как страна культуры и свободы. Вѣроятно, массы вѣрят в этот миф. У них нѣт других источников освѣдомленія. Этот миф к тому же тѣшит их молодую національную гордость. Запад перестал быть «страной святых чудес», мѣстом паломничеств, второй родиной. Он стал дантовским адом. Только далекая Америка, страна технических чудес, вызывает вниманіе и сочувствіе. Но в Америкѣ ищут лишь второе изданіе совѣтской Россіи.

Иное дѣло Восток. Чтобы видѣть его, нѣт надобности хлопотать о паспортѣ. Достаточно поѣхать в заволжскія губерніи (виноват, республики). Туркестан стал поэтической землей совѣтских писателей и художников — тѣм же, чѣм был Кавказ в эпоху романтизма. Никогда еще в Россіи так не

изучали Восток, научно и художественно, основательно и любовно. Востоку прощают и его средневѣковыя суевѣрія и варварскіе пережитки. Он не чужой, а свой. Он самое прекрасное, что есть в Россіи.

Быть может, не случайно, что во главѣ Россіи стоит не русскій, а кавказец. Марксизм не убил в нем національнаго грузинскаго чувства. Свои личные вкусы и національныя пристрастія он в силах навязать всей Россіи: грузинскую поэзію, грузинскую оперу. Не случайно, что учебники русской исторіи начинают ее с Урарту (Ванскаго царства), и отмѣчает судьбу Тифлиса при монгольском завоеваніи.

Сталин сам типичный человѣк Востока, который чувствовал бы себя не плохо на тронѣ персидских шахов или преемников Чингисхана. Он почти не бывал в Европѣ, явно не любит ея, презирает ея революціонное движеніе, даже ея коммунистическія партіи. Сейчас его Россія ведет свою вторую отечественную войну и, может быть, об'ективно, спасает Европу от германскаго завоеванія. Но можно ли представить себѣ Сталина новым Александром, освободителем и организатором Европы? Для Александра Европа была настоящей родиной (чужой была Россія). Александр читал даже Евангеліе по-французски. Для него спасеніе Европы было своим, насущным дѣлом. Но то же самое и для его преемников, даже для Николая I, даже для двух послѣдних славянофильствующих царей. Никто из них не мог представить себѣ Россіи внѣ круга европейских народов. Дѣло Петра Великаго оспариванію не подлежало.

Революція с этим покончила. Сталин не станет плакать о гибели Европы. Напротив, гибель, или упадок Европы, сняли бы с него тяжелое бремя тревоги, развязали бы руки для иного, куда болѣе интереснаго дѣла — на Востокѣ. Конечно, политика дѣло извилистое. Война с Германіей вовлекает Россію в цѣлый ряд европейских проблем. Так как русская экспансія ищет мѣста наименьшаго сопротивленія, то и западное направленіе ея нельзя считать исключенным. В своем развитіи она может снова перевернуть сложившееся в СССР равновѣсіе сил. Уже Балтійскія республики с Галиціей представляют для СССР серьезную политическую проблему. Но такая, какой она является сейчас, Россія мало заинтересована в судьбах Запада. Вѣрнѣе, заинтересована отрицательно. По существу, ея политика на Западѣ оборонительная, что не мѣшает ей быть во многих случаях разрушительной. Так древніе гер-

манцы, по Тациту, видѣли самую надежную защиту своих границ в пустых пространствах, их окружающих. На Востокѣ Россія готова к иной экспансіи — завоевательной, агрессивной и в то же время культурно-творческой.

Это подводит нас к четвертой, послѣдней загадкѣ Россіи — уже не столько политической, сколько культурной и духовной. Что такое теперь сама Россія — с точки зрѣнія вѣчной тяжбы Запада и Востока. Россія родилась на свѣт со своей особой, греческо-византійско-славянской, темой, поставленная исторіей между христіанским Западом — и магометанским Востоком. В Кіевское время она дышала легко и свободно обоими легкими, не измѣняя себѣ и участвуя в культурном общеніи с Западом и Востоком. Ея дальнѣйшая исторія есть колебаніе между двумя мірами. В Москвѣ она создает восточное царство, наглухо отрѣзав себя от Запада. В Петербургѣ она возвращается на Запад не без забвенія своей собственной исторической темы, которую она мучительно ищет и находит в серединѣ 19 вѣка. Революція снова бросает ее на Восток. Падает даже та преграда от него, которая в старой Москвѣ дана была православной вѣрой. Сейчас измѣна Россіи ея исторической — греческой и христіанской — миссіи очевиднѣе, чѣм когда-либо в эпоху московских и петербургских ея блужданій.

Сотни тысяч людей западнаго воспитанія, отчасти и крови, убиты или выброшены вон из Россіи. На смѣну им Восток шлет своих пробудившихся сынов, которые занимают все новыя культурныя позиціи. Сам русскій человѣк глубоко мѣняется — психологически и даже физически. В его сложном, славяно-восточном типѣ все больше проступают монгольскія черты. Достаточно взглянуть на лица красноармейцев, на портреты военных вождей. Конечно, перемѣна в русском типѣ, прежде всего, духовнаго порядка. Погас религіозный свѣт, который нѣкогда одухотворял и некрасивое русское лицо. Выросло поколѣніе, которое никогда не молилось, никогда не думало о вѣчности. Занятое звѣриной борьбой за существованіе, в лучшем случаѣ вопросами политики и матеріалистической науки, привыкшее считать злобу и безжалостность за добродѣтель воина и революціонера, это поколѣніе страшно огрубѣло. Преобладаніе физической природы сказалось внѣшне монголизаціей. Для этого поколѣнія Восток — не Индія и Китай с их древними утонченными культурами — а ближній туранскій Восток оказывается своим, родным, болѣе

притягательным даже, чѣм великорусскій, почти вымершій фольклор.

И здѣсь Блок оказался пророком. В своих «Скифах» он дал новый образ Россіи, уже не славянской, а евразійской. Он вѣрно уловил отличіе русско-скифскаго типа от монгольскаго. Ложь его поэмы в другом. Идея скифов, открывающих путь монголам для разрушенія Европы, не соотвѣтствует никакой реальности. Внѣ Россіи уже нѣт никаких монголов, способных грозить христіанскому Западу. Всѣ боеспособные монголы — в рядах Красной Арміи.

Тенденція этого развитія явно указывают на перерожденіе русскаго національнаго сознанія в евразійское. Может быть, на наших глазах возникает новая нація, связанная с русским языком и территоріей, но столь же отличная от нея, как Византія от классической Греціи. Однако, этого может и не случиться. Рѣзкій оборот русскаго колеса на 90 градусов к Востоку еще может выпрямиться. Это зависит прежде всего от работы подсознательных духовных сил, дѣйствующих в самой Россіи, но зависит также, не в малой степени, и от Запада.

Сумѣет ли Запад заградиться (с очень малым напряженіем) от русской (не очень энергичной) экспансіи в Восточной Европѣ? Сумѣет ли он сам рѣшить свои собственныя — соціальныя и національныя проблемы, и, собрав во-едино свои, еще не малыя, духовныя силы, повѣрив опять в свою тысячелѣтнюю правду, начать новый культурный расцвѣт? Если да, то для него открыта возможность дружеских взаимоотношеній с Россіей, обмѣна культурными цѣнностями, которыя мало-по-малу способны будут преодолѣть русскій суевѣрный страх перед Западом и вывести Россію из ея вольной изоляціи. Тогда, видя, как Запад рѣшает свою соціальную проблему без попранія личности и свободы, может быть, пошатнулась бы и русская вѣра в спасительность самодержавія. Открылись бы пути для эволюціи совѣтскаго строя в направленіи к новым формам демократіи.

Если же нѣт, если Европа не в состояніи преодолѣть своего хаоса или малодушія, тогда будущее ея мрачно В гражданских и національных войнах она быстро скатывается к своему упадку и становится окраиной материковой Евразійской Имперіи.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Я не я, и лошадь не моя.
(Русская поговорка)

Стремление русских людей оторвать свой народ от коммунистической власти, представляющей его в глазах мира, естественно. Приближается час расплаты, и горька будет чаша, которую придется пить России за преступления ее властителей. Столь же естественно и нежелание или неумение иностранцев отделить русский народ от коммунизма. Эта операция логического отделения народа от власти представляет на практике трудности почти непреодолимые. Иностранцам мешает незнание, своим — пристрастие. Невежество иностранцев по части России всегда было потрясающим; оно сравнимо только с русским невежеством в вопросах Азии или Африки. Но русское пристрастие иногда переходит все границы. Те же люди, которые вчера делали весь немецкий народ ответственным за Гитлера, ни за что не согласятся отвечать за Сталина, ни лично, ни коллективно. Признание такой ответственности или даже связи между русским народом и его тиранами среди нас очень непопулярно в эти дни. Лет 20 тому назад оно, напротив, имело большой успех в значительной части русской эмиграции. Но, ведь, историческая истина не меняется так легко в зависимости от политической обстановки. Сказать, что коммунизм не имеет ничего общего с русским народом, значит сказать благочестивую ложь, очень выигрышную для оратора на русском политическом митинге, но смехотворную для всякой иностранной аудитории. На лжи, как бы благочестива она ни была, нельзя построить серьезной политики. На наших глазах Черчиль и Рузвельт на лжи построили стратегию второй мировой войны, но накликали на мир призрак третьей. Между тем всякое рассуждение о «вредности» или опасности известных политических суждений о фактах является скрытым признанием предпочтительности лжи.

Чтобы взглянуть на нас самих, на современную Россию со всей возможной объективностью, поставим сначала общий во-

---

Впервые опубликовано в "Новом журнале", № 21, Нью-Йорк, 1949.

прос об отношении народа и власти в истории всех цивилизаций. Мы говорим привычно: древняя Греция, Англия, Россия в эпоху Империи, даже и не задумываясь о том, как малы были те человеческие группы, которые представляли эти государства или эти народы. Несколько тысяч афинских граждан, и еще меньше спартанцев, говорят за всю Грецию перед человечеством. Но их общественные или художественные идеалы разделялись ли миллионами метеков, рабов и варваров, которые жили на территориях эллинских республик? Сомнительно. Многим ли больше было число англичан, имевших политические права в эпоху создания и расцвета Британской Империи? До 19 века Британский парламент был органом олигархии. Но кто вспоминает об этом всем известном факте, когда говорит о преступлениях английского империализма? Пример России особенно поучителен и нам лучше известен. У нас десятки тысяч помещиков из десятков миллионов населения одни принимали участие в жизни государства, служили ему, хотя и не управляли им. Это было «русское общество» наших историков. Правящий круг составляли, может-быть, сотни семейств, для которых был открыт доступ к императорскому двору. Столь же ограничен был, хотя и не совпадавший с ним, круг носителей русской культуры. При Пушкине он почти исключительно совпадал с дворянским. Но кому, кроме фанатика Писарева, придет в голову отрицать национальное достоинство Пушкина? Пушкин был национальным поэтом и тогда, когда его читали только тысячи. Эти тысячи одни представляли нацию в культурном смысле слова. В политике это кажется сложнее. Не подлежит, однако, сомнению, что миллионные массы России имели весьма смутное понятие о целях и смысле международной политики своей страны. Для армий 18 века, активно делавших эту политику своей кровью, типична солдатская песенка:

«Пишет, пишет король Прусский
«Государыне Французской
«Мекленбургское письмо».

Очень немногие, даже в дворянском обществе, были посвящены в политику графа Нессельроде или Горчакова, еще менее сочувствовали ей. Тем не менее это была политика России, а не только «Петербургского кабинета», как было принято выражаться на старинном дипломатическом языке. Договоры, подписанные канцлером, были обязательствами России,

их нарушение было бы противно чести России, хотя при заключении их никто не спрашивал мнения России.

Но, может-быть, отсутствие протеста, пассивное приятие народом правительственной политики нужно считать ее признанием? На это нельзя ответить простым «да» или «нет». На примере России вскрывается вся сложность проблемы. Народ, несомненно, хранил верность царю, доходившую до религиозного обожания. Но так же несомненно, что он никогда не принимал законности крепостного рабства и всей новой, европейской культуры, на нем воздвигнутой. Пугачевщина свидетельствует о том, что́ народ думал о самом блестящем веке Русской Империи. Да и весь девятнадцатый век дрожал под непрерывными почти ударами крестьянских бунтов. На вопрос, отвечает ли русский народ за политику самодержавия, единственно правильный ответ таков: да, отвечает, ибо он отвечает за само самодержавие — отвечает и в добром и в худом, отвечает за угнетение Польши и за освобождение Болгарии.

Эта ответственность народа за власть кажется необоснованной, пока мы игнорируем третье понятие, перебрасывающее мост между ними: понятие государства. Никто не станет оспаривать, что государства представляются их правительствами, а не оппозицией, даже если за оппозицией стоит большинство страны. Государство даже в наши дни может обходиться без санкции народной воли. Опора государства на волю большинства принадлежит к самым новым явлениям политической жизни. Англия становится демократией на наших глазах — в 20-м веке. До Ллойд-Джорджа, кажется, имя демократа в Англии было пугалом. Что же, неужели лишь в 20-м веке английский народ стал ответственен за политику своих правительств? Народ отвечает за государство и косвенно за правительство, представляющее государство: отвечает или за то, что его одобряет, или за то, что его терпит.

В истории человечества демократии являлись редчайшим, хотя и драгоценнейшим исключением. Династии или олигархии правили народами и говорили их именем — до 19, а то и до 20 века. И никто не оспаривал их права, хотя всем было ясно, что решения кабинетов или монархов не диктовались волей народа. Поддержка власти en bloc, как таковой, хотя бы пассивная, хотя бы только претерпевание ее, делала возможным говорить о солидарности власти, государства и народа.

Наши славянофилы, как известно, обосновывали этически свою апологию самодержавия тем, что оно берет на себя и снимает с народа ответственность и грех власти. Наивное уте-

шение! Как будто можно заслониться чем-нибудь от нравственной ответственности. Древне-русские книжники, согласно с Библией, учили, что Бог наказывает народ за грехи царя, хотя они же запрещали ему восставать против царя. Противоречие? Может быть не столь вопиющее, если вспомнить, сколько есть форм противления злу, кроме прямого насилия: отказ от участия в нем, обличение тирана, вплоть до мученичества за правду. Писатели — современники Смутного Времени, в полном согласии с исторической истиной, сейчас забытой в России, объясняют его бедствия наказанием за опричину и тиранство Грозного. Грех народа один из них видит в «безумном молчании», т. е. в пассивной покорности преступной власти. Мученичество митрополита Филиппа, обличения двух юродивых явно недостаточны, чтобы уравновесить предательство епископов, осудивших Филиппа, низость десятков тысяч людей, служивших в опричине и извлекавших из нее выгоду. Народ, как и боярство, был жертвой Грозного. Но, может быть, кое в чем он и сочувствовал ему по мотивам классовой злобы или национальной гордости. По крайней мере, в массах своих он без ужаса и отвращения относится к Грозному царю.

Это моральное осуждение народа за грехи власти становится понятным, если вспомнить, сколько оттенков существует в сознательности нравственного акта и, следовательно, тяжести греха: есть грехи злой воли и грехи слабости, грехи вольные и невольные, грехи сознательные, полусознательные и, может быть, совсем бессознательные. Отрицать их, как это было в традиции старой русской адвокатуры, значит оскорблять свободу и достоинство человека.

Может быть, эта морализация претит кому-либо из читателей. Многие, не одни материалисты, протестуют против внесения морали в политику. Я глубоко несогласен с этим взглядом. На политическом имморализме может вырасти только тирания. Больше всякого другого строя демократия нуждается в «добродетели», как это было ясно для Монтескье. Но я готов условно сменить нравственный суд на политический, на суд истории. Тогда возмездие представляется просто причинно-следственной связью. Последствия худой политики власти падают на весь народ, если в ошибках превзойдена известная мера. Дурное правительство приводит к разорению и нищете; агрессия вовлекает народ в тяжкие войны, в конце которых ждет призрак поражения и даже национальная гибель. Война, как и чума, не знает правых и виновных, умерщвляет женщин

и детей, губит целые города — в наше время, может быть, с более слепой жестокостью, чем в средние века.

Я знаю, что историческая Немезида далеко не всегда совпадает с нравственным судом. Скорее это бывает исключением. Это случается, когда превзойдена обычная человеческая мера зла. Но именно тогда история становится осмысленной и возвышенной, как подлинная трагедия.

***

В какой степени эта общая связанность народа с властью и ответственность народа за власть применима к России и большевизму?

Несомненно, мы имеем здесь дело с одним из предельных случаев — наибольшей разобщенности между народом и властью, при которой может существовать государство. Народ в огромном большинстве теперь ненавидит власть. По своим корням, своей идеологии она представляется антинациональной. Она преследует цели международной революции. Она держится в последнее время только террором и личной заинтересованностью правящего слоя. Может быть, действительно, русский народ тут не при чем?

Это большой и сложный вопрос, и ответ на него требует расчленения. Быть может, сейчас уже всякое сопротивление невозможно или требует героизма сверхчеловеческого. Но всегда ли это было так? Невменяемый в настоящем (алкоголик) ответственен за прошлое. Было время, когда он мог бороться с победившей его темной страстью, но поддался ей, хотя бы полусвободно. Корни русского рабства и безысходности заложены в самых истоках революции. 1917 год завязал петлю на шее народа, которая затягивается всё туже год от года.

Стоит ли говорить о самой революции, которую готовили столетие, но которая разразилась тогда, когда почти никто не хотел ее, в момент страшной национальной опасности. Русская интеллигенция в массе своей воображала, что революция вообще — это счастливое событие, именины в жизни народов. Но историк знает, что революции это тяжкие болезни народов, за которые дорого платят и от которых не всегда выздоравливают. Социальная болезнь, переведенная на язык этики, есть грех. Все мы знаем эти грехи старой России, и те из нас, кто сознательно жил, или начал жить в ту эпоху, несут ответственность за них. Монархия, давно прекратившая свою про-

светительную миссию, завещанную Петром, и ставшая тормазом в движении великой страны. Бюрократия, сделавшая политику делом личной корысти. Высшие классы, державшие народ в такой эксплоатации и презрении, которым не было равных ни в одной европейской стране. Церковь, выбросившая социальную этику из своего обихода и умевшая только защищать власть и богатство. Интеллигенция, живущая в мире книг и утопий, потерявшая связь с народной жизнью, но всё время подрубавшая ее религиозные и нравственные корни. А сам народ — «единый ли безгрешный?» Потерявши в школе и новой индустриальной среде и Бога, и царя, он вступил в полосу нигилизма, которая называлась хулиганством в начале этого века и которая вылилась в пораженчество и пугачевщину на исходе тяжкой войны.

Если бы движущим мотивом революции 1917 года для народа была борьба за свободу и родину, как для интеллигенции, то было бы совершенно непонятно, как мог он так легко отдать родину немцам, свободу тиранам, да еще интернациональным беглецам, избравшим Россию ареной своей международной авантюры. Но если представить 1917 год, в целом, как восстание массы против войны, за мир во что бы то ни стало, т. е. за похабный мир, тогда всё объясняется. В России была только одна партия, да и в этой партии едва ли не один вождь, настолько бессовестный, чтобы заключить этот похабный мир; она и должна была стать победителем. Революция делалась и завершилась дезертирами, которым было наплевать на Россию и свободу, но которые были не прочь пограбить, под лозунгом социализма.

Революция зачалась в душе народа в момент злобы и исступления и рождалась на свет, как пьяная оргия. Всё остальное было попытками прикрыть приличием французских слов наготу этого ужасного зрелища и задержать на несколько месяцев оползень России.

Часто говорят, что злоба и солдатская оргия 1917 года только накипь, свойственная всем большим историческим событиям, что побеждают в истории только положительные силы, что и в большевистской победе участвовали идеалистические факторы, которые в свое время проглядела демократическая интеллигенция. Так думают сейчас не одни большевики, но, может быть, и большинство антисталинцев внутри России. Ленин и Октябрь всё еще окружены известным ореолом.

Как очевидец и историк, я хотел бы сделать одно разграничение. Я признаю наличие рабоче-крестьянского идеализма

в борьбе за Октябрь, но только эти идеалистические силы начали действовать после того, как Октябрь стал уже фактом. В 1917 году большевистские герои и мечтатели существовали лишь в небольших группах рабочих, преимущественно рабочей молодежи, которая слабо влияла на события. Но в борьбе против белого движения они своею кровью отстояли Октябрь. Они стали стержнем Красной Армии и, вместе с крестьянской молодежью, пришедшей еще позднее, стали строить Новый Мир, или то, что тогда называлось пролетарской культурой. Но даже и в победе Красной Армии над Белой решающим был не героизм, а полусознательный и почти цинический выбор крестьянства. И барин, и комиссар были ему ненавистны. Но поставленный в необходимость выбора, он предпочел комиссара. Зная всё страшное будущее, которое его ожидало, он, может быть, не сделал бы этого выбора. Но выбор был непоправим. Когда народ пытался его поправить в Кронштадтском и Тамбовском восстаниях, было поздно. Он был уже скован по рукам и ногам.

В момент прихода к власти большевиков, за них была подана треть голосов на выборах в Учредительное Собрание. Меньшинство? Да, но такое же меньшинство было подано за Гитлера в последние свободные выборы в Германии. Эта треть была, если не лучшей, то, конечно, самой активной, воинствующей частью страны. Если бы две трети боролись так же энергично, как одна, никогда бы меньшинство не смогло победить. Ведь тогда в его руках не было всего страшного аппарата тоталитарного государства, который делает возможным и 10-ти процентам управлять всем народом. Террор-то был не только красный, но и белый. Если говорить о национальной ответственности, то две трети тоже несут ответственность за Россию. Есть грехи бездействия, неделания; не помочь утопающему, значит почти то же, что утопить его.

Но было время, когда и большевистская треть стала расти и, вероятно, обратилась в большинство. Конечно, этого нельзя доказать никакой статистикой. Но тот, кто жил в России в годы Нэп-а, знает, как ослабела оппозиция коммунизму. Крестьянство, получившее землю и временно заслонившееся от власти, было положительно довольно. В течение немногих лет рабоче-крестьянская власть была действительно популярна. И вот тогда она могла позволить себе то, на что не решилась никогда ни одна революционная власть: произвести новую революцию — против крестьянства. Для этой цели она использовала антагонизм города и деревни. Недавно еще кре-

стьяне посмеивались над голодающими дармоедами-рабочими, и эти дармоеды оружием добывали мужицкий хлеб. В 1929-30 годах масса рабочей молодежи была брошена в деревню, чтобы угрозами, пытками, убийствами и разорением загнать крестьян в новое крепостное рабство колхозов. В самой деревне удалось натравить на трудовое крестьянство так называемую «бедноту», которая с жадостью «разделяла ризы» ссылаемых в Сибирь семейств. Та же социальная зависть и злоба, направлявшаяся недавно против помещиков и «буржуев», превратилась во взаимное поедание трудовых классов. Из чугуна этой злобы только и могла быть вылита страшная машина государственного террора, а когда она была вылита, то не трудно было уже обратить в крепостное состояние и рабочих в ряде индустриальных пятилеток, истребить всю ленинскую партию и без огласки превратить старый революционный коммунизм в истинно-русский фашизм. Всё это было сделано не по воле народа, но при его соучастии с использованием самых низких инстинктов его души. В этом и состоит зловещее отличие современных тираний от всех известных в истории. Новые делают свое гнусное дело против народа, но через народ; они считают, что это дает им право называть себя демократиями.

***

В оценке большевизма и критики его и апологеты часто впадают в одно из двух противоположных заблуждений: или он рассматривается ими, как наносное, чуждое России явление, как вампир, сосущий невинный народ, или как порождение народной стихии, цвет или плод всей тысячелетней истории России. Верно и то, и другое: интернациональный в своей первоначальной идее, большевизм обрусел в русской среде, став выражением страстей народа в годину его страшного падения. Но он никогда не мог обрусеть до конца, и вовсе не было написано в книге судеб, чтобы Россия должна была свалиться именно в эту яму.

Известно старое, немного схематичное, но всё же не утратившее свою справедливость, противоположение: интернациональный коммунизм и русский большевизм. В двадцатых годах позволительно было надеяться, что русский большевизм преодолеет и съест коммунизм. Тогда было возможно советскому поэту с полным сочувствием восклицать устами своего героя-атамана:

«Да здравствуют большевики,
«Долой, нехай, коммунистов!»

Эти надежды не оправдались. Победил коммунизм, приняв национальное обличье.

Ясно, что́ принадлежит к составу коммунизма: марксизм как основная идея (живая и сейчас, хотя и подвергшаяся ревизии); мировая революция (живее, чем когда-либо); «Интернационал» как русский гимн (отменен); техника и хозяйство (живут); борьба с национальной Русью (сменилась реставрацией Руси, но только черносотенной). Что в этом комплексе первоначального ленинизма было воспринято народной душой? За что народ несет ответственность?

Марксизм есть создание гениального немецкого еврея и нашел себе почву только в Германии и странах немецкой культуры. Единственное исключение — Россия. В девяностых годах Россия дала такую блестящую плеяду экономистов и историков-марксистов, какой не имела ни одна страна. Ленин был одной из звезд второй величины в этой галаксии. И Россия же сделала свою революцию под знаком Маркса. Это не могло быть случайностью. Можно указать несколько элементов в марксизме, которые делали его соблазнительным для русского человека:

1. Материализм, прорвавшийся так бурно еще в 60-х годах и опять-таки пожавший такие лавры только в России. В народной толще его питательной средой был религиозный материализм, выражавшийся в чувственном восприятии сверхчувственного мира. Русский человек, среди других народов, наделен поразительной силой чувственности, становящейся пророческой у русских гениев (Толстой, Достоевский, Розанов, о. Булгаков). И хотя этот сенсуализм органического, а не механического порядка, он может лечь в основу всякого материализма.

2. Рационализм, лишь на первый взгляд противоречащий сенсуализму. В истории народов, как и в развитии личности, рационализм соответствует отроческому пробуждению мысли. Она мечтает легко и без само-дисциплины всё понять, всё окинуть взглядом, не оставив ни одной неразрешенной загадки. Она не терпит никаких осложнений и не признает никаких границ познанию. У Маркса это не было наивной простотой, а вторичным опрощением, грехопадением философской (гегелианской) мысли, подобным возвращению Пикассо к искусству негров. В России, проспавшей интеллектуально целое тысячелетие, рационализм есть первый лепет мысли. Интеллигенция ринулась по этой дороге с 30-40 гг., народ с начала этого века. Чрезвычайно опрощенный марксизм Ленина с привеском

примитивного дарвинизма оказлся как раз по зубам рабоче-крестьянской молодежи, всколыхнутой революцией.

3. Оптимистический детерминизм исторической философии марксизма. В прямом или вульгарном его понимании (не будем спорить) он снимает с личности бремя ответственности и нравственного суда. Личность не смеет бороться ни против своей среды, хотя и может переменить ее, ни против истории (пример Бердяева). Сливаясь с ее потоком, она чувствуетс себя необычайно сильной. Для нея нет никаких сомнений, что он вынесет ее, всё человечество к утопиии всеобщего счастья. Русским восприемником здесь было слабое развитие личного сознания и жажда уничтожения в коллективе: «Где народ, там и Бог». — «На миру и смерть красна».

4. С этим последним увлекающим моментом марксизма связан и пафос мировой революции. Библейское эсхатологическое сознание, напряженная жажда конца истории в атеистической цивилизации превращается в религиозный фетишизм революции — последней, всемирной. Это превращение, уже совершившееся в западном марксизме, который и вообще, по своей структуре, представляет обезбоженную иудео-христианскую апокалиптическую секту, идет навстречу эсхатологически-устремленной русской душе. Каяться ей придется не в эсхатологизме, без которого нет христианства, но в сектантском отрыве от реальности, в нетерпении и нетрезвости. Конечные идеалы приобрели у нас характер взрывчатых бомб.

Так и марксистский плен оказывается наполовину добровольным. Когда-то А. Блок со свойственным ему провидением обращался к Руси:

«Какому хочешь чародею
«Отдай разбойную красу.
«Пускай заманит и обманет . . .

Ну вот, русская Людмила, отвергнув белого Руслана, отдалась Черномору, и седая борода Карла долго развевалась над взвихренной Россией.

От коммунизма переходим к большевизму.

1. Прежде всего 1917-18 г. был временем великого (в смысле грандиозности) народного бунта, одного из тех, которые отмечали с постоянным ритмом каждое столетие московско-петербургской неволи: Смутное Время, Разиновшина, Пуга-

чевщина, Ленинщина. Всероссийский «чертогон», говоря по-лесковски, давал выход застоявшимся, скованным силам. Смотря снизу, глазами мятущихся масс, Октябрь не был отрицанием Февраля, а его продолжением. Ненависть к войне сочеталась с застарелой ненавистью к барству, питаемой пережитками крепостного права. Они пронизывали почти всю русскую жизнь, особенно армию. Оказалось, что народ ничего не забыл и не простил. Его месть была слепой и часто несправедливой. Интеллигент отвечал за барина, социалист за капиталиста. Коммунизму, который поджигал стихийный пожар, стоило не мало труда, чтобы потушить его и обуздать стихию. Зеленые атаманы долго сопротивлялись и белым, и красным генералам. Самое интересное то, что стихия революции нашла отзвук — и какой! — в русской поэзии. Революция не только дала двух больших поэтов, Маяковского и Есенина, но увлекла за собой многих символистов, которым она была, казалось, органически враждебна. Брюсов нашел в ней своего Дьявола, а Блок последнее выражение падшей женственности (Катька). Поэты откликались на зов дикой воли; и там, и здесь говорит славянский Дионис, плохо скованный и христианством и культурой (Аполлон). Эти поэты переживут века, и я боюсь, что по ним потомки будут судить о руской революции. Не столько атаман Махно, сколько Блок и Есенин сделали Октябрьскую революцию национальной, т. е. грех ее всенародным.

2. Между разгулом большевистской стихии и коммунистическим террором, ее обуздавшим, лежит полоса революционной культуры, которую можно условно назвать прослойкой идеализма. Годы и десятилетия молодые поколения рабочих и крестьян с жадностью бросались к «свету и знанию» и строили с величайшими жертвами новую жизнь, как им казалось, лучшую и справедливую. Ради этого идеала они обагряли кровью свои руки, отожествляя его с восторжествовавшей тиранией. Самое содержание нового идеала — коммунизм — оказался связанным с очень глубокими основами народной этики. Не одна молодежь, но и вся масса, как и интеллигенция российская, были носителями этой этики. Русская этика эгалитарна, коллективистична и тоталитарна. Из всех форм справедливости равенство всего больше говорит русскому сознанию. «Мир», т. е. общество имеет все права над личностью. Идея-сила, пока она царит в типично-русском сознании, не терпит соперниц, но хочет неограниченной власти. Но сколько бы ни было правды в равенстве, красоты в личном самопожертвовании и даже в самодержавии идеи, весь этот комплекс в

своей односторонности опасен и может принимать демонические формы. Такова была судьба общественного идеала в русской революции, повторившей во многом судьбу русской народнической интеллигенции. В России не раздался ни один голос в защиту частной собственности. Конфискация всей промышленности была воспринята не одними большевиками, как акт почти нормальный, и во всяком случае справедливый. Социализм, который никак не укладывается в американскую голову, без труда был принят в России, а не только вколочен насилием. Русские беженцы говорят, что теперь в России социализм ненавистное слово. Вероятно это так и есть. Но, чтобы добиться такого результата, нужно было более 30 лет нечеловеческих мук. Только Сталину удалось внедрить в России психологические предпосылки буржуазного хозяйства.

3. Национальное чувство, подавленное в первые полтора десятилетия коммунизма, было реабилитировано в 30-х годах и сейчас сделалось одной из основ новой фашистской версии сталинизма. Оно доводится не то, что до абсурда, но просто до глупости. В жертву ему принесено уже не мало человеческих жизней за счет «космополитов» или «западников». Но, хотя за ним стоят палачи МВД, трудно сомневаться, что оно опирается на народное сочувствие. Первые, робкие всходы русского национализма после убийства Кирова, были оценены нами, думаю, справедливо, как уступки власти народу. Эта политика нашла через десять лет свою параллель в отношениях к Церкви — с той разницей, что, после уничтожения ленинской партии, национализм свил гнездо и в самом правящем класе. Слишком долго подавлялись всякие проявления здорового национального чувства, чтобы не вызвать реакцию. Читая нелепые проявления советского национализма, мы уже не знаем, что отнести на счет партийных директив, а что объясняется просто национальным психозом — такого же качества, как и другие его европейские разновидности. Удивительно ли, что советские историки с большой страстью, но без всяких доказательств, утверждают превосходство Киевской Руси перед Западом, если, случалось, и в эмиграции ученые проповедывали то же самое? Национальная мегаломания превращает в слепцов даже очень ученых людей. Amor patriae tollit ingenium. После целых поколений интеллигентской всечеловечности, Россия пошла, к несчастью, по немецкой дорожке. Об этом говорит и свободное русское слово, отражающие настроения как беглецов «оттуда», так и повальные увлечения старой эмиграции.

Особую форму, религиозную или псевдорелигиозную, русский национализм приобретает в христианском мессианизме. Это наследие старого славянофильства, за которое не большевики отвечают. Бердяеву нечему было учиться у Сталина. Этот тип национальной гордыни, паразитирующей на теле исторического христианства, уводит нас в древнюю Москву. Как не поверить искренности московского патриарха, который стремится, пользуясь машиной советского террора, покорить себе под нози весь православный мир? Блок и Бердяев оттенили другую черту русского мессианизма. Поэт назвал ее скифством, и все мы встречаемся с его проявлением в русском беженстве. Из унижения выростают горделивые притязания. Это понятно, но не менее страшно. Таков был и роковой путь Германии . . .

4. Есть ли связь между тоталитарным государством Сталина и традициями руского самодержавия? Все иностранцы утверждают ее, большинство русских страстно отрицают. Конечно, мы знаем (чего не знают иностранцы), как сравнительно мягок был старый режим в его последние десятилетия. Но дело не в жестокости, которая свойственна революциям, а не ancien régime'ам. Дело в вековой покорности, почти безграничном терпении народа, имевшем свои глубокие исторические корни. Народ способен на бунт, но бесконечно труднее для него повседневная борьба за право и свободу. В условиях тоталитарной тирании борьба за право, в конце концов, вообще становится невозможной. Но ведь эта тоталитарность пришла не сразу. И вот вероятно, а исторически вполне естественно, что в создании этой небывалой тирании архитектором был не один террор, но участвовали и вошедшие в кровь и плоть навыки векового рабства. Вспоминал же Ленин, когда готовился к захвату власти, что Россией управляли когда-то 40.000 помещиков — приблизительная численность его партии.

Народ сопротивлялся комунизму, особенно интеллигенция, но, очевидно, недостаточно. А было время, когда это сопротивление имело шансы на успех. Многие народы в Европе — немцы, чехи — приняли новую тиранию с еще большей легкостью. Все же остается фактом, что нигде в мире тирания не доходила до той тоталитарности, как в России. Остается фактом и другое, — что структура фашистского государства, как и методы террора, созданы Лениным и были просто пересажены на европейскую почву.

Нельзя закрывать глаз на основное социологическое раз-

личие между западным и русским фашизмом (коммунизмом). На Западе он родился из кризиса демократии; уже много раз в истории тирания возникала из разложения демократии: в Греции, в Риме, в Италии Ренессанса, в революционной Франции. В России основной причиной победы коммунизма было отсутствие демократии. Там разочарование в ней, здесь ее девственное неведение. Наши судьбы не совпадают. Россия является сейчас соблазнительницей Запада, как раньше, в цветущий век демократии, Запад увлекал Россию. Большевистскую Россию можно было бы сравнить с Македонией или даже Персией в эпоху упадка греческой свободы. Греческие полисы сами тяготели к тирании на почве классовой войны. Но Македония и Персия давали готовые монархические формы для новой авторитарности. Эсхины и Ксенофонты играли роль современных попутчиков. Так выросла мировая держава Александра и Рима, существовавшая полторы тысячи лет. — Судьба, которая готовится и ныне западному миру, если он не сумеет преодолеть и внешней опасности и своих внутренних ядов.

***

Кое-какие соблазны коммунизма или фашизма еще сохраняют свою притягательную силу в России; национальная мегаломания, например. Но не ими держится власть. «Облетели цветы». Сталин, может-быть, прав, веря только в две вещи: террор и деморализацию. Последнее и есть самое страшное. Мы только и слышим сейчас, что почти всё население ненавидит советскую власть, но пытки МВД так страшны, и полицейская сеть так густа, что невозможны никакие проявления протеста. О, если бы было только это! Тираны прошлых веков довольствовались покорностью и молчанием. В эпоху революций молчание опасно — казнят и подозрительных. Нужно славить власть даже тогда, когда ее ненавидишь. Но Сталин пошел дальше. Он изобрел систему, которой не знало человечество. Он поставил своей целью заставить каждого гражданина совершить какую-нибудь подлость, чтобы раздавить его чувство достоинства, чтобы сделать его способным на всё. Только эта цель объясняет многие фантастические явления русской жизни, которые без нее кажутся абсолютно непонятными. Полицейские и следователи всего мира, не исключая Гестапо, добиваются признаний в подлинных преступлениях или поступках. В СССР добиваются признаний заве-

домо лживых. Ради чего? Разве нельзя уничтожить человека и без всяких с его стороны признаний? Но палачи работают месяцами, чтобы добиться подписи под лживым и никому не нужным документом. Сломить раз навсегда волю человека, осквернить его совесть, сделать его предателем, клеветником — вот цель. Такой уж никогда не сможет смотреть людям в глаза. Он сделает всё, что мы от него потребуем. Таков дьявольский расчет. Вероятно, он не всегда оправдывается.

Другое чудовищное явление — это поветрие покаяний. Когда сменяется генеральная (т. е. Сталинская) линия культурной политики, целые секторы научной и художественной работы подвергаются публичному и поименному сечению, и позже от оклеветанных и смертельно замученных людей требуется акт самобичевания и отречения от своих идей. И здесь та же цель: раздавить морально писателя или ученого. Он слишком гордо носит голову; таково уж свойство его профессии. Он воображает, что служит науке или искусству. Он служит нам; он оплачиваемая государством проститутка, и пусть не забывает этого.

Есть люди, которые и здесь отказываются участвовать в общей подлости. Они выбирают молчание, нужду, ссылку, гибель близких. Имена немногих из них доходят до нас. Мы преклоняемся перед их страданиями; они дают нам силу жить. Но всё тот же роковой вопрос: сколько праведников спасают Содом?

О, если бы четкая линия между палачами и мучениками могла быть проведена в России! Где кончается эта ненавистная власть и где начинается ее ненавидящий народ? Может быть, власть — это партия? Но партия, давно уже потерявшая свой идеологический костяк, почти растворилась в массе. Родственные, бытовые отношения связывают ее с беспартийными. У коммуниста можно порой сыскать даже защиту в случае политических неприятностей. Но, с другой стороны, партия облеплена густым слоем кандидатов, карьеристов, готовых на всё, чтобы пролезть в ряды знати. Или власть — это МВД? Но как мало число действительных палачей сравнительно с массой вольных и невольных доносчиков. Кто охраняет заключенных в бесчисленных каторжных лагерях? По большей части, те же осужденные. Кто помогает чекистам и их собакам ловить беглецов? Окрестные крестьяне. Поистине трудно — возможно ли? — остаться непричастным злодеяниям власти, которая ставит своей целью сделать своим соучастником весь народ. Легче всего совесть у тех, кто находится на самом дне: у

станков и за плугом, без мечты о выдвиженчестве. Им разрешено молчание. Есть даже углы в России, где допускается и свобода слова: в лагерях смерти для тех, кто не помышляет о возвращении в мир. Но велика ответственность тех, кто по самому призванию своему поставлены на страже истины и свободы, но вынуждены отравлять и развращать сознание народа. Велика ответственность русского писателя, ученого, епископа. Самый тяжкий грех — грех патриарха.



Общая вина, общий грех. Без признания их нет духовного возрождения России. Без покаяния нет очищения. Конечно, возрождение государства мыслимо и на других путях, известных нам по новейшей истории Германии. Но какая от того радость? Германия не исцелилась от ядов фашизма после гибели фюрера. Ущемленное национальное самолюбие, вырастающее в гордыню, мстительность; безмерные притязания, разрыв с человечеством. Все эти опасности ожидают Россию, если она отвергнет сознание своей вины и будет искать виновных вокруг себя.

Но горе чужой стране, которая взяла бы на себя дело возмездия. Если можно карать отдельных преступников, — а кто, как не Сталин имеет право на первую виселицу? — то никто не смеет взять на себя наказание целого народа. У каждого народа достаточно своих собственных грехов, демократии тоже стоят перед судом. Самозванные же судьи сами становятся преступниками.

Если в политике есть место нравственным идеям, то во всяком случае не идее возмездия. Политическая мысль смотрит вперед, а не назад. По отношению к народам, развращенным тоталитарной тиранией, единственно возможная интервенция — та, которая ставит своей целью помочь их возрождению, а не карать их грехи. В начале последней войны это сознание жило у союзников. Они заявляли, что ведут войну с Гитлером, а не с немецким народом. Но потом чувство мести за разрушаемую Англию взяло верх, и немецкому народу уже не приходилось ждать пощады. Без всякой военной необходимости уничтожены прекрасные древние города, принадлежащие всему человечеству. Немцев загнали в подземелья, где они живут как троглодиты, помышляя снова о мести. В политическом отношении к Германии всё время боролись две идеи, разрушавшие одна другую: идея «перевоспитания к демократии»

нейтрализовалась мыслью о возмездии, — всё еще вешают военных преступников на пятый год мира. В результате, настоящее Германии мрачно, будущее смутно.

Вспоминается другая победа коалиции европейских народов над народом и тираном, который был ненавидим в свое время не меньше Гитлера. Франция, конечно, была ответственна и за революцию, и за Наполеона. Но союзники забыли прошлое и дали ей хартию свободы, не слишком роскошную, но с которой она могла начать новую жизнь. Франция не помышляла о реванше, тень Наполеона преследовала только лирических поэтов, и Европа могла наслаждаться длительным миром.

Великодушие победителя дело не только его сердца, но и мудрости. Вот почему отделение народа от его преступной власти — невозможное исторически и этически — является политической необходимостью: не в порядке сущего, а должного, особенно для сторонних или даже враждебных наций.

РОССИЯ И СВОБОДА

1.

Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России. Не в том, конечно, смысле, существует ли она в СССР, — об этом могут задумываться только иностранцы, и то слишком невежественные. Но о том, возможно ли ее возрождение там после победоносной войны, мы думаем все сейчас — и искренние демократы и полуфашистские попутчики. Только прямые черносотенцы, воспитанные в разных Союзах Русского Народа, чувствуют себя счастливыми в Москве Ивана Грозного. Большинство среди апологетов московской диктатуры—вчерашние социалисты и либералы — убаюкивают свою совесть уверенностью в неизбежном и скором освобождении России. Чаемая эволюция советской власти позволяет им принимать с легким сердцем, а то и с ликованием, порабощение все новых народов Европы. Можно потерпеть несколько лет угнетения, чтобы впоследствии жить полноправными участниками самого свободного и счастливого общества в мире.

С другой стороны, прошлое России как будто не дает оснований для оптимизма. В течение многих веков Россия была самой деспотической монархией в Европе. Ее конституционный — и какой хилый! — режим длился всего одиннадцать лет; ее демократия — и то скорее в смысле провозглашения принципов, чем их осуществления — каких-нибудь восемь месяцев. Едва освободившись от царя, народ, пусть недобровольно и не без борьбы, подчинился новой тирании, по сравнению с которой царская Россия кажется раем свободы. При таких условиях можно понять иностранцев, или русских евразийцев, которые приходят к выводу, что Россия органически порождает деспотизм — или фашистскую «демотию» — из своего национального духа, или своей геополитической судьбы; более того, в деспотизме всего легче осуществляет свое историческое призвание.

Обязаны ли мы выбирать между этими крайними утвержде-

Впервые опубликовано в "Новом Журнале", № 10, Нью-Йорк, 1945.

ниями: твердой верой или твердым неверием в русскую свободу? Мы принадлежим к тем людям, которые страстно жаждут свободного и мирного завершения русской революции. Но уже давно горький опыт жизни приучил нас не смешивать своих желаний с действительностью. Не разделяя доктрины исторического детерминизма, мы допускаем возможность выбора между разными вариантами исторического пути народов. Но с другой стороны, власть прошлого, тяжелый или благодетельный груз традиций, эту свободу выбора чрезвычайно ограничивает. Ныне, когда, после революционного полета в неизвестность, Россия возвращается на свои исторические колеи, ее прошлое, более, чем это казалось вчера, чревато будущим. Не мечтая пророчествовать, можно пытаться разбирать неясные черты грядущего в тусклом зеркале истории.

2.

В настоящее время не много найдется историков, которые верили бы во всеобщие законы развития народов. С расширением нашего культурного горизонта, возобладало представление о многообразии культурных типов. В своей статье в № 8 «Нового Журнала» я старался показать, что лишь один из них — христианский, западно-европейский — породил в своих недрах свободу в современном смысле слова — в том смысле, в котором она сейчас угрожает исчезнуть из мира. Не буду возвращаться к этой теме. Сегодня нас интересует Россия. Ответить на вопрос о судьбе свободы в России почти то же, что решить, принадлежит ли Россия к кругу народов западной культуры; до такой степени понятие этой культуры и свободы совпадают в своем об'еме. Если не Запад, — то значит Восток? Или нечто совсем особое, отличное от Запада и Востока? Если же Восток, то в каком смысле Восток?

Восток, о котором идет речь всегда, когда его противополагают Западу, есть преемство передне-азиатских культур, идущих непрерывно от Сумеро-Аккадской древности до современного Ислама. Древние греки боролись с ним, как с Персией, побеждали его, но и отступали перед ним духовно, пока, в эпоху Византии, не подчинились ему. Западное средневековье сражалось с ним и училось у него в лице арабов. Русь имела дело сперва с иранскими, потом с (тюркскими) татарскими окраинами того же Востока, который в то же самое время не только влиял, но и прямо воспитывал ее в лице Византии. Русь знала

Восток в двух обличиях: «поганом» (языческом) и православном. Но Русь создалась на периферии двух культурных миров: Востока и Запада. Ее отношения с ними складывались весьма сложно: в борьбе на оба фронта, против «латинства» и против «поганства», она искала союзников то в том, то в другом. Если она утверждала свое своеобразие, то чаще подразумевая под ним свое православно-византийское наследие; но последнее тоже было сложным. Византийское православие было, конечно, ориентализированным христианством, но прежде всего оно было христианством; кроме того, с этим христианством связана изрядная доля греко-римской традиции. И религия и эта традиция роднили Русь с христианским Западом даже тогда, когда она не хотела и слышать об этом родстве.

В тысячелетней истории России явственно различаются четыре формы развития основной русской темы: Запад — Восток. Сперва в Киеве мы видим Русь свободно воспринимающей культурные воздействия Византии, Запада и Востока. Время монгольского ига есть время искусственной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком (Литва и Орда). Москва представляется государством и обществом существенно восточного типа, который однакоже скоро (в 17 веке) начинает искать сближения с Западом. Новая эпоха — от Петра до Ленина — представляет, разумеется, торжество западной цивилизации на территории Российской Империи.

В настоящей статье мы рассматриваем лишь один аспект этой западно-восточной темы: судьбу свободы в древней Руси, в России и в СССР.

3.

В Киевскую эпоху Русь имела все предпосылки, из которых на Западе в те времена всходили первые побеги свободы. Ее церковь была независима от государства, и государство, полу-феодального типа — иного, чем на Западе — было так же децентрализовано, так же лишено суверенитета.

Христианство пришло к нам из Византии и, казалось бы, византинизм во всех смыслах, в том числе и политическом, был уготован как естественная форма молодой русской нации. Но византинизм есть тоталитарная культура, с сакральным характером государственной власти, крепко держащей церковь в своей не слишком мягкой опеке. Византинизм исключает всякую возможность зарождения свободы в своих недрах.

К счастью, византинизм не мог воплотиться в киевском обществе, где для него отсутствовали все социальные предпосылки. Здесь не было не только императора (царя), но и короля (или даже великого князя), который мог бы притязать на власть над церковью. Церковь и на Руси имела своего царя, своего помазанника, но этот царь жил в Константинополе. Его имя было для восточных славян идеальным символом единства православного мира, — не больше. Сами греки-митрополиты, подданные Византии, менее всего думали о перенесении на князей варварских народов высокого царского достоинства. Царь — император — один во всей вселенной. Вот почему церковная проповедь богоустановленности власти еще не сообщала ей ни сакрального, ни абсолютного характера. Церковь не смешивалась с государством и стояла высоко над ним. Поэтому она могла требовать у носителей княжеской власти подчинения некоторым идеальным началам не только в личной, но и в политической жизни: верности договорам, миролюбия, справедливости. Преп. Феодосий бесстрашно обличал князя узурпатора, а митр. Никифор мог заявлять князьям: «Мы поставлены от Бога унимать вас от кровопролития».

Эта свобода церкви была возможна прежде всего потому, что русская церковь не была еще национальной, «автокефальной», но сознавала себя частью греческой церкви. Ее верховный иерарх жил в Константинополе, недоступный для покушений местных князей. Перед вселенским патриархом смирялся и Андрей Боголюбский.

Важно, конечно, и другое. Древне-русский князь не воплощал полноты власти. Он должен был делить ее и с боярством, и с дружиной, и с вечем. Менее всего он мог считать себя хозяином своей земли. К тому же он и менял ее слишком часто. При таких условиях оказалось возможным даже создание в Новгороде единственной в своем роде православной демократии. С точки зрения свободы, существенно не верховенство народного собрания. Само по себе вече, ничуть не более князя, обеспечивало свободу личности. На своих мятежных сходках оно подчас своевольно и капризно расправлялось и с жизнью и с собственностью сограждан. Но само разделение властей, идущее в Новгороде далее, чем где-либо, между князем, «господой», вечем и «владыкой», давало здесь больше возможностей личной свободы. Оттого такой вольной рисуется нам, сквозь дымку столетий, жизнь в древнем русском народоправстве.

В течение всех этих веков Русь жила общей жизнью, хотя

скоро и разделенная религиозно, с восточной окраиной «латинского» мира: Польша, Венгрия, Чехия и Германия, Скандинавские страны далеко не всегда враги, но часто союзники, родичи русских князей — особенно в Галиче и Новгороде. Основное христианское и культурное единство их с восточным славянством не забыто. Восток же обернулся своим хищным лицом: кочевники-тюрки, не культурные иранцы соседят с Русью, опустошают ее пределы, вызывают напряжение всех политических сил для обороны. Восток не соблазняет ни культурой, ни государственной организацией. Церковь не устает проповедывать необходимость общей борьбы против «поганых», и здесь ее голоса слушались охотнее, нежели предупреждений против латинян, исходящих от греческой иерархии.

Словом, в Киевской Руси, по сравнению с Западом, мы видим не менее благоприятные условия для развития личной и политической свободы. Ее побеги не получили юридического закрепления, подобного западным привилегиям. Слабость юридического развития Руси факт несомненный. Но в Новгороде имело место и формальное ограничение княжеской власти в форме присяги. Традиция под именем «отчины» и «пошлины» в средние века была лучшей охраной личных прав. Несчастье Руси было в другом, прямо обратном: в недостаточном развитии государственных начал, в отсутствии единства. Едва ли можно и говорить об удельной Руси как о едином государстве. Это было династическое и церковное об'единение — политически столь слабое, что оно не выдержало исторического испытания. Свободная Русь стала на века рабой и данницей монголов.

Двухвековое татарское иго еще не было концом русской свободы. Свобода погибла лишь после освобождения от татар. Лишь московский царь, как преемник ханов, мог покончить со всеми общественными силами, ограничивающими самовластие. В течение двух и более столетий северная Русь, разоряемая и унижаемая татарами, продолжала жить своим древним бытом, сохраняя свободу в местном масштабе и, во всяком случае, свободу в своем политическом самосознании. Новгородская демократия занимала территорию большей половины восточной Руси. В удельных княжествах церковь и боярство, если не вече, уже замолкшее, разделяли с князем ответственность за судьбу земли. Князь по-прежнему должен был слушать уроки политической морали от епископов и старцев, и прислушиваться к голосу старшего боярства. Политический иммрализм, результат чужеземного корыстного владычества, не

успел развратить всего общества, которое в своей культуре приобретает даже особую духовную окрыленность. Пятнадцатый век — золотой век русского искусства и русской святости. Даже «Измарагды» и другие сборники этого времени отличаются своей религиозной и нравственной свободой от московских и византийских Домостроев.

Есть одна область средневековой Руси, где влияние татарства ощущается сильнее — сперва почти точка на карте, потом все расплывающееся пятно, которое за два столетия покрывает всю восточную Русь. Это Москва, «собирательница» земли русской. Обязанная своим возвышением прежде всего татарофильской и предательской политике своих первых князей, Москва, благодаря ей, обеспечивает мир и безопасность своей территории, привлекает этим рабочее население и переманивает к себе митрополитов. Благословение церкви, теперь национализирующейся, освящает успехи сомнительной дипломатии. Митрополиты, из русских людей и подданных московского князя, начинают отожествлять свое служение с интересами московской политики. Церковь еще стоит над государством, она ведет государство, в лице м. Алексия (наш Ришелье) управляя им. Национальное освобождение уже не за горами. Чтобы ускорить его, готовы с легким сердцем жертвовать элементарной справедливостью и завещанными из древности основами христианского общежития. Захваты территорий, вероломные аресты князей-соперников совершаются при поддержке церковных угроз и интердиктов. В самой московской земле вводятся татарские порядки в управлении, суде, сборе дани. Не извне, а изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, проникала в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политическим падением Орды. В XV веке тысячи крещеных и некрещеных татар шли на службу к московскому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражая его восточными понятиями и степным бытом.

Само собирание уделов совершалось восточными методами, не похожими на одновременный процесс ликвидации западного феодализма. Снимался весь верхний слой населения и уводился в Москву, заменяясь пришлыми и чужими людьми. Без остатка выкорчевывались все местные особенности и традиции — с таким успехом, что в памяти народной уже не сохранилось героических легенд прошлого. Кто из тверичей, рязанцев, нижегородцев в XIX веке помнил имена древних князей, погребенных в местных соборах, слышал об их подвигах, о которых

мог бы прочитать на страницах Карамзина? Древние княжества русской земли жили разве в насмешливых и унизительных прозвищах, даваемых друг другу. Малые родины потеряли всякий исторический колорит, который так красит их везде во Франции, Германии и Англии. Русь становилась сплошной Московией, однообразной территорией централизированной власти: естественная предпосылка для деспотизма.

Но старая Русь не сдалась Московии без борьбы. Большая часть XVI столетия заполнена шумными спорами и залита кровью побежденных. «Заволжские старцы» и княжое боярство пытались защищать духовную и аристократическую свободу против православного ханства. Русская церковь раскололась между служителями царства Божия и строителями московского царства. Победили осифляне и опричники. Торжество партии Иосифа Волоцкого над учениками Нила Сорского привело к окостенению духовной жизни. Победа опричнины, нового «демократического» служилого класса над родовой знатью означало варваризацию правящего слоя, рост холопского самосознания в его среде и даже усиление экспоатации трудового населения. Побежденные принадлежали несомненно к уходящим, к отвергнутым жизнью слоям. Это была реакция — совести и свободы. В данную эпоху «прогресс» был на стороне рабства. Этого достаточно, чтобы прельстит гегельянцев — Соловьевых и прочих попутчиков истории. Но разве не позволительно остановиться на одном из поворотных моментов русской жизни и спросить себя: что было бы, если бы «ближней раде» Адашевых, Сильвестров и Курбских, опираясь на земский собор, удалось начать эру русского представительного строя? Этого не случилось. Князь Курбский, этот Герцен XVI столетия, с горстью русских людей, бежавших из московской тюрьмы, спасали в Литве своим пером, своей культурной работой честь русского имени. Народ был не с ними. Народ не поддержал боярства и возлюбил Грозного. Причины ясны. Они всегда одни и те же, когда народ поддерживает деспотизм против свободы — при Августе и в наши дни: социальная рознь и национальная гордость. Народ имел, конечно, основания тяготиться зависимостью от старых господ, — и не думал, что власть новых опричных дворян несет ему крепостное право. И уж, наверное, он был заворожен зрелищем татарских царств, падающих одно за другим перед царем московским. Русь, вчерашняя данница татар, перерождалась в великую восточную державу:

А наш белый царь над царями царь,
Ему орды все подклонилися.

4.

Московское самодержавие, при всей своей видимой цельности, было явлением очень сложного происхождения. Московский государь, как князь Московский, был вотчинником, «хозяином земли русской» (так называли еще Николая II). Но он же был преемником и ханов-завоевателей и императоров Византийских. Царями называли на Руси и тех, и других. Это слияние разнородных идей и средств власти создавало деспотизм, если не единственный, то редкий в истории. Византийский император в принципе магистрат, добровольно подчиняющийся своим собственным законам. Он, хотя и без всяких оснований, гордился тем, что царствует над свободными, и любил противополагать себя тиранам. Московский царь хотел царствовать над рабами и не чувствовал себя связанным законом. Как говорил Грозный, «жаловать есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же». С другой стороны, восточный деспот, не связанный законом, связан традицией, особенно религиозной. В Москве Иван IV и впоследствии Петр показали, как мало традиция ограничивает самовластие московского царя. Церковь, которая больше всего содействовала росту и успехам царской власти, первая за это поплатилась. Митрополиты, назначаемые фактически царем, им же и свергались с величайшей легкостью. Один из них, если не два, были убиты по приказу Грозного. И в чисто церковных делах, как показала Никоновская реформа, воля царя была решающей. Когда он пожелал уничтожить патриаршество и ввести в русской церкви протестантский синод, и это сошло для него безнаказанно.

Все сословия были прикреплены к государству службой или тяглом. Человек свободной профессии был явлением немыслимым в Москве — если не считать разбойников. Древняя Русь знала свободных купцов и ремесленников. Теперь все посадские люди были обязаны государству натуральными повинностями, жили в принудительной организации, перебрасываемые с места на место в зависимости от государственных нужд. Крепостная неволя крестьянства на Руси сделалась повсеместной в то самое время, когда она отмирала на Западе, и не переставала отягощаться до конца XVIII столетия, превратившись в чистое рабство. Весь процесс исторического

развития на Руси стал обратным западно-европейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием: создания империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разростающееся государство. Есть основания думать, что народ в 16-17 веках лучше понимал нужды и общее положение государства, чем в 18-19. Сознательно или бессознательно, он сделал свой выбор между национальным могуществом и свободой. Поэтому он несет ответственность за свою судьбу.

В татарской школе, на московской службе выковался особый тип русского человека — московский тип, исторически самый крепкий и устойчивый из всех сменяющихся образов русского национального лица. Этот тип, психологически, представляет сплав северного великоросса с кочевым степняком, отлитый в формы осифлянского православия. Что поражает в нем прежде всего, особенно по сравнению с русскими людьми 19 века, это его крепость, выносливость, необычайная сила сопротивляемости. Без громких военных подвигов, даже без всякого воинского духа — в Москве угасла киевская поэзия военной доблести, — одним нечеловеческим трудом, выдержкой, более потом, чем кровью, создал москвитянин свою чудовищную империю. В этом пассивном героизме, неисчерпаемой способности к жертвам была всегда главная сила русского солдата — до последних дней империи. Мировоззрение русского человека упростилось до крайности; даже по сравнению со средневековьем — москвич примитивен. Он не рассуждает, он принимает на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть нечто для него более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость узаконенных жестов, поклонов, словесных формул связывает живую жизнь, не дает ей расползаться в хаос, сообщает ей даже красоту оформленного быта. Ибо московский человек, как русский человек во всех своих перевоплощениях, не лишен эстетики. Только теперь его эстетика тяжелеет. Красота становится благолепием, дебелость идеалом женской прелести. Христианство, с искоренением мистических течений «Заволжья», превращается все более в религию священной материи: икон, мощей, святой воды, ладана, просвир и куличей. Диететика питания становится в центре религиозной жизни. Это ритуализм, но ритуализм страшно

требовательный и моральное эффективный. В своем обряде, как еврей в законе, москвич находит опору для жертвенного подвига. Обряд служит для конденсации моральных и социальных энергий.

В Московии моральная сила, как и эстетика, является в аспекте тяжести. Тяжесть сама по себе нейтральна — и эстетически, и этически. Тяжел Толстой, легок Пушкин. Киев был легок, тяжела Москва. Но в ней моральная тяжесть принимает черты антихристианские: беспощадности к падшим и раздавленным, жестокости к ослабевшим и провинившимся. «Москва слезам не верит». В 17 веке неверных жен зарывают в землю, фальшивомонетчикам заливают горло свинцом. В ту пору и на западе уголовное право достигло пределов бесчеловечия. Но там это было обусловлено антихристианским духом Возрождения; на Руси — бесчеловечием византийско-осифлянского идеала.

Ясно, что в этом мире не могло быть места свободе. Послушание в школе Иосифа было высшей монашеской добродетелью. Отсюда его распространение через Домострой в жизнь мирянского общества. Свобода для москвича — понятие отрицательное: синоним распущенности, «ненаказанности», безобразия.

Ну, а как же «воля», о которой мечтает и поет народ, на которую откликается каждое русское сердце? Слово «свобода» до сих пор кажется переводом французского liberté. Но никто не может оспаривать русскости «воли». Тем необходимее отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха.

Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная не мыслима без уважения к чужой свободе; воля всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник — это идеал московской воли, как Грозный идеал царя. Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культе пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвения страсти, — разбойничества, бунта и тирании.

Есть одно поразительное явление в Москве 17 века. Народ обожает царя. Нет и намека на политическую оппозицию ему, на стремление участвовать во власти или избавиться от власти

царя. И в то же время, начиная от смуты и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум народных — казацких — стрелецких — бунтов. Восстание Разина потрясло до основания все царство. Эти бунты показывают, что тягота государственного бремени была непосильна: в частности, что крестьянство не примирилось — и никогда не примирялось — с крепостной неволей. Когда терпеть становится не в мочь, когда «чаша народного горя с краями полна», тогда народ разгибает спину: бьет, грабит, мстит своим притеснителям — пока сердце не отойдет; злоба утихнет, и вчерашний «вор» сам протягивает руки царским приставам: вяжите меня. Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. Как в Лесковском рассказе «Чертогон» суровый, патриархальный купец должен раз в году перебеситься, «выгнать черта» в диком разгуле, так московский народ раз в столетие справляет свой праздник «дикой воли», после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина.

Не трудно видеть, что произошло бы в случае победы Разина или Пугачева. Старое боярство, или дворянство было бы истреблено; новая казачья опричнина заняла бы его место; С. М. Соловьев и С. Ф. Платонов назвали бы это вторичной демократизацией правящего класса. Положение крепостного народа ничуть не изменилось бы, как не изменилось бы и положение царя с переменой династии. Ведь, и Романовы вступили на престол при поддержке казаков и тушинцев. Крепостничество вызывалось государственными нуждами, а государственные инстинкты смутно жили и в казачестве. Народ мог только переменить царя, но не ограничить его. Больше того, он не пожелал воспользоваться самоуправлением, которое предлагал ему сам царь, и испытывал, как лишнее бремя, участие в земских соборах, которые могли бы, при ином отношении народа к государственному делу, сделаться зерном русских представительных учреждений. Нет, государство — дело царское, а не народное. Царю вся полнота власти, а боярам, придет пора, отольются народные слезы.

Если где и теплилась в Москве потребность в свободе, то уж, конечно, в этом самом ненавистном боярстве. Не взирая на погром времен Грозного, эти вольнолюбивые настроения нашли свой выход в попытках конституционных ограничений власти царя Василия, Владислава, Михаила. Боярство стре-

милось обеспечить себя от царской опалы и казни без вины — habeas corpus. И цари присягали, целовали крест. Не поддержал народ, видевший в царских опалах свою единственную защиту — или месть, — и первая русская конституция оказалась подлинной пропавшей грамотой.

Москва не просто двухвековой эпизод русской истории — окончившийся с Петром. Для народных масс, оставшихся чуждыми европейской культуре, московский быт затянулся до самого освобождения (1861 г.). Не нужно забывать, что и купечество, и духовенство жили и в 19 веке этим московским бытом. С другой стороны, в эпоху своего весьма бурного существования, московское царство выработало необычайное единство культуры, отсутствовавшее и в Киеве, и в Петербурге. От царского дворца до последней курной избы московская Русь жила одним и тем же культурным содержанием, одними идеалами. Различия были только количественные. Та же вера и те же предрассудки, тот же Домострой, те же апокрифы, те же нравы, обычаи, речь и жесты. Нет не только грани между христианством и язычеством (Киев) или между Западной и Византийской традицией (Петербург), но даже между просвещенной и грубой верой. Вот это единство культуры и сообщает московскому типу его необычайную устойчивость. Для многих он кажется даже символом русскости. Во всяком случае он пережил не только Петра, но и расцвет русского европеизма; в глубине народных масс он сохранился до самой революции.

5.

Стало давно трюизмом, что со времени Петра Россия жила в двух культурных этажах. Резкая грань отделяла тонкий верхний слой, живущий западной культурой, от народных масс, оставшихся духовно и социально в Московии. К народу принадлежало не только крепостное крестьянство, но все торгово-промышленное население России, мещане, купцы, и, с известными оговорками, духовенство. В отличие от неизбежных культурных градаций между классами на Западе, как и во всяком диффенцированном обществе, в России различия были качественные, а не количественные. Две разные культуры сожительствовали в России 18 века. Одна представляла варваризированный пережиток Византии, другая ученическое усвоение европеизма. Выше классовой розни между дворянством и крестьянством была стена непонимания между интеллигенцией и

народом, не срытая до самого конца. Некогда могло казаться, что этот дуализм, или даже самое существование интеллигенции, как особой культурной категории, есть неповторимое, чисто русское явление. Теперь, на наших глазах, с европеизацией Индии, Китая, мы видим, что то же явление происходит повсюду на стыке двух древних и мощных культур. Взгляд на Россию с Востока, или, что то же самое, глазами западного человека, который видит в ней «Скифию», необходимая предпосылка для понимания Империи. Но, признав это, сейчас же следует сказать: поразительна та легкость, с которой русские скифы усваивали чуждое им просвещение. Усваивали не только пассивно, но и активно-творчески. На Петра немедленно ответили Ломоносовым, на Растрелли — Захаровым, Воронихиным; через полтораста лет после петровского переворота — срок небольшой — блестящим развитием русской науки. Поразительно то, что в искусстве слова, в самом глубоком и интимном из созданий национального гения (впрочем то же и в музыке) Россия дала всю свою меру лишь в 19 веке. Погибни она, как нация, еще в эпоху наполеоновских войн, и мир никогда бы не узнал, что он потерял с Россией.

Этот необычайный расцвет русской культуры в новое время оказался возможным лишь благодаря прививке к русскому дичку западной культуры. Но это само по себе показывает, что между Россией и Западом было известное сродство; иначе чуждая стихия искалечила бы и погубила национальную жизнь. Уродств и деформаций было не мало. Но из галлицизмов 18 века вырос Пушкин; из варварства 60-х годов — Толстой, Мусоргский и Ключевский. Значит, за ориентализмом московского типа лежали нетронутыми древние пласты киево-новгородской Руси, и в них легко и свободно совершался обмен духовных веществ с христианским Западом. Могло ли быть иначе? Кто из нас, даже сейчас, может равнодушно перелистывать страницы киевской летописи, у кого не проходит холодок по спине от иных строк вечного «Слова о полку Игореве»?

Вместе с культурой, с наукой, с новым бытом с Запада приходит и свобода. И при этом в двух формах: в виде фактического раскрепощения быта и в виде политического освободительного движения.

Мы обычно недостаточно ценим ту бытовую свободу, которой русское общество пользовалось уже с Петра, и которая позволяла ему долгое время не замечать отсутствия свободы политической. Еще царь Петр сажал своих врагов на кол, еще

бироновские палачи вздергивали на дыбу всех заподозренных в антинемецких чувствах, а во дворце, на царских пирах и ассамблеях устанавливался новый советский тип обхождения, почти уравнивающий вчерашнего холопа с его повелителем. Петербургский двор хотел равняться на Потсдам и Версаль, и вчерашний царь московский, наследник ханов и василевсов, чувствовал себя европейским государем, — абсолютным, как большинство государей Запада, но связанным новым кодексом морали и приличий. Мы как-то не отдавали себе отчета в том, почему русский император, который имел полное «божественное» право казнить без суда и без вины, жечь или сечь любого из своих подданных, отнять его состояние, его жену, не пользовался этим правом. Да и невозможно себе представить, чтобы он им воспользовался — даже самый деспотический из Романовых, как Павел или Николай I. Русский народ, вероятно, стерпел бы, как терпел он при Иване IV и Петре I — может-быть, по-прежнему находил бы удовольствие в казнях ненавистных господ; были же попытки народной канонизации Павла. Но Петербургский император постоянно оглядывался на своих немецких кузенов; он был воспитан в их идеях и традициях. Если народ кланялся ему в ноги или лез целовать его сапоги, ему это, вероятно, не доставляло никакого удовольствия. Если же он забывался, увлекаясь соблазном самовластия, дворянство напоминало ему о необходимости приличного обращения. Дворянство, возводя на трон одних государей и убивая других, добилось того, что император стал называть себя первым дворянином.

Агенты власти, сами принадлежа к тому же кругу, следовали примеру свыше. Дворянин был свободен по закону от телесных наказаний; по жизненному, неписанному уставу он был свободен и от личных оскорблений. Его могли сослать в Сибирь, но не могли ударить или обругать. Дворянин развивает в себе чувство личной чести, совершенно отличное от московского понятия родовой чести и восходящее к средневековому рыцарству.

Указ о «вольности дворянства» освободил его и от обязательной службы государству. Отныне он может посвящать свои досуги литературе, искусству, науке. Его участие в этих профессиях освобождает и их; они, действительно, становятся свободными профессиями — и тогда, когда пополняются плебеями, разночинцами, преимущественно из духовного сословия. Из дворянского ядра вырастает русская интеллигенция — до конца связанная с этим сословием своими добродетелями и

пороками. Россия (кроме Китая) была единственной страной, в которой дворянство давалось образованием. Окончание средней, и даже полу-средней, школы превращало человека из мужика в барина, — т. е. в свободного, защищало до известной степени его личность от произвола властей, гарантировало ему вежливое обращение и в участке, и в тюрьме. Городовой отдавал честь студенту, которого мог избивать лишь в особо-редкие дни — бунтов. Эта бытовая свобода в России была, конечно, привилегией, как везде в начальную пору свободы. То был остров петербургской России среди московского моря. Но этот остров беспрерывно расширялся, особенно после освобождения крестьян. Его населяли тысячи в 18 веке, миллионы в начале 20-го. В сущности эта бытовая свобода была самым реальным и значительным культурным завоеванием Империи, и это завоевание было явным плодом европеизации. Оно совершалось при постоянном и упорном противодействии «темного царства», т. е. старой Московской Руси.

Гораздо печальнее была судьба политической свободы. Она виделась столь близкой и осуществимой в 18, особенно в начале 19 века. Потом она стала отдаляться, и казалась уже химерой, «бессмысленными мечтаниями» при Александре III и даже Николае II. Она пришла слишком поздно; когда авторитет монархии был подорван во всех классах нации, а еще углубившаяся классовая рознь делала необычайно трудным перестройку государства на демократических началах.

Носителем политического либерализма у нас долго, едва ли не до самого 1905 года, было дворянство. Вопреки марксистской схеме, не буржуазия была застрельщицей освобождения: оставшись культурно в допетровской Руси, она была главной опорой реакции; вплоть до появления, в конце 19 века, нового типа, европейски-образованного фабриканта и банковского деятеля. Но дворянство, если не в массе своей, косной и мало-культурной, то в европейски-образованных верхушках, долгое время одно представляло в России свободолюбие. Более того, в течение всего 18 века и в начале 19, русские конституционалисты — почти исключительно вельможи: члены Верховного Тайного Совета при Анне, граф Панин при Екатерине, при Александре — Мордвинов, Сперанский, кружок интимных друзей императора. Долгое время Швеция со своей аристократической конституцией вдохновляла русскую знать; потом пришла пора французских и английских политических идей. Если бы вся Европа в 18 веке жила в форме конституционной монархии, то весьма вероятно, что и Россия заимствовала бы

ее, вместе с остальным реквизитом культуры. После французской революции это стало затруднительным. Европейский политический ветер подул реакцией, да и русские императоры не имели охоты всходить на эшафот, повторяя европейские жесты.

Но пересадка политических учреждений — конечно, возможная (ср. Турцию и Японию), гораздо труднее и опаснее, чем заимствование наук и искусств. Это показал неудачный «замысел верховников». Анализ событий 1730 года показывает, во-первых, что большинство столичного дворянства желало ограничения самодержавия; во-вторых, что оно недостаточно этого желало, чтобы преодолеть свою собственную неорганизованность и рознь. В итоге предпочли привилегиям верховников общее равенство беесправия. Таков смысл событий 1730 года, и он весьма пахнет Московией. Шляхетство того времени, в сущности, разделяет крестьянскую подозрительность к свободе господ. Вместо того, чтобы утвердить ее для немногих (для вельмож) и потом бороться за ее расширение на все сословие, в пределе на всю нацию, — единственно возможный исторический путь, — предпочитают рабство для всех. Так велика власть Москвы даже в сознании культурных, или полукультурных потомков опричного дворянства.

Весь драматизм российской политической ситуации выражается в следующей формуле: политическая свобода в России может быть только привилегией дворянства и европеизированных слоев (интеллигенции). Народ в ней не нуждается, более того, ее боится, ибо видит в самодержавии лучшую защиту от притеснений господ. Освобождение крестьян, само по себе, не решало вопроса, ибо миллионы безграмотных, живущих в средневековом быте и сознании граждан не могли строить новую европеизированную Россию. Их политическая воля, будь она только выражена, привела бы к ликвидации Петербурга (школ, больниц, агрономии, фабрик, и т. п.) и к возвращению в Москву: т. е., теперь уже к превращению России в колонию иностранцев. Сговор монархии с дворянством представлял единственную возможность ограниченной политической свободы. Французская революция с ее политическим отражением 14 декабря 1825 г. — делала этот сговор невозможным. Оставалось управлять Россией с помощью бюрократии, которая и становится новой силой, по идеям Сперанского, при Николае I.

Со времени декабристов, отчасти еще в их поколении, освободительные идеи усваиваются и развиваются людьми,

оттиснутыми или добровольно отошедшими от государственной деятельности. Это совершенно меняет их характер: из практических программ они становятся идеологиями. С 30-х годов они выращиваются в теплицах немецкой философии, потом естественных и экономических наук. Но источник их неизменно западный; русский либерализм, как и социализм, имеет свои духовные корни в Европе: или в английской политической традиции, или во французской идеологии — теперь уже Франции 40-х годов — или в марксизме. Русский социализм уже с Герцена может окрашиваться в цвета русской общины или артели, он остается европейским по основам своего миросозерцания. Либерализму эта национальная мимикрия совсем не удалась.

Есть два кажущихся исключения. Славянофильство 40-х годов было, несомненно, движением либеральным и претендовало быть национально-почвенным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что источник его свободолюбия все в той же Германии, а русское прошлое ему плохо известно; русские учреждения (земский собор, община) идеализированы и имеют мало общего с действительностью. Не удивительно, что, пустив корни в России, славянофильство скоро утратило свое либеральное содержание. Когда же оно победило и взошло на трон в лице Александра III (с Победоносцевым), оно оказалось реакционным тупиком, в явно московском направлении.

В 60-х годах одно довольно широкое, но политически не оформленное течение (не-нигилисты) носит определенную национальную окраску. Я имею в виду молодую русскую этнографию, сливающуюся с народничеством, историков типа Костомарова, Пыпина, Щапова, Аристова; к ним примыкает кружок национальных композиторов — прежде всего, конечно, Мусоргский — и передвижники в живописи: Репин и Суриков. Одни их них, как Костомаров, правильно ищут русских корней свободы в далеком, замосковском прошлом. К сожалению, они не приобрели большого влияния в русском обществе. Костомаров защищал побежденных (Новгород, феодальную Русь). Русская интеллигенция предпочла усвоить московскую историческую традицию митрополита Макария и Степенной Книги, пропущенную сквозь Гегеля. С необычайной легкостью, без ощущения всего трагизма русской истории, она вслед за Соловьевым и Ключевским — приняла, как нечто нормальное (вроде европейского абсолютизма), московско-татарское поглощение Руси, с непонятным оптимизмом ожидая всходов западной свободы на этой почве. Другие из радикалов увле-

кались стихией бунта, открывая ее в косной тяжести Москвы. С тех пор студенчество не перестает петь разбойничьи песни, и «Дубинушка» делается чуть ли не русским национальным гимном. Но мы видели, как мало общего разбойная воля имеет со свободой. Мусоргский, Суриков, идеализация казачества, раскола и разинщины, несомненно воодушевляли революционную армию. Однако, если бы эта идеология направила революцию, она сообщила бы ей национально-черносотенный характер.

60-ые годы, сделавшие так много для раскрепощения России, нанесли политическому освободительному движению тяжелый удар. Они направили значительную, и самую энергичную часть его — все революционное движение — по антилиберальному руслу. Разночинцы, которые начинают вливаться широкой волной в дворянскую интеллигенцию, не находят политическую свободу достаточно привлекательным идеалом. Они желают революции, которая немедленно осуществила бы в России всеобщее равенство — хотя бы ценой уничтожения привилегированных классов (знаменитые 3 миллиона голов). Против дворянского либерализма — даже либерального социализма Герцена — они начинают ожесточенную борьбу. Раннее народничество 60-70-х годов считает даже вредной конституцию в России, как укрепляющую позиции буржуазных классов. Многое можно привести в об'яснение этой поразительной аберрации: погоню за последним криком западной политической моды, чрезвычайный примитивизм мысли, оторванной от действительности, максимализм, свойственный русской мечтательности. Но есть один, более серьезный и роковой мотив, уже знакомый нам. Разночинцы стояли ближе к народу, чем либералы. Они знали, что народу свобода не говорит ничего; что его легче поднять против бар, чем против царя. Впрочем, их собственное сердце билось в такт с народом; равенство говорило им больше свободы. Конечно, и здесь сказалось все то же московское наследие.

Потом они поумнели. Уже народовольцы признали борьбу за политическое освобождение. В конце века обе господствующие социалистические партии недвусмысленно ведут борьбу за демократию. Правда, марксизм пснимал свободу инструментально, как средство в борьбе за диктатуру пролетариата: вскрывая «буржуазную подоплеку» освободительного движения, он унижал и обессмысливал свободу в глазах неискушенных в тактических тонкостях масс. Но здесь уже веял не старый «русский дух», а новый западный душок, — или сквозняк,

который дул от утопического коммунизма сороковых годов в еще неведомое и негаданное царство фашизма.

И все же пятидесятилетие, протекшее со времени Освобождения, изменило весь лик России. Интеллигенция выросла в десятки, в сотни раз. Уже ей навстречу поднималась новая рабоче-крестьянская интеллигенция, которая, случалось, выносила на гребне волны такие яркие имена русской культуры, как Максим Горький и Шаляпин. В 1905 году, казалось, исчезла вековая грань между народом и интеллигенцией: народ, утратив веру в царя, доверил интеллигенции водительство в борьбе за свободу. Переход дворянства в лагерь реакции искупался развитием новой либеральной буржуазии. Старое земство, великолепная школа свободной общественности, работало превосходно, в ожидании своей демократизации. Профессиональное и кооперативное движение воспитывало общественно трудовую демократию. Народная школа, уже выработавшая план всеобщего обучения — быстро разлагала московскую формацию поверхностным просвещением. Уже любителям русского фольклора приходилось ездить за остатками его на Печору. Еще 50 лет, и окончательная европеизация России — вплоть до самых глубоких слоев ее — стала бы фактом. Могло ли быть иначе? Ведь «народ» ее был из того же самого этнографического и культурного теста, что и дворянство, с успехом проходившее ту же школу в 18 веке. Только этих пятидесяти лет России не было дано.

Первое прикосновение московской души к западной культуре почти всегда скидывается нигилизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, потерявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и социальной этики. О хулиганстве в деревне заговорили с началом столетия. Учитель делается первым об'ектом дерзких шуток, интеллигенция как класс — об'ектом ненависти. После крушения революции 1905 года — и слишком поспешного отхода от народа ведущих слоев русской культуры — намечается новая рознь. В своих, почти пророческих, статьях Блок слушал наростающий гул народной ненависти, грозившей поглотить блестящую, но хрупкую нашу культуру. Порою тот или иной выходец из новой народной интеллигенции (Карпов в своей книге «Пламя») бросал страстный вызов старой «буржуазной» интеллигенции, с которой он не успел еще слиться, как слились (или почти слились) Горький или Шаляпин. В этой перспективе все новейшее развитие России представляется опасным бегом на скорость: что упредит —

освободительная европеизация или московский бунт, который затопит и смоет молодую свободу волной народного гнева?

Читая Блока, мы чувствуем, что России грозит не революция просто, а революция черносотенная. Здесь, на пороге катастрофы стоит вглядеться в эту последнюю, антилиберальную реакцию Москвы, которая сама себя назвала по-московски Черной Сотней. В свое время недооценили это политическое образование, из-за варварства и дикости ее идеологии и политических средств. В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но, ведь, с ним было связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадский, и царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам. Наконец, есть основание полагать, что его идеи победили в ходе русской революции, и что, пожалуй, оно переживет нас всех.

За православием и самодержавием, т. е. за московским символом веры легко различаются две основные тенденции: острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам — евреям, полякам, немцам и т. д., и столь же острая ненависть к интеллигенции, в самом широком смысле слова, об'единяющем все высшие классы России. Ненависть к западному просвещению сливалась с классовой ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику — ко всему средостению между царем и народом. Самый термин «Черная Сотня» взят из московского словаря, где он означает организацию (гильдию) низового, беднейшего торгового класса; для московского уха он должен был звучать, как для Токвиля «демократия». Словом, черная сотня есть русское издание или первый русский вариант национал-социализма. При фанатической ненависти, при насильственности действий, принимавших легко характер погрома и бунта, движение таило в себе потенции разинщины. Власть, дворянство вскармливали его — но на свою голову. Губернатор не всегда мог справиться с ним, и пример Илиодора в Царицыне показывает, как легко черносотенный демагог становится демагогом революционным. Не мешает остановиться на этой неприглядной реакции побежденной Москвы в те роковые годы, когда не даром вспомнили старое пророчество: Петербургу быть пусту.

6.

Русская революция, за 28 лет ее победоносного, хоть и тяжкого бытия, пережила огромную эволюцию, проделала не

мало зигзагов, сменила не мало вождей. Но одно в ней осталось неизменным: постоянное, из года в год, умаление и удушение свободы. Казалось, что дальше Ленинской тоталитарной диктатуры итти некуда. Но при Ленине меньшевики вели легальную борьбу в советах, существовала свобода политической дискуссии в партии, литература, искусство мало страдали. Об этом так странно вспоминать теперь. Дело не в том, конечно, что Ленин, в отличие от Сталина, был другом свободы. Но для человека, дышавшего воздухом 19 века, хотя и в меньшей степени, чем для русского самодержца, существовали какие-то неписанные границы деспотизма: хотя бы в виде привычек, стеснений, ингибиций. Их приходилось преодолевать шаг за шагом. Так и до сих пор, в тоталитарных режимах, введя пытку, еще не дошли до квалифицированных публичных казней. Иностранцы, посещающие Россию через промежуток нескольких лет, отмечали сгущение неволи в последних убежищах вольного творчества — в театре, в музыке, в синематографе. В то время, как русская эмиграция ликовала по поводу национального перерождения большевиков, Россия переживала один из самых страшных этапов своей Голгофы. Миллионы, замученных жертв отмечают новый поворот диктаторского руля. На последнем «национальном» этапе — а, казалось бы, он должен был вдохновлять художника — русская литература дошла до пределов наивной беспомощности и дидактизма; следствие утраты последних остатков свободы.

Второе и еще более грозное явление. По мере убыли свободы прекращается и борьба за нее. С тех пор как замерли отголоски гражданской войны, свобода исчезла из программы оппозиционных движений, — пока эти движения еще существовали. Не мало советских людей повидали мы за границей — студентов, военных, эмигрантов новой формации. Почти ни у кого мы не замечаем тоски по свободе, радости дышать ею. Большинство даже болезненно ощущает свободу западного мира, как беспорядок, хаос, анархию. Их неприятно удивляет хаос мнений на столбцах прессы: разве истина не одна? Их шокирует свобода рабочих, стачки, легкий темп труда. «У нас мы прогнали миллионы через концлагеря, чтобы научить их работать» — такова реакция советского инженера при знакомстве с порядками на американских заводах; а, ведь, он сам от станка — сын рабочего или крестьянина. В России ценят дисциплину и принуждение, и не верят в значение личного почина, — не только партия не верит, но и вся огромная ею созданная новая интеллигенция.

Не одна система тоталитарного воспитания ответственна за создание этого анти-либерального человека; хотя мы и знаем страшную мощь современного технического аппарата социальной перековки. Тут действовал и другой социально-демографический фактор. Русская революция была еще невиданной в истории мясорубкой, сквозь которую были пропущены десятки миллионов людей. Громадное большинство жертв, как и во Французской революции, пало на долю народа. Далеко не вся интеллигенция была истреблена; технически необходимые кадры были отчасти сохранены. Но как ни слепо подчас действовала машина террора, она поражала, бесспорно, прежде всего элементы, представлявшие, хотя бы только морально, сопротивление тоталитарному режиму: либералов, социалистов, людей твердых убеждений, или критической мысли, просто независимых людей. Погибла не только старая интеллигенция, в смысле ордена свободолюбия и народолюбия, но и широкая народная интеллигенция, ею порожденная. Говоря точнее, произошел отбор. Народная интеллигенция раскололась — одна влилась в ряды коммунистической партии, другая (эсеро-меньшевистская) истреблена. Интеллигенция просто — большевизмом не соблазнилась. Но те в ее рядах, кто не пожелал погибнуть или покинуть родину, должны были за годы неслыханных унижений убить в себе самое чувство свободы, самую потребность в ней: иначе жизнь была бы просто невыносимой. Они превратились в техников, живущих своим любимым делом, но уже вполне обездушенным. Писателю все равно, о чем писать: его интересует художественное «как»; поэтому он может принять любой социальный заказ. Историк получает свои схемы готовыми из каких-то комитетов: ему остается трудолюбиво и компетентно вышивать узоры... В итоге не будет преувеличением сказать, что вся созданная за 200 лет империи свободолюбивая формация русской интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею проступила московская тоталитарная целина. Новый советский человек не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из московского царства, слегка приобретя марксистский лоск. Посмотрите на поколение Октября. Их деды жили в крепостном праве, их отцы пороли самих себя в волостных судах. Сами они ходили 9 января к Зимнему дворцу и перенесли весь комплекс врожденных монархических чувств на новых красных вождей.

Вглядимся в черты советского человека: — конечно, того, который строит жизнь, а не смят под ногами, на дне колхозов

и фабрик, в черте концлагерей. Он очень крепок, физически и душевно, очень целен и прост, живет по указке и по заданию, не любит думать и сомневаться, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего — необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой, и его высшее честолюбие — отдать свою жизнь за коллектив: партию или родину, смотря по временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека XVI века? (не XVII-го, когда уже начинается декаданс). Напрашиваются и другие исторические аналогии: служака времен Николая I, но без гуманности христианского и европейского воспитания; сподвижник Петра, но без фанатического западничества, без национального самоотречения. Он ближе к москвичу своим гордым национальным сознанием: его страна единственно православная, единственно социалистическая — первая в мире: третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, т. е. западный мир; не знает его, не любит и боится его. И, как встарь, душа его открыта Востоку. Многочисленные «орды», впервые приобщающиеся к цивилизации, вливаются в ряды русского культурного слоя, вторично ориентализируя его.

Может показаться странным говорить о московском типе в применении к динамизму современной России. Да, это Москва, пришедшая в движение, с ее тяжестью, но без ее косности. Однако это движение идет по линии внешнего строительства, преимущественно технического. Ни сердце ни мысль не взволнованы глубоко; нет и в помине того, что мы русские называем духовным странничеством, а французы -- inquiétude. За внешним бурным (почти всегда как бы военным) движением — внутренний невозмутимый покой.

Мы здесь со страстным любопытством следим за эволюцией советского человека сквозь его условную, заказную литературу. Мы с радостью, граничащей с умилением, наблюдали, как на маске железного большевицкого робота 20-х годов постепенно проступают черты человеческого лица. Может-быть — и это даже вероятнее, — что то была скорее эволюция цензуры, или литературной политики партии, чем живой жизни. Все-таки советский человек, хотя бы с наганом в руках, был человек. И ему свойственны были, вероятно, и тогда, когда они считались запретными, и дружба, и любовь к женщине и даже любовь к родине. Но в тоталитарном строе государство воспитывает людей, их чувства, их мысли, самые интимные.

И мы приветствуем официальное воскрешение человечности, мы радуемся, узнавая в советском герое черты любимого русского лица.

Эта эволюция далеко не закончена, и происходит с частыми и болезненными перебоями. Еще слово «злой», как в первые годы Че-Ка, употребляется в положительном смысле; иной раз злою называется даже русская земля. Война принесла с собой, естественно, апологию мести и жестокости. Но та же война разбудила ключи дремавшей нежности — к поруганной родине, к женщине, жене и матери солдата. Нет пока никаких признаков пробуждения религиозного чувства. Новая религиозная политика (НРП) остается в пределах чистой политики. Но и это со временем придет, если религия, действительно, составляет неот'емлемый атрибут человека; когда-нибудь метафизический голод проснется и в этом примитивном существе, живущем пока культом машины и маленького личного счастья.

Завершится ли эта внутренняя эволюция возрождением свободы, это другой вопрос, на который опыт истории, думается, дает отрицательный ответ. Свобода, в общественно-политическом смысле, не принадлежит к инстинктивным или всеобщим элементам человеческого общежития. Лишь христианский Запад выработал в своем трагическом средневековье этот идеал и осуществил его в последние столетия. Только в общении с Западом Россия времен Империи заразилась этим идеалом и стала перестраивать свою жизнь в согласии с ним. Отсюда как будто следует, что, если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды придется опять искать на Западе.

Многие думают, что на этот раз России незачем итти так далеко; она уже накопила в своей литературе такие ценности свободолюбия, которые могут зажечь священный огонь в новых поколениях. Думать так значит страшно переоценивать значение книги в развитии души. Мы почерпаем в книгах лишь то, чего ищет наше сознательное или бессознательное я. Вспомним, что Шиллер остается классиком в школах Германии, что Евангелие читалось в самые мрачные и жестокие века христианской истории. Комментаторы, или дух времени всегда приходят на помощь, чтобы обезвредить духовные яды. В России давно уже читают с увлечением классиков, но там, повидимому, не приходит в голову перенести в современность сатиру Гоголя или Щедрина. Да и только ли свободолюбию учат русские классики? Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия, Толстой — анархии, Пушкин примирился

с монархией Николая. Как читают классиков в советской России? В дни Лермонтовского юбилея все писали о поэте «Валерика» и «Родины», как о русском патриоте, дравшемся на Кавказе за российское великодержавие. В сущности, только Герцен из всей плеяды XIX века может учить свободе. Но Герцен, кажется, не в особом почете у советского читателя.

Если же солнце свободы, в противоположность астрономическому светилу, восходит с Запада, то все мы должны серьезно задуматься о путях и возможностях его проникновения в Россию. Одно из необходимых условий — личное общение, — сейчас чрезвычайно облегчено войной. Война в освобождении России — факт двусторонний. Ее победоносный конец, бесспорно, укрепляет режим, доказывая, путем проверки на полях битв, его военное превосходство перед слабостью демократий. Этот аргумент действует даже на иных либералов из русской эмиграции. Но, с другой стороны, война открывает для миллионов русских воинов возможности личного общения с Западом. Для того, чтобы демократические идеи Запада могли импонировать москвичам, необходимы два условия — в сущности сводящиеся к одному. Запад должен найти в своих идеалах опору для более удачного, более человечного решения социального вопроса, который до сих пор, худо ли, хорошо ли, решала лишь диктатура. Во-вторых, московский человек должен встретить в своем новом товарище, воине-демократе, такую же силу и веру в идеал свободы, какую он сам переживает, или переживал, в идеал коммунизма. Но это означает для демократа, отрицательно, нетерпимость ко всякой тирании, каким бы флагом она ни прикрывалась. Наши предки, общаясь с иностранцами, должны были краснеть за свое самодержавие и свое крепостное право. Если бы они встретили повсеместно такое же раболепное отношение к русскому царю, какое проявляют к Сталину Европа и Америка, им не пришло бы в голову задуматься над недостатками в своем доме. Льстецы Сталина и Советской России сейчас главные враги русской свободы. Или иначе: лишь борясь за свободу на всех мировых фронтах, внешних и внутренних, без всяких «дискриминаций» и предательства, можно способствовать возможному, но сколь еще далекому, освобождению России.

СУДЬБА ИМПЕРИЙ

Империй призрачных орлы...

В марксистской литературе принято считать империализм политическим продуктом зрелого капитализма, в который Европа вступила приблизительно с 80-х годов прошлого столетия. Экономические мотивы (борьба за рынки, сырье и помещение капиталов) действительно отмечают новейшую колониальную политику европейских империй. Но экономика лишь одна из многих сторон политической экспансии, которая стара, как мир. Здесь социология непосредственно продолжает биологию. Борьба за власть есть лишь политическое выражение всеобщей борьбы за существование. Можно было бы утверждать, как историко-социологический постулат, что каждое государство или даже каждое политическое образование (род, племя, орда) непрерывно раздвигает границы своей территории за счет соседей до тех пор, пока не встретит достаточно сильного сопротивления. В результате устанавливаются более или менее твердые границы, но всегда оспариваемые, всегда подвижные. Война в истории более постоянное явление, чем мир. Даже в периоды длительного мира нельзя забывать, что он лишь результат равновесия враждебных сил. Границы государства не статические формы, а силовые линии, где скрещиваются и уравновешиваются внутреннее и внешнее давление. Равновесие постоянно нарушается, и тогда происходит расширение, сжатие или гибель государства.

Вся история может быть рассматриваема (и даже преимущественно рассматривалась в узко-политической историографии) как смена процессов интеграции и дезинтеграции. Можно называть первый процесс ростом, развитием, объединением или же завоеванием, порабощением, ассимиляцией; второй — упадком, разложением или освобождением, рождением новых наций, в зависимости от того, какая государственность или народность стоит в центре наших интересов. Галльские войны Цезаря принесли с собой смерть кельтской Галлии и рождение Галлии римской. Разложение Австро-Венгрии есть освобождение — Чехии, Польши и Югославии. Объективная же или сверхнациональная оценка историка колеблется. Рост государства означает рас-

---

Впервые опубликовано в "Новом Журнале", № 16, Нью-Йорк, 1947.

ширение зоны мира, концентрацию сил, и, следовательно, успехи материальной культуры. Но гибель малых или слабых народов, им поглощенных, убивает, часто навеки, возможность расцвета иных культур, иногда многообещающих, быть может, качественно высших по сравнению с победоносным соперником. Эти гибнущие возможности скрыты от глаз историка, и потому наши оценки великих империй или, точнее, факта их образования и гибели, содержат так много личного и условного. В отличие от евразийцев, мы признаем безусловным бедствием создание монгольской империи Чингис-Хана и относительным бедствием торжество персидской монархии над эллинизмом. С нашей точки зрения, империя Александра Великого и его наследница — Римская — создали огромные культурные ценности, хотя в случае Рима, нельзя не сожалеть о многих нераспустившихся ростках малых латинизированных культур. Враги греческого гуманизма, которых так много в наше время, конечно, другого мнения. Борьба эллинства и Востока еще продолжается в нашей современной культуре.

Когда экспансия государства переходит в ту стадию, которая позволяет говорить об империи? На этот вопрос не так легко ответить. Во всяком случае, нельзя сказать, что империя есть государство, вышедшее за национальные границы, потому что национальное государство (если связывать национальность с языком) явление довольно редкое в истории. Может быть, правильное определение было бы: империя — это экспансия за пределы длительно-устойчивых границ, перерастание сложившегося, исторически оформленного организма.

Историки давно говорят о Египетской Империи для эпохи азиатских завоеваний Рамесидов, о Вавилонско-Ассирийской и Персидской империях — в их расширении за пределы Междуречья и Ирана до берегов Средиземного моря. Рим превращается в империю, когда выходит из границ Италии; европейские державы, когда приобретают обширные колониальные владения за океаном. Но завоевание или ассимиляция немцами западных славян или русскими славянами финнов не создавали империи. Выход государства, даже непрерывно растущего, из его привычной геополитической сферы есть тот момент, когда количество переходит в качество: рождается не новая провинция, но империя, с ее особым универсальным политическим самосознанием.

***

Наши привычные понятия о государстве сложились в опыте 19-го века, когда национальное государство из исключения

превратилось в норму, в тип государства вообще. Современное государство-нация есть продукт скрещения двух первоначально враждебных сил: романтизма и французской революции. Романтизм, с его переоценкой всего иррационального в человеке и культуре, строил идею народа на подсознательных или полусознательных элементах его жизни, каковы язык, фольклор, языческая религия природы. Народ романтиков совпадал с языковой общиной. Французская революция сделала народ (конечно другой, насквозь рассудочный народ) сувереном, единственным носителем государственной власти. Народы Европы, порабощенные революционной Францией, в борьбе против нее прошли через ее школу. Их культурный, бытовой, религиозный национализм превратился в политический. Каждый народ (нация) имеет право на свою государственность, и только национальные государства оправданы. Такова была вера 19-го века. И его внешне-политическая история сводилась главным образом к революционно-военной перекройке европейской карты по национальным границам. Для одних (немцев, итальянцев) это было движение к единству, для других — к отделению, освобождению от наций завоевательниц. Некоторые страницы этой истории достойны Плутарха. Нельзя без волнения читать о героях и мучениках освободительных движений в Италии, Польше, Ирландии. Счастливые, немцы и итальянцы, создали свои крепкие национальные государства уже в 19-ом веке. Даже более слабые, балканские народы, добились своей независимости, пользуясь слабостью Турции и поддержкой мощной России. Несчастным пришлось ждать до первой мировой войны, которая принесла долго-чаемое освобождение полякам, ирландцам, чехам и другим австрийским славянам.

Но задолго до того, как процесс национализации Европы завершился, или, вернее, достиг своего возможного апогея, началась эра нового империализма. Конечно, и он не сводился к голой экономике. И в нем говорила воля к власти, пафос славы (Киплинг) или голос тщеславия. Но для великих европейских держав конца 19-го века колониальная экспансия была хозяйственной необходимостью. Все растущая индустрия требовала заокеанского сырья (хлопок, каучук), изобретение двигателей внутреннего сгорания вызвало колоссальную потребность в нефти и борьбу за ее ограниченные естественные источники. Наконец, победоносный капитализм, по природе своей не способный удовлетворяться внутренними рынками, начинает погоню за внешними. Политическое господство становится формой, орудием и броней экономической эксплоатации. Старые колониальные империи Англии и Голландии просыпаются

от вековой дремы для новой лихорадочной работы. Поздно пришедшие народы спешно строят свои новые империи за морем: Франция, Бельгия, Италия, Германия. Впрочем sero venientibus ossa. Для Германии не нашлось уже «места под солнцем» Африки или Азии, достаточно рентабельного, и она обратила главную ось своей экспансии на Ближний Восток. Здесь она проникла в империалистическую зону сил Англии и России, что и было одной из главных причин первой великой войны. В эту войну вступили уже не европейские народы или нации, а мировые империи, подобные драконам, головы которых еще умещались в Европе, но туловища покрывали почти весь земной шар.

Конфликты, приведшие к войне, были двух порядков: национальные и империалистические. Национальной в старом смысле слова была борьба Франции и Германии из-за Эльзас-Лотарингии, борьба немцев и славян на Дунае, внутри и вне Австро-Венгерской монархии. Империалистическая экспансия поссорила Германию с Англией и Россией. На Версальской конференции явно преобладали мотивы национальные, даже этнографические. Ее идеальным планом, на практике оказавшимся неосуществимым, было воплощение старой романтической мечты: для каждой народности свое государство. Крушение нескольких империй позволило кроить новые государства в Европе щедро и, на первый взгляд, безболезненно. Вопрос о колониях, о переделе мира и мировых богатств стоял на втором плане.

Вторую войну можно понять лишь в теснейшей связи с первой, как ее второй акт. Основной силой взрыва было болезненно-раздраженное, в результате поражения, национальное чувство Германии, самой динамической нации Европы. В ее сознании давно уже национальные мотивы неразрывно сплетались с империалистическими. Это значит: пафос освобождения становился для нее волей к власти. Гитлер и выставил для нее программу в сущности беспредельного господства: сначала в Восточной Европе, потом в Европе вообще, — наконец, во всем мире. С поразительной легкостью ему удалось осуществить две части своей программы. Впервые со времен Наполеона Европа подчинялась единому «порядку». Этот порядок, т. е. господство Германии приняла и Франция, казалось бы, ее вечный и непримиримый враг. На службу мечу стали и новые идеологии, в которых расовые и буржуазно-классовые мотивы сплетались с самыми передовыми, сверхнациональными и социалистическими. Бессилие и малодушие находили опору в стремлении к миру, к европейскому единству, к универсальной организации.

Потеря чувства меры (как в случае с Наполеоном) и асси-

рийское варварство методов завоевания сгубили Гитлера и Германию. Он нес народам не мир на основе права и порядка, который побежденные могли бы принять скрепя сердце, но унижение, порабощение, для многих физическое истребление. В результате Германия вызвала против себя взрыв национальных чувств и страстей, который оказался сильнее потребности в порядке и единстве. Англия и Россия боролись за свое существование. Движения «сопротивления» возродили революционный национализм, напоминающий эпоху наполеоновских войн. Второй акт мировой войны окончился крушением германского варианта мировой империи.

В результате этих двух «раундов» старая Европа с ее сложившейся системой международных отношений отошла в вечность. Погибли или погибают все ее империи, кроме России, на равновесии которых держался мир. Нет больше Австро- Венгрии, Турция ушла из Европы, Италия потеряла все колонии, Германия — конечно, временно, — не существует даже как государство. Франция сведена на степень второстепенной державы, которая делает бессильные попытки спасти свою распадающуюся заморскую империю. Англия, хотя и дважды победоносная и способная к героической борьбе, ослаблена тяжким кровопусканием и вынуждена сама начать ликвидацию своей империи. В отличие от Франции, она проявляет в этом процессе свертывания много проницательности и великодушия. Она, действительно, стремится перестроить свою империю в добровольную федерацию наций, преимущественно англо-саксонской культуры. Но, занятая огромными внешними трудностями, она бессильна помочь Европе в организации ее хаоса.

Этот хаос создан не только военными потрясениями. Если погибли империи, то и государства-нации не смогли организовать жизни в образовавшейся политической пустоте. Прежде всего, выяснилась утопичность чисто этнографической государственности. Историческая чересполосица племен, естественные географические рубежи (Богемия), исторические воспоминания и притязания делают национальную проблему Восточной Европы неразрешимой. Чем дальше мы идем по путям мнимых решений, тем больше накопляется ненависти, к старым прибавляются новые несправедливости, открываются источники новых конфликтов. С другой стороны, национальное чувство в наши дни, столь беспощадное к слабым соседям, оказывается неожиданно и жалко покорным перед торжествующей силой. Франция покорилась Гитлеру почти без сопротивления. Чехословакия добровольно отдалась во власть московскому властелину. А, ведь, Франция и Чехословакия были классиче-

скими странами современного демократического национализма. Почти все силы «сопротивления» в Европе, боровшиеся с Гитлером, предают теперь свою родину новому восточному завоевателю. Точно цель всей их борьбы была в том, чтобы переменить одного тирана на другого.

Нет, не национальное сознание способно сейчас организовать мир; скорее оно мешает новой организации, стремится увековечить хаос. Нечего и говорить о том, что за столетие индустриального капитализма оно растеряло все те великие ценности, которые некогда национальный романтизм писал на своем знамени. Культура — или бескультурность — современных наций становится все более космополитической, безнадежно-однообразной. Национальные традиции служат больше для декоративной рекламы внутренне пустой технической цивилизации.

***

Итак, ни равновесие империй, ни мирное строительство малых наций не даны для новой исторической эпохи. Пока над руинами и хаосом Европы высятся два гиганта, два победителя, вознесенные мировой войной на небывалую высоту. Для всех ясно, насколько неустойчиво новое равновесие. При всяких обстоятельствах дуализм политических сил, направления которых пересекаются почти во всех точках общего «жизненного пространства», неизбежно приводит к их столкновению. Правда, сейчас нет недостатка в карликах, которые, в страхе от приближающейся грозы, пытаются играть роль посредников между гигантами. Но их политический вес слишком ничтожен, чтобы поддерживать шатающееся равновесие. В данном случае нельзя даже говорить о столкновении, как о событии будущего. Борьба между двумя империями уже ведется методами дипломатии, экономики, пропаганды. Даже прямые военные действия идут, хотя и под прикрытием чужих флагов. Сейчас СССР ведет войну в Греции и в Китае, как ранее вел ее в Иране и во всей уступленной ему, но подлежащей покорению территории Восточной Европы. Для СССР война еще продолжается; мир не подписан, да он и не должен быть подписан. Сталин явно выступил в качестве преемника Гитлера не только в сфере былого фактического господства Германии, но и ее притязаний. Для правящего слоя в России дело идет о господстве над миром путем завоевания и революции.

Америка не мечтает о мировом господстве. Она думает больше об организации своей безопасности, но поняла уже, что мир стал слишком тесен для безопасности одиноких. Она

уже преодолела свой врожденный изоляционизм и пытается организовать мировой хаос. Пока еще только долларом и хлебом, не адэкватными пулеметам и пушкам ее вездесущего противника. Но военный потенциал Америки огромен. В случае военного столкновения ее победа несомненна, по крайней мере при настоящем соотношении вооружений и сил. Ее беда в том, что она не умеет реализовать свой военный потенциал в обстановке мира, главным образом благодаря «викторианской» отсталости своего политического мышления.

Но Америке не чужда мысль о мировом единстве. Она пыталась воплотить ее в бескровном призраке ОН, этом ухудшенном издании Лиги Наций. Повидимому, она сейчас уже не верит в нее. В мире, разделенном пополам непримиримыми противоречиями, не может быть никаких Объединенных Наций. Но как ни компрометирует это жалкое учреждение великую идею единства, она сейчас жива, как никогда. Жива, несмотря на разлив национальных страстей, несмотря на подготовку третьей войны. Ведь, эта война готовится не для защиты национальных, ограниченных интересов, но во имя организации мира. Сталин, подобно Гитлеру, мыслит эту организацию, как порабощение и подчинение мира своей социальной системе и единой воле господина; Америка и Англия — как союз юридически равных, как федерацию демократических народов.

До сих пор идея мирового государства не защищается правящими кругами англо-саксонских союзников. Они вынуждены считаться с самолюбиями средних и малых народов, с узким национализмом своих собственных стран. Потеря национального суверенитета пугает. 19-й век держит в плену их сознание. Но уже Черчиль имеет смелость говорить о Соединенных Штатов Европы. Но уже Маршалл требует единой экономической организации Европы, как условия американской помощи для хозяйственной реконструкции. И в перспективе атомного оружия, Америка вместе со всеми демократиями Запада настаивает на частичном ограничении суверенитета. Однако, это частичное ограничение означает отказ от права войны и от свободы вооружений. При современной атомной технике, оно, в сущности, означает всеобщее разоружение и создание мировой армии. Лишенное права войны и мира, государство перестанет существовать как суверенное. Оно вынуждено отказаться и от внешней политики, которая станет внутренней политикой рождающегося сверхнационального государства.

При неизбежном сопротивлении России, этот план является совершенно утопическим. Но попробуйте мысленно устранить Россию, и он завтра же станет реальностью. Мыс-

ленное устранение, конечно, не поможет реализации. Но мы видели, что почти стихийный ход событий (включающий и сознательную волю правителей России) ведет к войне, которая может реально устранить либо Россию, либо Америку со всеми оставшимися демократиями мира.

Все вероятности говорят в пользу того, что новое мировое государство, или новая универсальная империя, родятся, как и все бывшие империи, в результате войны, а не мира. Теоретически мыслимо, конечно, образование федерации народов в результате совершенно свободного соглашения равных. Хотя мир никогда не знал такого опыта, но новое, небывалое — как, например, фашизм, или коммунистическая революция — рождается на наших глазах. Однако, совершенно свободный отказ от суверенитета предполагает слишком высокий уровень политической морали. Об этом позволительно было мечтать в девятнадцатом или начале двадцатого века, когда старая Европа стояла в апогее своей политической цивилизации. Женевская Лига Наций давала ей последний шанс. С тех пор, в результате двух страшных войн, политическая мораль европейских народов пала так низко, как, может быть, никогда за время всей христианской истории. Политическая фразеология находится в кричащем противоречии с политическими реальностями. Для всех практических соображений можно принять, что сейчас народы мира движутся близоруким эгоизмом, ненавистью и, всего больше, страхом. Это значит, что они готовы принять единство только продиктованное силой, только в форме Империи.

Сила еще не значит завоевание, империя еще не значит господство. Сейчас история предлагает народам мира два варианта империи, из которых один является, действительно, небывалым, хотя и вполне возможным. Эти два варианта соответствуют двум возможным победителям, на долю которых выпадет организовать мир.

Легко себе представить, как будет выглядеть мир в случае победы России. Распространение коммунистической системы по всему земному шару. Истребление высших классов и всех носителей культуры, дышавших воздухом свободы и не желающих от него отказаться. Массовые казни в первые годы, каторжные лагеря на целое поколение. Закрепощение всех профессий на службу всемирному государству. Управление им, централизованное в Москве, при фиктивной независимости федеративных наций.

Постепенное (а, может быть, и быстрое) заглушение всех высших сфер культуры за счет технического знания. До сих

пор краски этой картины взяты из действительного опыта России и Восточной Европы. Идя дальше, можно представить себе, что в обстановке мира и технической цивилизации материальные потребности покоренных народов будут удовлетворены, чего никогда не было достигнуто в СССР. Парии Азии и негры Африки впервые наедятся риса до-сыта. Вероятно, они будут благословлять свою судьбу. Мировая империя Москвы будет прочна, как древние тоталитарные империи — Египта, Китая, Византии. Конечно, удушение свободы поведет к постепенному падению не только духовной культуры, но, в конце концов, и самого технического знания. Конец «прогресса». Медленное понижение уровней. Одряхление, которое может тянуться века, чтобы закончиться новым варварством. В этом прогнозе не предусмотрено одно: способность человеческого духа к творческим взрывам вроде рождения новых религий или реформации старых, которые могут разрушить или преобразовать самые твердые, неподвижные цивилизации.

Менее ясен, но более светел другой вариант Империи: Pax Americana, или лучше Pax Atlantica. В случае победы Америки, Англии и их союзников, единство мира должно отлиться в форме действительной, а не мнимой федерации. Такова сама структура и Соединенных Штатов, и Британского Commonwealth. В настоящее время англо-саксы и не представляют себе власти, организованной вне самоуправления. Даже молодой империализм Америки, при всей жадности к стратегическим базам, начинает с освобождения своих старых колоний. Опасность Атлантического варианта Империи не в злоупотреблении властью, а скорее в бездействии власти. У свободных народов нет вкуса к насилию, и это прекрасно. Но в настоящее время у них нет и вкуса к власти, и это опасно.

В отличие от России, Америка не может не считаться со своими союзниками, из которых Англия, или ведомая ею Федерация доминионов, представляет еще серьезную силу. Самолюбия и эгоизмы европейских народов тоже создают не малые препятствия. Они безропотно покорятся самой гнусной из тираний, но будут роптать при легких ограничениях их суверенитета. Заставить их войти в мировую империю, организованную в форме федерации, не легко. Нужна большая воля и большая гибкость, чтобы добиться повиновения слабых в рамках демократической законности. Юная федерация не может быть федерацией равных по существу, но лишь по форме. Лишь время и общее разоружение сделают излишней гегемонию мильного и возможным уравнение политического влияния. Если

сильный откажется от своей тяжелой ответственности, мир снова развалится, и уже безнадежно.

Но опыт двух войн показал, что англо-саксонские демократии, часто пассивные во время мира, находят в себе волю и способность к героическому напряжению в роковой час. Чувство ответственности может заменить для них вкус к власти.

Итак, нет основания бояться порабощения народов в случае победы Америки. Экономические интересы, конечно, потребуют своего удовлетворения. Надо признать, что спасение мира стоит известных материальных жертв в пользу победителя. Да и распространенные в Европе опасения американской эксплоатации страшно преувеличены. Пока что, Америка бросает миллиарды для восстановления Европы и не видно, чтобы она получила что-либо взамен.

Атлантическая Империя столь же мало предполагает единство экономической системы, как и единообразие политическое. Социализм и капитализм в разных дозах могут уживаться в общих экономических рамках. Пример социалистической Англии показывает, что в наши дни не экономика соединяет народы или разводит их по разным лагерям. Общие основы англосаксонской цивилизации не изменились с отказом Англии от капиталистической системы. Но, конечно, необходимость регулирования мирового хозяйства в единой Империи чрезвычайно усилит сама по себе социалистические тенденции отдельных стран.

Здесь кончается возможность предвидения. В отличие от четких очертаний коммунистической империи, общество, построенное на свободе, таит в себе неограниченные возможности. Где свобода, там и возможность конфликтов. Где борьба, там и возможность поражений. Но также и необычайных побед. Мы знаем, что западная цивилизация тяжко больна; международные столкновения лишь один из симптомов общего недуга. И по устранении их остается возможность социальных потрясений, моральных кризисов, духовных бурь. В конце концов, вопрос о спасении нашей культуры есть вопрос духа. Но, если будет устранена угроза войны между народами, если будет достигнуто всеобщее разоружение, человечество получит еще одну отсрочку — как древняя Ниневия в книге пророка Ионы.

Одной из главных проблем грядущей Империи будет установление отношений между членами западной семьи и возрождающимися народами «Востока». Но это тема будущего. Сейчас Восток еще слишком слаб технически, чтобы не включиться, охотно и с выигрышем для себя, в новую федеративную Империю. Как удержать его в ней, по достижении им технического

совершеннолетия, это проблема наших детей и внуков, которая, конечно, займет когда-то главное поле истории.

Ceterum censeo: нельзя забывать о третьей возможности — возможности не победы одной из двух империй, а всеобщего разрушения и гибели, если столкновение произойдет в условиях приблизительного равенства сил и оружия.

***

Остановимся на одном из возможных исходов. Какая судьба ожидает Россию в случае ее поражения? Если бы Россия была национальным государством, как Франция или современная Германия, ответ был бы сравнительно прост и не столь для нее трагичен. Да, она, конечно, прошла бы через ужасы разорения, унижения, голода, через которые сейчас проходит Германия, с той только разницей, что, в отличие от Германии, ей не привыкать стать к голоду и рабству. Для большинства ее населения падение ненавистной власти, даже ценой временной иностранной оккупации, явится освобождением. Ведь американцы не собираются колонизовать Россию, как Гитлер, или истреблять ее «нисшие» расы. Но дело осложняется тем, что Россия не национальное государство, а многонациональная империя; последняя, единственная в мире, остающаяся после ликвидации всех империй. Было бы чудом, если бы она вышла невредимой из ожидающей ее катастрофы, в тех географических очертаниях, в которых ее застала революция.

Правда, Россия является империей своеобразной. По своей национальной и географической структуре она занимает среднее место между Великобританией и Австро-Венгрией. Ее нерусские владения не отделены от нее морями. Они составляют прямое продолжение ее материкового тела, а массив русского населения не отделен резкой чертой от инородческих окраин. Но Дальний Восток или Туркестан, по своему экономическому и даже политическому значению, совершенно соответствуют колониям западных государств. Типологическое, т. е. качественное сходство с Австро-Венгрией еще значительнее. Однако, процент господствующего великорусского населения в империи Романовых был гораздо выше немецкого в империи Габсбургов. Это сообщало России несравненно большую устойчивость. Сходство будет полнее, если, вместо Австро-Венгрии последних десятилетий, взять Германскую Империю до 1805 года. Русские и немцы играли одну и ту же цивилизаторскую и ассимилизационную роль. Правда, среди подданных Германии были страны древних и богатых культур. Вместо одной Русской

Польши, Германия имела три: Польшу, Венгрию и Богемию. Однако, с подъемом культуры народностей России и соответствующим ростом их сепаратизмов Россия приближалась к типу Австро-Германии.

Но мы не хотели видеть сложной многоплеменности России. Для большинства из нас перекройка России в СССР, номинальную федерацию народов, казалась опасным маскарадом, за которым скрывалась все та же русская Россия, или даже святая Русь.

Как объяснить нашу иллюзию? Почему русская интеллигенция в 19-ом веке забыла, что она живет не в Руси, а в Империи? В зените своей экспансии и славы, в век «Екатерининских орлов», Россия сознавала свою многоплеменность и гордилась ею. Державин пел «царевну киргиз-кайсацкие орды», а Пушкин, последний певец Империи, предсказывал, что имя его назовет «и ныне дикой тунгуз и друг степей калмык». Кому из поэтов после-пушкинской поры пришло бы в голову вспоминать о тунгузах и калмыках? А Державинская лесть казалась просто непонятной — искусственной и фальшивой. Но творцы и поэты Империи помнили о ее миссии: нести просвещение всем ее народам — универсальное просвещение, сияющее с Запада, хотя и в лучах русского слова.

После Пушкина, рассорившись с царями, русская интеллигенция потеряла вкус к имперским проблемам, к национальным и международным проблемам вообще. Темы политического освобождения и социальной справедливости завладели ею всецело, до умоисступления. С точки зрения гуманитарной и либеральной, осуждалась Империя, все империи, как насилие над народами, но результаты этого насилия принимались как непререкаемые. Более того, девятнадцатый век для большинства интеллигенции означал сужение национального сознания до пределов Великороссии. Россия была необъятно велика, и мало кто из русских образованных людей изъездил ее из конца в конец; непоседливых манила сказка Запада. Но и путешествуя по России, русский не выходил из своего привычного уклада: объяснялся везде по-русски, видел везде одну и ту же русскую администрацию и туземцев, побогаче и познатнее, уже входящих в быт, язык и культуру завоевателей. Интеллигенция возмущалась насильственной руссификацией или крещением инородцев, но это возмущение относилось к методам, а не к целям. Ассимиляция принималась как неизбежное следствие цивилизации. Еще полвека или век, и вся Россия будет читать Пушкина по-русски (так понимался «Памятник»), и все этно-

графические пережитки сделаются достоянием музеев и специальных журналов.

Есть еще одна неожиданная сторона русского западничества. Россией вообще интересовались мало, ее имперской историей еще меньше. Так и случилось, что почти все нужные исследования в области национальных и имперских проблем оказались предоставленными историкам националистического направления. Те, конечно, строили тенденциозную схему русской истории, смягчавшую все темные стороны исторической государственности. Эта схема вошла в официальные учебники, презираемые, но поневоле затверженные и не встречавшие корректива. В курсе Ключевского нельзя было найти истории создания и роста Империи.

Так укоренилось в умах не только либеральной, но отчасти и революционной интеллигенции наивное представление о том, что русское государство, в отличие от всех государств Запада, строилось не насилием, а мирной экспансией, не завоеванием, а колонизацией. Подобное убеждение свойственно националистам всех народов. Французы с гордостью указывают на то, что генерал Федерб с ротой солдат подарил Франции Западную Африку, а Лиотэ был не столько завоевателем Марокко, сколько великим строителем и организатором. И это правда, то-есть одна половина правды. Другая половина, слишком легко бросающаяся в глаза иностранцам, недоступна для националистической дальнозоркости.

Несомненно, что параллельный немецкому русский Drang nach Osten оставил меньше кровавых следов на страницах истории. Это зависело от редкой населенности и более низкого культурного уровня восточных финнов и сибирских инородцев сравнительно с западными славянами. И однако — как упорно и жестоко боролись хотя бы вогулы в 15-ом веке с русскими «колонизаторами», а после них казанские инородцы и башкиры. Их восстания мы видим при каждом потрясении русской государственности — в Смутное время, при Петре, при Пугачеве. Но с ними исторические споры покончены. Несмотря на искусственное воскресение восточно-финских народностей, ни Марийская, ни Мордовская республика не угрожают целости России. Уже с татарами дело сложнее. А что сказать о последних завоеваниях Империи, которые несомненно куплены обильной кровью: Кавказе, Туркестане?

Мы любим Кавказ, но смотрим на его покорение сквозь романтические поэмы Пушкина и Лермонтова. Но даже Пушкин обронил жестокое слово о Цицианове, который «губил, ничтожил племена». Мы заучили с детства о мирном присоединении

Грузии, но мало кто знает, каким вероломством и каким унижением для Грузии Россия отплатила за ее добровольное присоединение. Мало кто знает и то, что после сдачи Шамиля до пол-миллиона черкесов эмигрировало в Турцию. Это все дела недавних дней. Кавказ никогда не был замирен окончательно. То же следует помнить и о Туркестане. Покоренный с чрезвычайной жестокостью, он восставал в годы первой войны, восставал и при большевиках. До революции русское культурное влияние вообще было слабо в Средней Азии. После революции оно было такого рода, что могло сделать русское имя ненавистным.

Наконец, Польша, эта незаживающая (и поныне) рана в теле России. В конце концов вся русская интеллигенция — в том числе и националистическая — примирилась с отделением Польши. Но она никогда не сознавала ни всей глубины исторического греха, совершаемого — целое столетие — над душой польского народа, — ни естественности того возмущения, с которым Запад смотрел на русское владычество в Польше. Именно Польше Российская Империя обязана своей славой «тюрьмы народов».

Была ли эта репутация заслуженной? В такой же мере, как и другими европейскими империями. Ценой эксплоатации и угнетения они несли в дикий или варварский мир семена высшей культуры. Издеваться над этим смеет только тот, кто исключает сам себя из наследия эллинистического мира. Для России вопрос осложняется культурным различием ее западных и восточных окраин. Вдоль западной границы русская администрация имела дело с более цивилизованными народностями, чем господствующая нация. Оттого, при всей мягкости ее режима в Финляндии и Прибалтике, он ощущался как гнет. Русским культуртрегерам здесь нечего было делать. Для Польши Россия была действительно тюрьмой, для евреев гетто. Эти два народа Империя придавила всей своей тяжестью. Но на Востоке, при всей грубости русского управления, культурная миссия России бесспорна. Угнетаемые и разоряемые сибирские инородцы, поскольку они выживали — а они выживали — вливались в русскую народность, отчасти в русскую интеллигенцию. В странах Ислама, привыкших к деспотизму местных эмиров и ханов, русские самодуры и взяточники были не страшны. В России никого не сажали на кол, как сажали в Хиве и Бухаре. В самих приемах русской власти, в ее патриархальном деспотизме, было нечто родственное государственной школе Востока, но смягченное, гуманизированное. И у русских не было того высокомерного сознания высшей расы, которое губило плоды просве-

щенной и гуманной английской администрации в Индии. Русские не только легко общались, но и сливались кровью со своими подданными, открывая их аристократии доступ к военной и административной карьере. Так плюсы и минусы чередуются в пестрой картине. Общий баланс, вероятно, положительный, как и прочих империй Европы. И если бы мир мог еще существовать, как равновесие империй, то среди них почетное место занимала бы Империя Российская. Но в мире уже нет места старым империям.

Национально-романтическое движение докатилось до пределов России с некоторым запозданием. Не сразу оно приняло и политический характер. Быть может, это соответствовало и слабости романтического национализма (славянофильства) в самой Великороссии. Тяготение к западной культуре (через посредство России) долго перевешивало в меньшинственных интеллигенциях их этнографическую связь со своими народами. Но неизбежное наступило. Одним из первых Рунеберг, создатель Калевалы, положил начало финской литературе, создавая новую нацию из того, что было лишь этнографической народностью. Во второй половине столетия возрождаются или просто рождаются на свет эстонская и латышская литературы — будущие нации, творимые поэтами. Тогда же происходит новый расцвет древних литератур Кавказа — грузинской и армянской. Одной из первых, в начале девятнадцатого века, романтическое веяние коснулось и оживило литературу украинскую. Уже к середине века, в Кирилло-Мефодиевском братстве, украинское движение принимает политический характер.

Пробуждение Украины, а особенно сепаратистский характер украинофильства изумил русскую интеллигенцию и до конца остался ей непонятным. Прежде всего потому, что мы любили Украйну, ее землю, ее народ, ее песни, считали все это своим, родным. Но еще и потому, что мы преступно мало интересовались прошлым Украины за три-четыре столетия, которые создали ее народность и ее культуру, отличную от Великороссии. Мы воображали, по схемам русских националистов, что малороссы, изнывая под польским гнетом, только и жаждали, что воссоединиться с Москвой. Но русские в Польско-Литовском государстве, отталкиваясь от католичества, не были чужаками. Они впитали в себя чрезвычайно много элементов польской культуры и государственности. Москва с ее восточным деспотизмом была им чужда. Когда религиозные мотивы склонили казачество к унии с Москвой, здесь ждали его горькие разочарования. Московское вероломство не забыто

до сих пор. Ярче всего наше глубокое непонимание украинского прошлого сказывается в оценке Мазепы.

Новый этап в создании украинской нации падает на вторую половину девятнадцатого века. Бессмысленные преследования украинской литературы перенесли центр национального движения из Киева во Львов, в Галицию, которая никогда не была связана ни с Москвой, ни с Петербургом. Это имело двойные последствия. Во-первых, литературный язык вырабатывался на основе галицийского наречия, а не полтавского или киевского, то-есть гораздо более далекого от великорусских говоров.

Польский, а не русский язык стал источником новых отвлеченных и научных словообразований. Русский мог без труда понимать Шевченко, но язык Грушевского был ему непонятен, казался искусственным. Как будто не все литературные языки были искусственными при своем создании — русский язык Ломоносова или латинский Энния! Но мы по-прежнему упрямо продолжали считать малороссийский язык лишь областным наречием русского, хотя слависты всего мира, включая Российскую Академию Наук, давно признали это наречие за самостоятельный язык. То, что этот язык из языка фольклорной поэзии сделался языком отвлеченной мысли, на котором уже существует большая научная литература, окончательно решает вопрос об украинской нации. Грушевский может быть назван ее создателем.

На наших глазах рождалась на свет новая нация, но мы закрывали на это глаза. Мы были как-будто убеждены, что нации существуют извечно и неизменно, как виды природы для до-эволюционного естествознания. Мы видели вздорность украинских мифов, которые творили для Киевской эпохи особую украинскую нацию, отличную от русской. Но мы забывали, что историческая мифология служила лишь для объяснения настоящей реальности. Нации не было, но она рождалась — рождалась веками, но в ускоряющемся темпе в наши дни. 1917 год был актом ее официального рождения.

То обстоятельство, что центр движения был в Галиции, обособляло и политически новую нацию от общей судьбы народов России; облегчало для нее переход от федеративной идеологии Костомарова и Драгоманова к идее «самостийности».

Было еще одно движение среди народов России, центр которого оказался за рубежом, и которое мы совершенно проглядели. Это было пан-тюркское движение, связывавшее литературное и политическое пробуждение русских татар с возрождением Молодой Турции.

Русские националисты первые заметили опасность, угро-

жающую Империи. Они ответили на нее усилением руссофикации, травлей инородцев, издевательством над украинцами и еврейскими погромами. Они старательно раздували искры сепаратизмов. Два последних императора, ученики и жертвы реакционного славянофильства, игнорируя имперский стиль России, рубили ее под самый корень. Революционная интеллигенция лишь накануне первой революции пошла на встречу национальным движениям меньшинств. Некоторые из левых партий (не большевики) включили в свою программу федеративный строй Российской республики. С этим и застал нас 1917 год.

Трудно возразить что-либо против идеи федерации. Это прекрасная, разумная программа. Для малых народов она обещает и свободу, и преимущества жизни в великом, веками сложившемся организме. Экономические блага имперской кооперации бесспорны, так же, как и преимущества военной защиты. Может-быть, если бы федеративный строй России осуществился в 1905 году с победой освободительного движения, он продлил бы существование Империи на несколько поколений. Но, к сожалению, народы, по крайней мере в наше время — живут не разумом, а страстями. Они предпочитают резню и голод под собственными флагами.

Как страстно славяне ненавидели «лоскутную» Австро-Венгрию, и как многие теперь жалеют о ее гибели. Старая Австрия давно уже перестала быть Габсбургской деспотией. С 60-х годов она перестраивалась на федеративный лад. Некоторые из ее народов — венгры, поляки — уже чувствовали себя хозяевами на своей земле, для других время полного самоуправления приближалось. Все вообще пользовались той долей политической свободы, какая была немыслима в царской России. И однако, они предали свое отечество в годину смертельной опасности.

В 1917 году демократическая интеллигенция, полгода управлявшая Россией, октроировала федеративное самоуправление некоторым из ее народов. Но в обстановке развала и падения военной мощи России федерация уже не удовлетворяла. А когда в Великороссии победил большевизм, от нее побежали, как от чумы. Большевики силой оружия собрали Империю и террором, как железным обручем, держат, вот уже почти три десятилетия, ее распадающийся состав.

Многим казалось, даже среди непримиримых врагов большевизма, что решение национальной проблемы в СССР принадлежит к самым удачным их достижениям. Оно сводится к двум принципам: полная культурная автономия и никакой политической.

Отсутствие политической свободы прикрывалось обильными поблажками национальному тщеславию. Даже имя России было уничтожено. Одиннадцать республик СССР жили «под своими собственными флагами»: по конституции они имели даже право на отделение. В первые годы Революции национальные силы всех народов, кроме великорусского, не только освобожденные, но и получившие государственную поддержку, привели к расцвету национальных культур. Значительная часть интеллигенции нашла удовлетворение в культурном народничестве. Конечно, вся власть принадлежала коммунистической партии, а партия управлялась из Москвы.

Этот расцвет продолжался недолго. Большевизм был системой не только политической, но прежде всего идеологической. Национальный романтизм, неизбежно принимавший идеалистическую окраску, был ему ненавистен. На десятках языков Союза должны были печататься и читаться только полные собрания сочинений Маркса и Ленина. Это было достигнуто, с прибавлением од Сталину. Для этого понадобилось задушить национальные литературы (особенно украинскую и тюркскую) с истреблением значительной части их интеллигенции. С тех пор национальные движения были загнаны в подполье. Но это значит, что опять, как в царские времена, на окраинах скопляются центробежные силы, готовые взорвать мнимо-федеративную Империю. И чем более они сдавлены прессом НКВД, тем эффективнее должен быть их взрыв после освобождения.

Большевистский режим ненавистен и огромному большинству великороссов. Но общая ненависть не спаивает воедино народов России. Для всех меньшинств отвращение от большевизма сопровождается отталкиванием от России, его породившей. Великорусс не может этого понять. Он мыслит: мы все ответственны, в равной мере, за большевизм, мы пожинаем плоды общих ошибок. Но, хотя и верно, что большевистская партия вобрала в себя революционно-разбойничьи элементы всех народов России, но не всех одинаково. Русскими преимущественно были идеологи и создатели партии. Большевизм без труда утвердился в Петербурге и в Москве, Великороссия почти не знала гражданской войны; окраины оказали ему отчаянное сопротивление. Вероятно, было нечто в традициях Великороссии, что питало большевизм в большей мере, чем остальная почва Империи: крепостное право, деревенская община, самодержавие. Украинец или грузин готовы преувеличивать национально-русские черты большевизма и обелять себя от всякого сообщничества. Но их иллюзии естественны.

Железный занавес тоталитарной лжи мешает нам видеть

ясно, что происходит за пределами общеизвестного застенка. Но есть три факта, которые заставляют предполагать рост сепаратизмов в СССР. Во-первых, по свидетельству беглецов, «националы» составляют заметный процент населения концлагерей. Их присутствие там не уравновешивается представительством политических течений или партий Великороссии, ибо таковых не существует. В бесформенной оппозиционной массе, смешанной с уголовными, выделяются, хотя бы с ярлыком шпионов, только представители малых народов России.

Во-вторых, после второй войны, правительство уничтожило пять республик (или областей), за сотрудничество с немцами. Республики не велики, но показательны; до других, ведь, и не дотянулась германская оккупация. Украйны уничтожить было нельзя без всесоюзного позора, но, кажется, и она заслуживала той же участи. Мы знаем об украинских воинских частях, сражавшихся вместе с немцами, об украинской церкви, об эмбрионе украинского правительства. Пораженчество, конечно, захватило и Великороссию, но на Украйне оно сказалось много ярче.

И, наконец, мы видим то, что происходит в эмиграции, среди нас. Можно утверждать, что зарубежные настроения не вполне соответствуют внутри-советским: преувеличения революционеров неизбежны. Но нельзя думать, что они совершенно оторваны от советской действительности; по крайней мере, для нас, великороссов, война и новая эмиграция принесли скорее подтверждение наших оценок. И вот, среди всех групп русской эмиграции, представители других национальностей России блистают своим отсутствием. Они строят свои собственные организации, даже не пытаясь установить какие-либо связи с русскими товарищами по борьбе или собратьями по судьбе. Более того, ни с чьей стороны мы не встречаем такой ненависти, как со стороны украинцев, которых мы то считали — ошибочно — совсем своими. Как далеки мы от времен старой эмиграции, когда, в чаянии грядущей революции, вожди всех народов России объединялись в борьбе «за нашу и вашу свободу»!

Не трудно предвидеть, что, в случае военного поражения России, произойдет не только падение советского режима, но и восстание ее народов против Москвы. Даже те экономические и политические мотивы, которые могли бы говорить в пользу их связи с Великороссией, превращаются в свою противоположность в условиях поражения. Быть с Россией значит разделить ее ответственность, ее тяжкую судьбу. С другой стороны, перед победителем встанет вопрос, подобный тому, который стоит после поражения Германии. Как обеспечить мир и в будущем от висящей над ним угрозы русской агрессии? Большевизм

умрет, как умер национал-социализм. Но кто знает, какие новые формы примет русский фашизм или национализм для новой русской экспансии? Если бы не было никаких сепаратизмов в России, их создали бы искусственно; раздел России, все равно, был бы предрешен. Фактическое положение сделает возможным произвести его в согласии с волей большинства ее народов, в условиях демократической справедливости. На плечи победителей, ко всем их мировым проблемам, ляжет добавочная тяжесть: организация хаоса на территории Восточной Европы. Мировая Империя — не легкое предприятие. Но военная оккупация облегчит первые шаги.

Перспективы войны и поражения России способны потрясти не одних националистов, но всякого русского, не совсем потерявшего связь со своим народом и его культурой. Теоретически, есть еще шанс — кажется, единственный шанс — предотвращения новой войны: это падение большевистской власти в России. От скольких ужасов оно избавило бы мир! Не будем говорить сейчас, возможно ли оно, — нам представляется, что шансы его ничтожны. Но в судьбе России, как обреченной империи, этот вариант ничего не меняет. Снятие страшной тяжести, висевшей над народами России тридцать лет, означает взрыв всех подспудных, революционных и центробежных сил. Пока русский народ будет сводить счеты со своими палачами, в общем неизбежном хаосе большинство национальностей, как в 1917 году, потребуют реализации своего конституционного права на отделение. Вероятно, произойдет гражданская война, приблизительно равных половин бывшей России. Если даже победит Великороссия и силой удержит при себе народы Империи, ее торжество может быть только временным. В современном мире нет места Австро-Венгриям. Если миром будет править единая власть — единственный шанс его спасения — она будет обязана прекратить всякое насилие одних народов над другими. Ликвидация последней частной Империи станет вопросом международного права и справедливости.

Для самой России насильственное продолжение имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу. Не может государство, существующее террором на половине своей территории, обеспечить свободу для другой. Как при московских царях самодержавие было ценой, уплаченной за экспансию, так фашизм является единственным строем, способным продлить существование каторжной Империи. Конечно, ценой дальнейшего удушения ее культуры.

*
**

Finis Russia? Конец России или новая страница ее истории? Разумеется, последнее. Россия не умрет, пока жив русский народ, пока он живет на своей земле, говорит своим языком. Великороссия, да еще с придачей Белоруссии (вероятно) и Сибири (еще надолго) все еще представляет огромное тело, с огромным населением, все еще самый крупный из европейских народов. Россия потеряет донецкий уголь, бакинскую нефть — но Франция, Германия и столько народов никогда нефти не имели. Она обеднеет, но только потенциально, потому что та нищета, в которой она живет при коммунистической системе, уйдет в прошлое. Ее военный потенциал сократится, но он потеряет свой смысл при общем разоружении. Если же разоружения не произойдет, то погибнет не одна Россия, а все культурное человечество. Даже чувство сожаления от утраты былого могущества будет смягчено тем, что никто из былых соперников в старой Европе не займет ее места. Все старые империи исчезнут.

В конце концов имперское сознание питалось не столько интересами государства — тем менее народа — сколько похотью власти: пафосом неравенства, радостью унижения, насилия над слабыми. Этот языческий комплекс для России девятнадцатого века означал кричащее противоречие между политикой государства и заветами ее духовных вождей. Русская литература была совестью мира, а государство пугалом для свободы народов. Потеря империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик.

Освобожденная от военных и полицейских забот, Россия может вернуться к своим внутренним проблемам — к построению выстраданной страшными муками свободной социальной демократии. Тридцатилетие коммунизма и потом коммуно-Русский человек огрубел, очерствел, — говоря словами народного стиха, покрылся «еловой корой». Вероятно, не одно поколение понадобится для его перевоспитания, т. е. для его возвращения в заглохшую традицию русской культуры, а через нее и русского христианства. К этой великой задаче должна уже сейчас, в изгнании, готовиться русская интеллигенция, вместо погони за призрачными орлами империи.

ЗАПАД И СССР

В последней статье моей в "Новом журнале" (№ 10), озаглавленной Россия и Свобода – я выразил убеждение, что свобода в новой советской Московии может прийти только с Запада. Но в предпоследней – Рождение Свободы – (№ 8) западная свобода показывалась в состоянии тяжелого кризиса. Сопоставление этих двух точек зрения приводит к выводам, далеким от оптимизма. Может ли больной европеец вдохновить порабощенную Россию пафосом свободы, который он сам утратил? Где они, те могучие голоса, которые, ворвавшись в царство смерти, должны разбудить спящих? Во всяком случае, пока, влияние России на западный мир – Европу и Америку – во много раз сильнее возможного влияния Запада на Россию. Оно поддерживается все еще не померкшим обаянием советского коммунизма, разлагающим демократические убеждения левой интеллигенции рабочего класса. Оно, за время войны, разлилось широкой волной по всем странам и всем социальным классам, поддержанное победами Красной Армии. Россия выступила в новой роли – спасительницы западной цивилизации от гитлеровского варварства. Ее участие в освободительной войне заставляет прощать все. Сейчас линия русской оккупации остановилась на Эльбе. Это значит, что не только Восточная, но и значительная часть Центральной Европы отторгнута из сферы западной, свободной и демократической культуры и включена в орбиту тоталитарной мировой державы. К западу от этой черты русская экспансия действует по внутренне-политическим линиям. Но остановка на линии Эльбы и Альп результат лишь первого раунда. Сейчас направление экспансии СССР передвинулось в Азию, на Ближний и Дальний Восток. Европа, или то, что от нее осталось живого, получила передышку. Это время дано, чтобы задуматься над смыслом происходящего, произвести проверку совести и приготовиться к обороне. Время и нам, изгнанникам Европы и духовным сынам

Впервые опубликовано в "Новом Журнале", № 11, Нью-Йорк.

ее, поставить ворос или ряд вопросов. Как могло случиться, что Европа позволила без борьбы отрезать от себя половину своего тела? Как могло случиться, чтобы тоталитаризм, который вчера был признан несовместимым с основами нашей цивилизации, теперь принят в состав демократического мира, призван решать его судьбы и многими признан новой, самой совершенной формой демократии? Не трудно видеть, что этот вопрос и множество других, связанных с ним, сводятся к проблеме общего кризиса современной культуры. Этот кризис протекает в трех планах: духовной культуры, социально-политических и внешне-политических, или международных отношений. Наше понимание кризиса сводится к следующему. Во всех сферах жизни кризис является результатом распада исконного единства христианской цивилизации. Долгое время распад этот сопровождался освобождением огромных творческих сил. Гордая сознанием своего могущества культура эта мнила обосновать себя на перманентном конфликте, на свободной игре противодействующих сил. Но, наконец, распад достигает таких пределов, при которых жизнь становится невозможной. Тут вступают в действие революционно-фашистские силы, пытаясь осуществить новую интеграцию, на основе новых доминант, совершенно несовместимых с историческим типом христианской культуры. Между ними возможна лишь борьба на жизнь и смерть. Такова схема. Проследим ее развитие в трех указанных сферах, под одним лишь углом зрения, отмеченным в заглавии: как в атмосфере внутренне-европейского кризиса вырастала роль России, которая из вчерашней ученицы и члена европейской семьи, становилась судьей и мстительницей и готовится стать наследницей Европы.

1.

В средине прошлого века европейская культура достигла своего апогея. Она безраздельно господствовала на трех континентах — и в правящих классах России. На двух остальных материках, считавшихся варварскими, она разливалась, не встречая сопротивления; их окончательное духовное завоевание представлялось вопросом времени уже недалекого. Европейская культура имела право считать себя мировой. Вместе с тем она смотрела на себя не как на одну из возможных цивилизаций, а как на цивилизацию вообще, как на продолжение, в ходе однолинейного прогресса, греко-римской, уже универ-

сальной традиции. Если теперь эта претензия кажется неоправданной, то вполне законным было то высокое самосознание этой культуры, которое позволяло ей считать себя цветом и вершиной человечества. Во-первых, всякая живая культура, как система ценностей, должна считать себя высшей, если не единственной. Релятивизм в мире ценностей есть начало распада и смерти. Во-вторых, европейская культура имела и все об'ективные основания (религиозные, нравственные, интеллектуальные и эстетические) для сознания своего первородства.

Однако, внутри этой культуры было далеко не благополучно. Правда, ее наука и техника шли от успеха к успеху. Социальный прогресс был несомненным. Раскрепощение рабов, освобождение народов и быстрый под'ем благосостояния низших классов делал девятнадцатое столетие самым благословенным в истории мира. Но давно уже, много веков назад, глубокая трещина прошла между христианством, которое оставалось еще живой религией масс и официальной религией наций — и тем научным рациональным миросозерцанием, которым жила культурно-творческая интеллигенция. В то время считалось, что отмирание религии и составляет завершение прогресса, что религия, сыгравшая свою положительную роль в истории, может быть убрана, как леса после постройки здания. Наука была призвана заменить ее. Связь между культурой и христианством была не совсем оборвана, но она держалась на одной этике. Нравственные основы жизни девятнадцатого века были еще в известной мере христианскими. Нельзя, конечно, как это часто делается, считать гуманизм девятнадцатого и двадцатого века чистым выражением христианской этики. Точная формула его была бы: иудео-христианский этический минимум, разбавленный не-христианским гедонизмом. Но в этом сплаве некоторые, подлинно-христианские ценности — напр., культура свободы и сострадания — достигли такого цветения, как ни в одну из древних, более религиозных эпох христианской жизни. Девятнадцатый век забыл о христианском происхождении этих ценностей. Для него они, странным образом, вытекали из самого понятия цивилизации, как научного просвещения, хотя языческая культура Ренессанса могла бы исцелить от этой иллюзии. Но только этими ценностями питался весь огромный энтузиазм социального прогресса, как освобождение рабов и бедняков. Только это согласие в основном этическом кодексе поддерживало единство борющихся классов, единство верующего народа и неверующей интеллигенции в пределах национального государства, связь государства в системе европейского равновесия.

Около 1850 г., как раз на перевале великого века происходит ряд духовных взрывов, впервые угрожающих нравственным основам западной цивилизации. На расстоянии нескольких десятилетий появляются: «Коммунистический Манифест», «Цветы Зла», «Записки из Подполья» и первые произведения Ницше. Лишь через два поколения ядовитые газы, вырвавшиеся из этих бомб, спустились в широкие слои интеллигенции и отравили их сознание. В наши дни всякий подросток, в самые нежные годы, проходит чрез эту ядовитую зону, и редко выходит из нее не отравленным: даже если он никогда не открывал этих книг. Каждая из них указывает разные пути или тупики. Общее для них — отрицание гуманистического христианства не как метафизики, а как нравственной основы жизни. Сюрреализм, фашизм и коммунизм произрастают на этой общей почве.

Полстолетия и более буржуазное общество не беспокоилось особенно по поводу «Цветов Зла», вырастающих в его подполье. Они казались нестрашными уродствами, чудачеством богемы или бредом революционеров. Здоровый организм был уверен, что сумеет преодолеть всякие яды. Но шли годы, и этот организм стал проявлять признаки той «атонии» или духовного безволия, которое страшнее всех острых болезней. В сфере культуры его имя — релятивизм. Во второй половине девятнадцатого века все оценки «благонамеренных» людей начинают приобретать относительный характер. В начале века Истина (или Наука), Свобода, Справедливость, Красота были абсолютами, в которых светились отблески заходящего солнца религии. В конце века то были уже относительные теории или условные нормы. Демократия или правовое государство — удобная форма для нашего цивилизованного общества. Но, может быть, деспотизм вполне пригоден для менее цивилизованных наций. Наша физика и естествознание позволили удовлетворительно описать и об'яснить наличные данные опыта. Завтра новое открытие может перевернуть всю нашу картину мира; может быть, Птоломей окажется более прав, чем Коперник. Нам нравятся классические картины и статуи наших музеев; но есть другие формы искусства — древние и экзотические — может быть, не менее прекрасные. Наша этика хороша для нашей экономической и социальной системы; этика каннибалов пригодна для их примитивного хозяйства. И т. д., и т. д.

То была полоса чрезвычайно благоприятная для развития историзма, который перерос рамки одной науки — истории, и окрасил собою все области наук о духе. Об опасности исто-

ризма, как мировоззрения, предупреждал Ничше. Историки конца века проявляли изумительную способность «вчувствоваться» в чужие культурные миры. Но для них понимание означало оправдание и даже, зачастую, апофеоз. От Моммсена до Виппера — мастера исторической науки занимались реабилитацией тиранов; можно утверждать, что для подрыва демократического сознания историческая наука сделала больше всякой другой.

История необычайно расширила культурные горизонты человека девятнадцатого века, воскрешая угасшие миры. Живое искусство идет в том же направлении. Художники открывают японское, китайское, египетское искусство — не для изучения только или восхищения, но и для подражания. Европейский художник потерял веру в себя. Он усомнился во всех завещанных предками канонах прекрасного и уверовал во множество путей искусства. Из этих путей для него исключался только один — торный путь от Ренессанса до наших дней, справедливо или нет, представлявшийся изжитым. Замечательно, что среди исторических перевоплощений нового искусства оказались в пренебрежении не только греческий мир (за исключением архаики), который доселе всегда ложился в основание всех «возрождений», но и романско-готическое средневековье, некогда воспитавшее отрочество и юность «Фаустовского» человека. Почему? Это остается загадкой. Может быть, потому, что религиозный ключ к нему был утрачен, а внешние формы были еще слишком знакомы и опорочены связью с упадочным церковным искусством нашего времени. Во всяком случае, художники вдохновлялись далеким, а не близким. В тоске по экзотике выражалось отвращение к себе и к своим предкам. В этих условиях расширение художественного восприятия, открытие новых миров означало не обогащение, не рост возможностей, а обессиление и обезличение.

В жажде более острых впечатлений, стимулирующих бессильное воображение, спускались от древних культур к примитивам, пока не открыли искусство негров, как будто вполне адекватное западному нео-варварству. Но эстетический мир, еще в меньшей мере, чем научный, может быть оторван от нравственного. Более глубокое эстетическое восприятие предполагает соответствующую моральную «чувствительность». Искренняя и глубокая любовь к мексиканскому искусству, например, погружает душу в кровавые испарения массовых человеческих жертвоприношений, а влюбленность в негритянские

идолы или пляски заражает эротикой свальных оргий. Искусство совсем не такая пустая и невинная вещь, какой его воображают буржуа, употребляющие его для украшения своего домашнего быта. Толстой понимал это. Впечатляющая музыка или талантливый роман могут сделать больше для воспитания (или разложения) человека, чем тысячи церковных проповедей или школьных уроков.

Искусство Востока открывало европейскую душу заразительной силе восточных религиозных токов. Но они же влияли и непосредственно. Шопенгауэр пролагал дорогу буддизму, за которым шла волна браманизма, и в чистой эссенции – для немногих – и в синкретизме тео- и антропософии для массового потребления. Что влечет европейскую душу к религиям Индии и вообще Востока, это свобода от чувства греха и личной ответственности, блаженное слияние с космосом и утрата постылого и больного "Я". Пантеизм Востока уничтожает самое сознание личности, находящей себя в нравственной борьбе. Личность – это самый нерв иудео-христианского религиозного сознания. Отказ от нее означает тайную волю к самоубийству; влечение к пантеизму есть тоска по безболезненной, анестезированной смерти, эвтансии.

Любопытно, что восстание против викторианского морализма в английской литературе дает ту же пантеистическую реакцию. Она заметна у таких человечных и как будто христианских писателей, как Томас Гарди, Голсворти, и у их преемников – Мэри Уэбб, Вирджинии Вульф и Чарльза Моргана. Это все первые имена английской школы, вероятно, первой в Европе – во всяком случае, в междувоенные годы. Писатели еще живут внимательным и печальным интересом к человеку, еще полны жалости к его бесцельной жизни и неотвратимой смерти. Но из их человека вынут тот стержень ("Я"), который ранее делал его героем драматической или трагической борьбы. От отчаяния спасает лишь ощущение космического лона, которое принимает в себя, в свой вечный круговорот, им порожденные души.

Пантеизм и увлечение восточными религиями характерны для томных и упадочных настроений fin de siecle – еще не изжитых кое-где и поныне. Но западный мир, потерявший чувство личности, еще полон животных, биологических сил. Вместо эвтанасии он ищет теперь омоложения, как прокаженные средних веков, в ваннах человеческой крови. Где раньше, где позже – везде поколение утонченников сменяется поколением

бруталистов. Пониженный до шепота декадентский стих переходит в неистовый рев футуриста. Вместо духа, машина делается предметом обожания; аристократия и массы одинаково увлечены спортом. Вчера еще комнатная, худосочная молодежь, теперь в скаутских лагерях воспитывается для войны. Презрение к книге становится почти всеобщим. Европа готовится к полосе войн и революций.

Для нашей фашистской эпохи характерно отвращение к человеку — к его лицу и телу — в современной живописи; отвращение к его эмоциям — в музыке. В лучшем случае место человека в искусстве занимает математическая красота чистых пространственных и ритмических форм; в худшем — жажда дисгармоний и эрос безобразия. Именно в этот момент Пикассо открывает искусство негров, и французские сюрреалисты, последовательно и сознательно, соединяют с эстетическими дерзаниями проповедь садизма.

Впрочем, во французской литературе пафос насилия был редким явлением. Может быть, среди ярких талантов лишь Анри Монтерлан искал обновления в мужестве и жестокости, в древней языческой религии быка и солнца. Зато бесчеловечность во французской литературе утвердилась гораздо раньше других. Артистизм Стендаля и Флобера требовал такого же холодного любопытства к живому, страдающему человеку, с каким естественник подходит к миру животных и растений. Бессознательной предпосылкой этого демонического объективизма было сладострастие, умертвившее человеческую теплоту и составляющее, до самого конца, основной пафос французского искусства. В этом, если угодно, была и трагическая тема его; но это трагизм не нравственной борьбы, а бессилия и рока.

Любопытно, как новая тема — обновление через насилие — проникает в ту литературу, которая была и остается хранительницей заветов человечности. У англичан, параллельно с потухающей кривой пантеизма, возникает и новая школа имморалистов, то легких и веселых, то вполне серьезных. Киплинг воспевал войну и аристократизм белой расы. Честертон с мальчишеским задором изобразил свержение английской демократии, произведенное "Наполеоном из Ноттингхиля". Б. Шоу, который сделал более, чем кто-либо другой, для подрыва демократических идей в Англии, сам, правда, не проповедовал войны, но всегда унижал культуру мира и свободы перед чужестранным тоталитаризмом — немецким или русским. И, наконец, Д.Г. Лоренс объявил религиозную войну интеллектуаль-

ному и эстетическому миру старой Англии во имя иррациональных, биологических инстинктов. Торжество их он видел скорее в половой жизни, чем в войне. Его ненависть к социализму и технической культуре мешала ему сделаться настоящим фашистом, но в своем мексиканском романе «Крылатый змей» он идеализирует политическое движение, направленное одновременно против христианства и демократии.

Германия, которой суждено было сделаться средоточием мирового фашизма, духовно дольше других ему сопротивлялась. В этом заключается один из парадоксов новейшей истории: влияние политики иногда насильственно вторгается в сферу духовной культуры, деформируя ее. Для Германии, как и для России, поражение в войне 1914—1918 г. означало срыв с их исторических путей. Немецкая философия дольше других боролась против релятивизма; в нео-кантианстве и других идеалистических течениях она пыталась спасти, что можно, из христианской этики. Когда ее политикам понадобилось оправдание языческого динамизма, они искали его скорее заграницей (расизм, империализм), чем в собственной традиции Ничше-Вагнера. Веймарское пятнадцатилетие создало больное искусство — искусство страха, отчаяния и безумия — но не насилия. То было предфашистское, но не фашистское искусство. Грядущий нацизм почти не отразился на нем; потому, вероятно, к нему и не отнеслись достаточно серьезно. Культурная Германия болела Достоевским и готовилась стать жертвой собственных детей; дети-то занимались не культурой, а военными играми.

Культура Америки носит характер странного раздвоения; она одновременно и наиболее отсталая и наиболее передовая страна. Официальная Америка и огромное большинство ее народа живет в наивный и счастливый век, соответствующий Европе не то восемнадцатого, не то девятнадцатого столетия. Она полна упоением собственных сил и возможностей. Она хочет наслаждаться жизнью, и из обрывков гуманитарного христианства и своей конституции творит себе веселую религию доброго гедонизма, с обязательной улыбкой и забвением смерти. Не помня о христианском происхождении своей демократии, и все еще празднуя освобождение от недавно властвующего пуританства, Америка в своей анти-христианской школе и науке подрывает основы собственной жизни. Этой цели служат и «прогрессивное воспитание» и три кита, на которых держится американский университет, антропология, психология и социо-

логия. Америка не имеет серьезной философии, которая могла бы задержать на метафизической и этической ступени религиозный декаданс. Оптимизм нации питается ее огромными техническими и экономическими рессурсами, делающими ее, впервые в истории, самой мощной державой мира. Но этот близорукий оптимизм не в силах создать великого искусства. Он обслуживается Бродвеем и беллетристикой, стоящей ниже литературного уровня. Вся молодая и талантливая литература Америки живет отчаянием, ненавистью и неврозами, напоминающими и Веймарскую Германию и передовую Францию. Истинный художник, даже и в падении своем, сохраняет нечто от пророка. Он живет впереди своего времени, жадно впитывая в себя те, даже самые уродливые и мерзкие впечатления, которые ведут в будущее. Американская передовая литература живет презрением и ненавистью к обществу, ее породившему, и к человеку, им порожденному. Поскольку она проникается духом насилия и сознательно примыкает, в отрицательных реакциях, к коммунизму, она приобретает не только предфашистский, но и про-фашистский характер.

Какую роль в этом культурно-духовном процессе играет Россия? Сравнительно скромную, если речь идет о ее культуре; огромную, если взвесить факт русской революции и ее тоталитарного завершения.

Россия изменила своей гуманитарной и этической традиции с 90-х годов. Но вся ее великая литература и искусство, открытые Европой слишком поздно, создания девятнадцатого столетия. Мало что из позднейшего просочилось на Запад. Но зато и христианские традиции русского девятнадцатого века не были восприняты, или восприняты поверхностно. Художнический гений Толстого убедителен для всех. Его религиозный гений влиял на Европу не евангельским морализмом, а натуралистическим пантеизмом, которого она искала. Достоевский заражал своими неврозами, разлагал и продолжает разлагать гуманистический оптимизм Запада, но его христианская метафизика, его опыт построения нового религиозного гуманизма прошли бесследно.

За то русская революция зажгла костер, на который вот уже скоро тридцать лет, как летят все бабочки старого мира, чтобы сжигать в нем свою совесть и крылья. Если оставить пока в стороне чистых социалистов, заинтересованных в построении нового мира — равенства и справедливости — большинство интеллигенции, с тем сознанием, которое охарактеризовано вы-

ше, влекутся на огонь не столько потому, что он обещает рождение нового, сколько гибель старого. Ненависть к старому, как и у русских символистов, приявших революцию, доминирует. Вот почему никакие провалы нового советского строя не могут перевесить значения того факта, что революция уничтожила буржуазию «как класс», убив миллионы людей. Кровавый кошмар ее — не пугает. Эстеты и авантюристы, презирающие собственное рабочее движение и свой умеренный демократический социализм, в Москве с наслаждением вдыхают кровавые испарения. Ненависть к капитализму, которым живет почти вся современная интеллигенция, вовсе не означает ненависти к экономической эксплоатации и, уже подавно, сострадания к человеку-работнику. Капитализм это символ всей современной цивилизации, механической и бездушной, обесчеловечившей человека; в последнем счете, для современной души ненависть к капитализму есть ненависть к самой себе. Но советская Россия как раз живет индустриально-механическим пафосом раннего капитализма; она как раз производит сознательно и планомерно, средствами государственной тирании, то обесчеловечение человека, которое на Западе явилось результатом вековой экономической эволюции. Этого не хотят знать, потому что не видят, не интересуются человеком. В России чтут огромную разрушительную силу, способную взорвать на воздух старый мир.

2.

Политический строй Европы — демократия — разлагается с двух концов: мы говорим, справа и слева, танцуя от печки французской революции. В генеалогии современного фашизма левые силы решительно преобладают. Сорель, Муссолини, Ленин и Сталин вышли из крайне левого фланга социалистического движения. Только Гитлер был не причастен к Интернационалу, — но он и пришел позже других, на готовое. Охранительные и реакционные силы старого мира, группировавшиеся вокруг монархий и остатков родовой аристократии, оказались удивительно бессильны. В решительной борьбе они везде, кроме Испании, скорее стали на сторону демократии — очевидно, как меньшего зла. Фашизм, по своей идеологии, был движением республиканским и плебейским. Для Муссолини союз с Сардинской династией был актом оппортунизма и, может быть, личного тщеславия, вроде брака Наполеона с австрийской эрцгерцогиней. Что касается Гитлера, то самых

серьезных врагов он нашел в прусском юнкерстве (покушение генералов).

Сто лет тому назад, картина была иная. Демократия, торжествовавшая — идеологически и номинально — во французской революции, шла под знаменем инидивидуалистического рационализма. Реакция, которую она вызвала против себя, обращалась к силам иррациональным и безличным — к средневековью, еще доживающему в народных массах, к религиозным и монархическим чувствам, к традиции, к принципу социальной иерархии и, наконец, к национальной душе, перед которой должно склониться личное самосознание. Такова философия немецкого исторического романтизма, Де-Местра и Бональда во Франции, русского славянофильства. В те годы народный традиционализм был большой силой, которая могла задержать на десятилетия победу рационализма и либеральной буржуазии. Но за девятнадцатое столетие цивилизация спустилась так глубоко в народные низы, что реакция не могла уже делать ставку на их религиозные или патриархальные пережитки. Самое большее, на что мог опереться Гитлер в своем антирационализме, были элементарные биологические инстинкты — крови и расы — пережившие разложение национальной души. Но и они должны были вступить в неразложимый комплекс с современными механическими силами: хозяйства, техники, военной мощи. В фашизме итальянском и русском иррациональные мотивы почти отсутствуют. Материнским лоном ленинизма-сталинизма был марксизм — в крепком, неразбавленном виде 1840-х годов.

Оба гения — родоначальники современного социализма, Сен-Симон и Маркс — дышали воздухом реакции своего века и глубоко впитали его в себя, однако, очистив от всего иррационального. Между ними есть, конечно, существенная разница. Сен-Симон, истинный сын Наполеоновской Франции, — враг революции и ее идей; Маркс, современник новой революционной эпохи, становится ее философом, и хочет быть практиком. Сен-Симон увлекается одновременно и средневековым католицизмом — началом иерархии — и прогрессивными возможностями буржуазного индустриализма. Маркс презирает все традиции и, уважая прогрессивный рационализм буржуазии, ненавидит ее. Истинная душа реакции, воплотившаяся в Марксе, — отрицание личности и свободы. Органические силы истории, которыми жил романтизм, превратились у него в механические, но сохранили свою безличность. Так же, как и реакционные романтики, Маркс считает бессмыслицей борьбу с ними

и относится к ним с крипто-религиозным преклонением. Они являются у него носительницами революционного процесса, требуя от личности беспрекословного повиновения своим наукой выводимым законам. Отречение от свободы, от личной скалы ценностей, от этики вообще, становится впервые долгом революционера. Более того, вследствие диалектического характера исторического процесса, все этические оценки революционера, без которых он не может обойтись, выворочены на изнанку. Письма Маркса не оставляют места сомнению: он радуется всякому злу, совершающемуся в мире, даже насилию над пролетариатом, ибо зло, самым сгущением своим, приближает свое отрицание — революцию. И обратно, ничто так не противно ему, как усилия добра (для него безнадежные): смягчение эксплоатации, улучшение жизни трудящихся, кооперативные и профессиональные движения, даже политические завоевания социализма. Все, что смягчает зло, способно продлить его существование. Это настоящая философия злорадства, которая на практике совпадает с позициями крайне-правой реакции. И, подобно реакционерам, Маркс, противник цивилизованной борьбы, оказывается апологетом насилия. Только полная мера насилия применяется после победы над побежденным врагом. Его учениками отрицается террор тираноборцев, но приемлется террор революционных тиранов.

Невозможно отрицать, что Ленин был верным учеником т а к о г о Маркса — эпохи Коммунистического Манифеста. В его лице в наши дни Маркс redivivus еще раз разрушает рабочий Интернационал. При жизни Маркса его немецкие ученики строили с.-д. партию, мало считаясь с брюзжанием учителя. На практике, они шли путем Лассаля. Даже Энгельс почтительно изменял своему покойному другу. Учитель Бернштейна может считаться родоначальником демократического социализма. Но никто не заменил Маркса на посту непогрешимого пророка. Маркс был гений, и что написано его огненным пером, того не вырубили десятки топоров честных плотников.

Отношение Маркса к демократии, как к одному из видов добра, было резко враждебным. Политическая свобода, всеобщее голосование, парламент, плебисцит, были предметом его яростных насмешек, во всяком случае после переворота 1851 года во Франции. Для него все это лишь лицемерное прикрытие голого факта диктатуры буржуазии. Придет время, и она сменится диктатурой пролетариата. Само насилие не смущало Маркса, скорее импонировало ему. Но сговор, соглашение с врагом — основы демократии — были ему противны.

Столь же противны ему идеалистические предпосылки демократии-либерализма: суверенные права личности, вера в творческую свободу человека, в его нравственное достоинство. Человек был в истории рабом или каналом бессознательных сил, воплощением класса, а не лицом. И отношение к нему определялось отношением к его классу. Макиавеллизм должен быть политическим выводом подобной социологии.

Чтобы понять по достоинству оценку Марксом демократии, нужно помнить, что она относилась не к упадочному, расчетливому, коммерческому строю позднего капитализма, а к юношеской, восторженной идеологии средины века. Та демократия — идеал, а не действительность — была знаменем на баррикадах Парижа. Она только что обновила свои лозунги, завещанные восемнадцатым веком, в новом, полу-христианском романтизме. Она сама была почти религией для людей такого калибра, как Гюго, Герцен, Мадзини. В 1848 году она сливалась с социализмом утопистов. Социализм мог бы вполне считать ее своей матерью, как она признавала его своим сыном. Благодаря Марксу, сын отрекся от этого благородного родства. Вместо того, чтобы выводить свои требования из принципов демократии, он предпочел обосновывать их на совершенно ином, механическом, аморальном миросозерцании.

Мы знаем, что историческая социалдемократия, следуя Энгельсу, а не Марксу, не только приняла демократический строй Европы, но и боролась за него. Более того, в двадцатом веке в Германии она была почти единственной серьезной демократической партией. Но ее отношение к демократии было чисто инструментальным. Она хотела, говоря словами Энгельса, «нагуливать красные щеки» в атмосфере демократического парламентаризма. Но она, верная Марксу, не переставала разоблачать перед массами буржуазную подоплеку демократических идей. Для нее они и учреждения, на них основанные, были хороши лишь как оружие в борьбе за интересы пролетариата. Возможность иных средств всегда оставалась открытой. Массы воспитывались в холодной отчужденности от тех идеалов, которыми некогда жила, и уже переставала жить буржуазия. Невозможно было и представить себе, что они станут умирать за эти идеалы, для них чужие. Но всякий политический строй живет лишь до тех пор, пока люди готовы умирать за идею, лежащую в его основе. Японцы готовы умирать за своего императора. Англичане и американцы, слава Богу, еще готовы умирать за свободу. Но немецкие рабочие не могли умирать за Веймарскую республику, хотя и считали ее «самой демокра-

тической в мире»; в их сознании это означало только лучшую, т. е. наименее гнусную, форму буржуазного господства.

Если пролетариат относился холодно к демократии, то буржуазия держалась ее более по привычке, чем по убеждению. Скептицизм давно уже подорвал веру в великие слова свободы и равенства, которые, вне религиозной атмосферы породившей их, звучали отжившей риторикой. Демократия оказалась удобной, комфортабельной формой жизни, совсем не такой страшной, какой она угрожала быть в героические времена революций. Потребность в кумирах удовлетворялась уже не идеями демократии, а живой реальностью отечества или нации. Заново открытая в начале девятнадцатого века, нация пережила крушение революционных кумиров; она-то могла существовать и вне всякой метафизической почвы. Правда, обездушенная, она превратилась в комплекс интересов, но за ними стоял комплекс страстей. Высокое и низменное, святое и порочное сливалось в ее содержании. Это была жизнь, а не голая абстракция. И нация, вместо свободы, сделалась политической религией идолопоклонством — буржуазии.

Если буржуазия, в своем релятивизме, держалась за демократию, то культурная элита, в сменяющихся волнах поколений — презирает ее. Сначала, в эпоху эстетизма, она считает всякую политику грязным делом и уходит от нее в мир искусства и философии. Во Франции разрыв между интеллигенцией и политикой, столь роковой для ее национальной жизни, начинается в годы Второй Империи. Это и была настоящая «измена клириков», а не та, за которую упрекал интеллигенцию Бенда, т. е. вторичное ее возвращение к политике в начале двадцатого века. Франция была в этом отношении самой несчастной страной, но та же разобщенность между культурой и политикой чувствовалась всюду — менее всего в Англии. Даже в Америке, не знавшей декадентства, политика стала, или считалась, делом нечистоплотных профессионалов.

В эпоху брутализма все изменилось. Молодежь, воспитанная в спорте и жаждущая борьбы, вернулась в жизнь нации (La Cité), но с топором в руках, чтобы рубить под корень опостылевшее дерево свободы. С самого начала ее дороги разошлись. Одни шли под знаменем нации и войны, другие — социализма и революции. Их объединяла жажда героической жизни, катастроф, насилия. Слово violence, со времени Сореля, для французской молодежи приобрело священный смысл, тождественный слову «борьба» в лексиконе русской интеллигенции. Демократия, как и капитализм, были предметом общей

ненависти. Выставить свою кандидатуру в парламент означало измену всем принципам чести и непримиримости как для правого, так и для левого радикализма. Правые долго шли за Морасом и романтической утопией старой монархии; левые, лишенные крупных вождей, метались между марксизмом и синдикализмом. Переходы из стана в стан были нередки (Жорж Валуа). Их разделяла в сущности одна острота национального чувства или его отрицания, но именно в этой области обращения всегда возможны и не носят печати ренегатства.

Если бы власть идей была сильнее власти исторических фактов, то и фашизм и коммунизм имели все шансы родиться во Франции. Но социальный остов страны оказался устойчивым, и судьба или героизм Франции подарили ей безрадостную победу (1918 г.). Коммунизм и фашизм родились в странах побежденных или униженных и сообщили им необычайный ореол в глазах революционной интеллигенции других, более счастливых (и более скучных) стран. В Москву, в Рим и в Берлин потянулись паломники, жаждущие нового мира, построенного на революционном насилии. Между коммунизмом и фашизмом завязались сложные отношения подражания, конкуренции, борьбы. Развитие этих отношений может быть представлено в следующей схеме. В известном смысле коммунизм породил фашизм — не как систему идей, а как организованное движение. Итальянский фашизм и немецкий нацизм явились национальными реакциями на угрозу коммунистической революции. С другой стороны фашизм сразу же облекается в те политические формы, небывалые в истории, которые созданы русской революцией: абсолютная власть вождя, скованная железной дисциплиной партия, как аппарат пропаганды и принуждения, и массы, непрестанно и искусственно вовлекаемые в политическое брожение, активно-пассивные, повинующиеся с восторгом, выполняющие чужую волю, как свою собственную. Первое столкновение коммунизма с Западом, еще демократическим, приводит к его поражению. Фашизм оказывается сильнее его, апеллируя и к социальным и к национальным, т. е. более глубоким инстинктам масс. В России коммунизм, в его марксистско-ленинской идеологии, несомненно ожидала та же судьба, что и на Западе. Он спасает себя, усваивая национальную идеологию своих врагов и нечувствительно сближается с фашизмом, ибо национальная идея была главной чертой их разделяющей. В этой новой форме СССР включается в орбиту фашистской Оси держав, начинающих борьбу против оставшихся демократий за мировое господство. Раздор в их стане

— нападение Германии на СССР — обеспечило победу демократической коалиции, но уже при участии тоталитарного союзника. С разгромом всех конкурентов, Москва остается единственным центром мирового тоталитаризма, который все еще сохраняет имя коммунизма. Коммунистические партии всего мира ставятся на службу русского империализма, социальная революция делается формой русской военной экспансии.

Вся эта эволюция коммунизма, т. е. поворот его на 180 град. от крайне-левой до крайне-правой точки, повидимому, нисколько не ослабила в мире его обаяния. Одни отходят, другие приходят к нему, но раболепные восторги перед Москвой не прекращаются. Это лишний раз доказывает, какую ничтожную роль в комплексе коммуно-тоталитарных притяжений играют положительные социальные мотивы: справедливости, сочувствия трудящимся и угнетенным. Радикализм отрицания настоящего и беспощадное, на трупах, строительство нового общества, основанного на абсолютной несвободе, по-прежнему влечет созревшие для тоталитаризма сердца.

Для понимания психологии коммуно-тоталитаризма необходимо строго различать между партийным коммунистом и попутчиком. Это совершенно разные породы людей. Коммунист человек чрезвычайной узости мысли и большого волевого напряжения. Он примитивен, ненавидит свободную мысль и личную ответственность, но полон горения деятельности и борьбы. Попутчик — обыкновенно человек широкий и культурный, который хочет все понять и все простить. Из'еденный релятивизмом, он лишен способности собственных оценок и нуждается в постороннем давлении или активизации, чтобы согреть свои остывшие жизненные инстинкты. Его тянет к силе, подобно слабой женщине. Он, как Ибсеновская Гильда, мечтает о могучих викингах, которые смогли бы его изнасиловать. Во имя чего, для него, пожалуй, безразлично. Недавно он любовался красотой и гимнастической выправкой Hitlerjugend. Теперь московские песни и марши, особенно после всех побед, приводят его в восторг. Поскольку попутчик человек политических интересов, бывший демократ или социалист, он исходит из сознания бессилия классической демократии построить новый мир. Неуверенный в правильности новых планов, он готов оказать им доверие в кредит: «Может быть, что-нибудь да выйдет. Во всяком случае, их энтузиазм изумителен. С такой верой можно двигать горами. А жертвы? — История без них не обходится...»

Тем временем русский фашизм не стоит на месте. Вся-

кий фашизм представляет неустойчивую, переходную форму власти, продукт революционной эпохи. Из трех составляющих его элементов, ранее других сходит на нет народ. Он устает от бесплодного кипения внушаемых страстей. Он хочет покоя, и правительство все реже привлекает его на демонстрации, фальшивые выборы, заседания псевдо-советов. Но в России и партия, обескровленная казнями и чистками, потеряла свой идеологический костяк. Она стала пропагандистским орудием в руках вождя, который сделался абсолютным монархом страны. Все более подчеркивается его связь с самодержавными строителями Империи. Наиболее адекватное свое отражение он находит в образе Ивана Грозного. Продолжительное отчуждение от Запада, не смягченное и общими жертвами войны, сообщает советской монархии восточный характер. Ей не хватает наследственности, не хватает религиозного освящения. Но эволюция не остановилась на сталинизме. Идеология 1945 года, сочетание Маркса с Иваном Грозным, является крайне неустойчивой и внутренне нелепой. Заигрывая с церковью, Сталин как бы примеряет на себя шапку Мономаха. Тень Византии, уже реабилитированной в СССР, падает на советскую Россию. Если развитие будет идти в том же направлении (единственное основание исторического предвидения) и достаточно долгое время, то монархия именно Византийского, а не русского типа (т. е. принципиально не-наследственная и сверхнациональная) явится последним завершением русской революции. Только она покроет своей порфирой не одну Россию. Половина Европы уже вовлечена насильственно в орбиту России. В остальной половине коммунисты и попутчики работают усердно, хотя и бессознательно, на пользу грядущей Византии, подобно тому, как сто лет тому назад, часть ослепленных радикалов 1848 года строили трон Наполеона III.

3.

Духовное и социальное состояние Европы нашего времени напоминает Грецию четвертого века до Р. Хр. Тогда устои демократии были подорваны борьбой классов и религиозно-этическим скептицизмом. Великий демократический век Греции оказался кратковременным и переходным — между древней аристократией и грядущей монархией. Лучшие умы, смущенные хаосом демократического разложения, искали опоры в авторитарных режимах, своих и чужестранных: в аристократии Спарты, в тирании Сиракуз, в монархиях Македонии и

Персии. Сравнение нашей эпохи с Грецией Пелопонесских войн принадлежит, как известно, Шпенглеру. Оно удачно покрывает сходство и внутренних и международных отношений. Греция истощила свои силы в бесконечных войнах отдельных городов, соединенных общностью языка, религии и культуры. Бессознательно они жаждали политического об'единения, бессильные осуществить и даже проэктировать его. Силы местных городских патриотизмов разбивали все попытки к прочному об'единению. Единство пришло извне; сперва его несет Македония, потом Рим.

Европа наших дней тоже давно переросла национальные границы. Ее духовная жизнь и на сохранившихся вершинах и в одолевающем варварстве представляет несомненное единство. Есть только одна общеевропейская музыка, общеевропейская живопись. Искусство слова, как связанное с языковым многообразием, естественно, более национально. Однако, и оно не замкнуто; и в подлинниках и в переводах оно доступно всей семье европейских (теперь уже и азиатских) народов. Литературные направления оказываются общими всем нациям или группам наций. Влияние Толстого, Достоевского, Пруста Джойса, Кафки универсально. Вне этих «чужестранных» воздействий развитие национальных культур просто непонятно. В духовной жизни нации являются не солистами, а инструментами в оркестре, хотя и лишенном дирижера. Наука была интернациональна всегда. Что массы, да и средние классы, «духовно» питаются интернациональным месивом из спорта, кино и газеты, общеизвестно.

Но единство европейской культуры не является результатом современного вавилонского смешения языков, продуктом индустриально-технического века. Напротив, чем дальше в прошлое — в восемнадцатый век, в Ренессанс, в Средневековье, — тем крепче и глубже культурное единство христианского мира, выросшего на развалинах Римской Империи. Лишь девятнадцатый век создал обоюдоострую идею национальных культур. Романтическая по своим корням, она привилась как раз в эпоху распада и романтизма и вообще духовности, ее частично оправдывающих. Она политизировалась и сделалась орудием защиты интересов, экономических и политических, повсюду однородных.

В настоящее время основная социальная проблема, общая всему европейскому кругу, состоит в преодолении капитализма, уже отказавшегося работать, и в переходе к управляемому или социалистическому хозяйству. Политическая проблема, связан-

ная с социальной — защита свободы и демократии от правого и левого фашизма — всюду одна и та же. Фашистские обвалы в половине Европы связаны не столько с национальными традициями, сколько с несчастной политической и экономической кон'юнктурой. Правый фашизм — такой же международный политический продукт, как и коммунизм.

Экономическая конкуренция между отдельными частями единого западного мира, две мировых войны, особенно последняя, необычайно обострили национальные чувства и страсти, уже лишенные не только духовного, но и материального оправдания. В отличие от былых войн в истории, современная война не есть «нормальное» явление, временное нарушение мира, после которого культурная жизнь восстанавливается. Она не восстанавливается ныне, а идет к быстрому разрушению. После изобретения атомной бомбы всем стало ясно, что третья мировая война будет концом западной цивилизации.

Войны возможны и даже неизбежны в силу сосуществования многих (или немногих) государств с неограниченным суверенитетом. До тех пор, пока в единой системе нашей цивилизации существует множество независимых правительств, каждое с собственной международной политикой, армией, военной промышленностью, тайными военно-техническими лабораториями, мир живет на вулкане. Малейшая искра может взорвать его на воздух. Международное единство является не роскошью, не мечтой идеалистов, а вопросом жизни и смерти.

В эпоху политического одичания и национальной ненависти совершенно немыслимо представить себе, чтобы пятьдесят суверенных наций, собравшись в Женеве или Сан-Франциско, свободно отказались от своего суверенитета или важнейшей части его: избрали общее правительство и об'единили под его командованием свои армии и военные средства. Эта стопроцентная демократическая схема теперь является большей утопией, чем она была в гуманном и пацифистском девятнадцатом веке. Правда, теперь отказ от суверенности диктуется национальным самосохранением. Но в том-то и состоит разница между интересами и страстями, которые ныне правят миром, что страсть владеет человеком или народом, губя все его разумно понятные интересы и самую жизнь. Рассудительный эгоизм встречается в мире в виде редкого исключения.

До сих пор об'единения наций в истории происходили почти всегда путем завоевания. Этот путь открылся и перед Европой с начала второй мировой войны. Первой вступила на

него Германия, сильнейшая из великих держав. Завоевание Европы ей действительно удалось. Она погибла потому, что вступила в безумную борьбу с тремя великими державами вне-европейскими, или лишь отчасти европейскими. Внутренно, германская гегемония была порочна в самой своей основе потому, что, осуществляемая нацизмом, означала не уравнение народов в общей империи, но их порабощение господствующей нацией. Наполеон, который лелеял мечту о европейской империи, в наши дни имел бы все шансы осуществить ее; даже Бисмарк. Полубезумный Гитлер был совершенно непригоден для этой задачи. Но что задача его не была химерической, видно хотя бы из того, что в числе людей, сотрудничавших с ним среди завоеванных народов, были не одни шкурники, но и идеалисты, вроде Де-Мана, для которых единство Европы было дороже национальной независимости, а, главное, представлялось исторически неотвратимым.

На смену Гитлеру приходит Сталин, как Македонский Филипп после крушения спартанской гегемонии. Гитлер подготовил для него почву. После германского гнета, русское владычество в первые дни казалось освобождением. Для многих — для евреев, например, — оно было, действительно, физическим спасением. Для большинства народов оно не принесло облегчения. Изменилось отчасти направление террора: истребляются не евреи, а высшие классы. Но интеллигенция, особенно демократическая, является общей жертвой. Для многих национальностей — литовцев, эстонцев, латышей — русский режим оказался тяжелее немецкого. Тем не менее военная обстановка была благоприятна для русской экспансии. Союзники, зависевшие от поддержки русских армий, не могли серьезно ей сопротивляться. Анти-демократический террор проходит под флагом расправы с немецкими «сотрудниками». Официально, СССР считается одной из трех держав-освободительниц; даже раздел на сферы влияния не нашел выражения в документах. Как далеко зашла русская экспансия, видно из следующего. Представьте себе, что во Франции происходит коммунистическая революция. Она немедленно вызовет подобные же революции в Испании, Италии, может быть, и в Бельгии. Угрожаемые английской интервенцией, действительной или только воображаемой, вожди революции, в большинстве агенты Москвы, приглашают на помощь братскую Красную Армию, которая без труда оккупирует западную Европу. Присоединение северной анклавы — вопрос времени. Пора подумать о третьей возможности. Третья сила, которая могла бы, рассуж-

дая теоретически, об'единить Европу, это Британия. После кровавой тирании Германии и России, даже военное завоевание Англией было бы счастьем и подлинным освобождением. Но достаточно сделать такое предположение, чтобы понять его нелепость. Такая возможность противна всему характеру английской демократии. Англия могла некогда завоевывать территории дикие, или казавшиеся ей дикими. Но выступить в роли Наполеона, даже освободителя, было бы для нее моральным самоубийством. В этом и состоит благородная слабость демократий: для них закрыты многие пути и средства, которые естественны для фашизма.

По счастью, Европа не стоит перед дилемой: свободное слияние двадцати народов — или их насильственное завоевание. Сила, необходимая для того, чтобы право воплотилось в жизнь, не обязательно принимает форму голого военного насилия. Она может иметь характер защиты, помощи, гарантии. Одни экономические преимущества союза с мощной империей могут склонить к нему малые государства, неспособные организовать свою хозяйственную жизнь. Но еще более могучим импульсом явилась бы защита от агрессора, если бы эта защита давала реальные, а не бумажные гарантии. До сих пор мы видели лишь один счастливый пример: Грецию. Англия не завоевывала Греции и не подавляла ее внутренней свободы. Напротив, она спасла ее от завоевания бандами, организованными Москвой. Вот почему Греция представляет теперь единственный остров свободы на Балканах.

Сила и право не являются несовместимыми. Напротив, разумная политическая сила всегда оформлена правом, живет и действует в правовой атмосфере. Лига наций юридически может, и, следовательно, должна быть обществом равных. Великие державы вовсе не нуждаются в юридических преимуществах, чтобы осуществить свою волю. Их фактическое влияние всегда увлечет за собой равноправных, но более слабых сочленов. До войны уже часть европейских держав — Бельгия, Португалия, Греция — ориентировались на Англию (как другие на Францию) в своей международной политике. Это не превращало их в вассалов, не умаляло их суверенитета. Во внутренней жизни зависимость от Англии не сказывалась ничем. Только политические насильники не выносят воздуха равенства. Им нравится ставить свой сапог на шею не только врагов, но и друзей.

Но, разумеется, чтобы общество равноправных наций стало реальной силой (отличной от Женевы или Сан-Франци-

ско), нужно, чтобы за ним, особенно на первых порах, стояла единая воля, берущая на себя ответственность. Совершенно немыслимо предоставить вопрос о войне, т. е. о существовании мира, на волю случайного голосования. Нельзя допустить, чтобы жизнь и смерть всех нас была в зависимости от одного голоса, скажем Чили или Сан-Доминго. Первая Лига Наций погибла потому, что ни одна из великих держав не взяла на себя ответственности — они сами были расколоты, — и «Общество Наций» плыло по течению, без руля и без капитана. В последний ответственный час, когда на весах судьба мира, кто-то должен бросить на эти весы всю свою мощь и всю свою волю, чтобы добиться подчинения слабых ради общего спасения. Греки называли это гегемонией. Гегемония не есть тирания. Это водительство, ответственность — необходимое условие об'единения разнородных, разделенных, вчера еще суверенных сил.

Свобода Европы была бы спасена, если бы таким гегемоном явилась Британия. Родина нашей свободы, много веков пользовавшаяся ею для себя, в законном, но узком эгоизме, за последний век Британия явилась освободительницей мира. Свою империю, сколоченную насилием, как и все другие, она постепенно перестроила в Commonwealth, в семью свободных наций. Эта задача, вполне законченная для всех доминионов, теперь решается в мире цветных, или вне-европейских народов. Вчера освобождены арабы, сегодня освобождается Индия. В Европе собственный интерес давно уже сделал Англию противницей всякой агрессивной великодержавности и, следовательно, защитницей малых наций. В своей Империи она создала такие свободные и равноправные формы сожительства народов, которые могут быть применены и к Европе, без посягательства на законную свободу ее народов. Россия тоже создала в Конституции СССР государственную форму, способную к бесконечному расширению. Юридически обе системы являются федерациями, весьма напоминающими друг друга. На деле, одна означает всеобщую свободу, другая — всеобщее рабство. Только политический кретинизм — весьма, правда, распространенный, — может уравнивать эти системы в общем имени «сфер влияния», или в схеме борьбы двух империализмов.

Но Англия не обнаруживает воли к гегемонии в Европе. Едва ли это об'ясняется непониманием своих интересов или демократическим безволием. Отсутствие воли, в данном случае, свидетельствует об отсутствии достаточной силы. Действительно, Британская Империя находится в состоянии медленного,

но все еще блестящего заката. Экономически, Англия давно уже дала опередить себя сперва Германии, потом Соединенным Штатам. Из этой войны Англия выходит почти бедной страной, исчерпавшей свои некогда богатые рессурсы. Это сила, которая может еще постоять за себя, сохранить свое достояние, но которой как будто не по плечу новое бремя.

До сих пор мы рассматривали Европу в географическом смысле, как независимый мир. В этом мире, действительно, остались только две великие державы, и соперничество между ними не оставляет никакой надежды для свободы народов. Но Европа давно уже перестала быть миром — культурным миром, — а недавно, в сущности с этой войны — перестала быть и средоточием мира. Ее культура еще господствует на всех континентах и морях. В этой культуре старый маленький материк еще остается мозгом мира. Но экономические и политические силы ее отхлынули за океаны. Как ни парадоксально это звучит в географических терминах, Америка сейчас является центром Европы — как культурного мира. Из этой войны Америка выходит ничуть не поколебленной, с возросшим экономическим и военным потенциалом, самым могущественным государством мира. От того, куда склонится ее политическая воля, зависят сейчас судьбы и Европы и мира.

Мы знаем, что официальное отношение Америки к миру наций выражается формулой: одна из «Трех Великих». Если бы ее отношения к каждой из двух остальных были совершенно одинаковы, дело единства мира было бы безнадежно: он распался бы на три вооруженных зоны, готовящихся к третьей, последней войне. Согласие между тремя невозможно; те, кто делают ставку на это согласие (официальная печать всего мира) строят на песке. Бумажное здание, спроэктированное в Сан-Франциско, построено на заведомо ложной предпосылке, что все «Три Великих» одинаково нуждаются в мире и готовы отказаться от агрессивной войны. Конечно, и Гитлер отказался бы от войны, если бы без нее мог получить власть над миром. Одна из трех стремится к той же цели, готовая на все: менее всего ее волнует вопрос о жертвах — жизнь своих и чужих граждан для нее ни по чем. Единственный вопрос — лишь в наличности технических средств. Другая жаждет мира, не ставя никаких завоевательных целей; она желает сохранения приобретенного, готовая и здесь благоразумно отступать. Третья стоит на распутьи. Еще вчера защищенная двумя океанами, она жила в иллюзии безопасности. Рузвельт разбудил ее, указав на далекий пожар, который рано или поздно подойдет и к ее бере-

гам. Запомнит ли она этот урок? Его смысл в том, что судьба Америки решается в маленькой далекой Европе. Там сталкиваются головы двух «Великих», тела которых покрыли все остальные материки. Может ли для Америки быть безразличным, какая из двух империй — зона рабства или свободы — устоит в грядущем столкновении?

Но, ведь, все дело в том, чтобы предупредить это готовящееся столкновение? Да, конечно. Но это удастся лишь в том случае, если Америка встанет всецело и безоговорочно на сторону силы миролюбивой и свободолюбивой. Об'единение сил двух демократических империй сосредоточит в их руках такую мощь, против которой всякая агрессия обречена. Диктатор вернется в свои границы, займется мирным строительством, но лишь тогда, когда повсюду, на своих рубежах и за ними, будет видеть единую и для него непреодолимую мощь двух великих демократий.

Понимает ли Америка свою историческую миссию? Не вся, конечно. Есть американцы — таких не много — которые готовы идти с Москвой против Лондона: одни в надежде торговых барышей и унижения старого конкурента; другие от «детской болезни левизны» и безнадежной политической слепоты. Многие — это более типично — не желают связывать себя ни с кем из двух «союзников», поддерживая то одного то другого в зависимости от чисто-американских интересов. Это позиция, на которую перешел почти весь былой изоляционизм. Она кажется национально обоснованной, но это лишь иллюзия близорукости. Она содействует мировой анархии, распаду мира между тремя сферами и подготовке новой войны. «Великие Три» разделены противоречиями слишком глубокими, чтобы изжить их частными уступками: они не могут согласиться даже в вопросе о мундирах немецких военнопленных. Система безопасности, построенная на фикции этого согласия — карточный домик. Хартия Соединенных Наций имеет только декларативное значение. Надо поскорее забыть об этой утопии примирения тигров и ягнят и обратиться к единственной очередной задаче: союзу Двух и об'единению вокруг него только миролюбивых народов.

У среднего американца существуют большие психологические препятствия для сговора с Англией. Они проистекают из различия воспитания и светских манер, а также из недостаточного знания современной истории. Для многих последние десятилетия демократического развития Англии прошли неза-

меченными, и Георга VI все еще путают с Георгом III. Но гораздо красноречивее этих по-существу семейных трений простой факт: за последнюю четверть века Америка дважды вступала в войну, приносила большие жертвы, — по существу, ради спасения Англии. Обратно, война против Англии психологически представляется для Америки невозможной — чего нельзя сказать ни о каком ином государстве. Моральные ценности, вложенные в последнюю войну у обеих англо-саксонских наций — одни и те же. Что же касается материальных интересов, то здесь, конечно, расхождения имеются на каждом шагу, но они существуют и между отдельными штатами Америки, между ее Севером и Югом, Востоком и Западом. Современная Англия экономически не соперник Америки, и сильнейший союзник может быть великодушен.

Если эта политическая линия победит в Америке, то вся изложенная выше черновая схема Британской гегемонии в Европе нуждается в расширении и корректуре. При поддержке Америки, Англия остается ведущей державой в Европе, как Соединенные Штаты в Западном полушарии. Но эти две сферы (возможно, и две федерации) необходимо об'единяются в союз демократий или Атлантическую Федерацию, в которой первое место естественно будет принадлежать Америке. Такая федерация может осуществить внутри себя все то, что остается сегодня утопией для Соединенных Наций: единство международной политики, армии и некоторых общих политических основ демократии. К ней примкнут и доминионы Британской Империи и союзники Америки на других континентах (Китай). Атлантическая Федерация, хотя и не всемирная, будет недосягаемой ни для какого врага. Она сделает войну невозможной. Если же ей удастся обеспечить внутри себя новый экономический порядок и подлинную социальную демократию, то ее влияние распространится далеко за ее политические границы. Тогда можно надеяться, что солнце свободы растопит и «вечный полюс» России.

⁂

Если ближайшие годы увидят разрешение военно-международной проблемы, и человечество, об'единенное вокруг ведущих англо-саксонских демократий, сможет разоружиться и вернуться к мирному труду, какие огромные задачи ожидают его! Международный кризис лишь наиболее острое выражение социального недуга, которым болеют все без исключения демократии. Социально-экономический вопрос уже сейчас стоит во

всей своей грозности перед Европой; завтра встанет перед Америкой. Все наши привычные, завещанные предками ways of life, заводят в тупик. Или социальная реформа — или гражданская война, которая в демократии наших дней заканчивается фашизмом, каков бы ни был ее исход. К счастью, здесь Англия указывает дорогу. Нужно только желать, чтобы пути Англии и Америки не разошлись слишком далеко.

Но пусть и социальная проблема решена. Пусть рационализировано мировое хозяйство, безгранично увеличились производительные силы, удовлетворены материальные потребности масс. Пусть само разделение на элиту и массы отмерло, и безклассовое общество стало реальностью — все это еще не спасает свободы и демократии.. Мы видели, что болезнь нашей цивилизации кроется глубже, в самом восприятии мира и жизни. Социализм отвечает только на вопрос «Коммунистического Манифеста». Но кто ответит на крик Ничше, Бодлера, Достоевского, Киркегарда? Демократия не может существовать без демократического сознания. Это сознание подорвано уже сто лет тому назад. Больное общество вырабатывает яды фашизма непрерывно, с каждым новым своим поколением. В любой момент «ретроградный господин» Достоевского или Наполеон из Ноттингхиля может взорвать хрустальный дворец, воздвигаемый с такими усилиями и жертвами.

Вот почему последняя борьба за свободу происходит в глубине духа. Здесь даются сражения, почти невидимые для современников, но исход которых определит судьбу мира через столетие. Это не мешает их актуальности и для наших дней. Напротив, новое, в свете нашего исторического опыта, религиозное обоснование демократического идеала, есть сейчас самая важная задача свободолюбивой и социалистической мысли.

РОЖДЕНИЕ СВОБОДЫ

Полнеба охватила тень.
Лишь там, на западе, брезжит сияние...

«Человек рождается свободным, а умирает в оковах». Нет ничего более ложного, чем это знаменитое утверждение.

Руссо хотел сказать, что свобода есть природное, естественное состояние человека, которое он теряет с цивилизацией. В действительности, условия природной, органической жизни вовсе не дают оснований для свободы.

В биологическом мире господствуют железные законы: инстинктов, борьбы видов и рас, круговой повторяемости жизненных процессов. Там, где все до конца обусловлено необходимостью, нельзя найти ни бреши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Где органическая жизнь приобретает социальный характер, она насквозь тоталитарна. У пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звериной стае — абсолютная власть вожака («вождя»).

Впервые опубликовано в "Новом Журнале", № 21, Нью-Йорк, 1949.

В XVIII веке на природу смотрели романтически — или, вернее, теологически. На нее переносили учение Церкви о первозданной природе человека и помещали библейский потерянный рай в Полинезии. Но в наше время биология недаром ложится в основу всех новейших идеологий рабства. Расизм корнями своими уходит в биологический мир и, будучи никуда негодной философией культуры, ближе к природной или животной действительности, чем Руссо.

Руссо, в сущности, хотел сказать: человек должен быть свободным, или: человек создан, чтобы быть свободным, и в этом вечная правда Руссо. Но это совсем не то, что сказать: человек рождается свободным.

Свобода есть поздний и тонкий цветок культуры. Это нисколько не уменьшает ее ценности. Не только потому, что самое драгоценное — редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на ее вершинах, находят свое выражение его самые высокие стремления и возможности. Только по этим достижениям можно судить о природе или назначении человека.

Впрочем, даже в мире культуры свобода является редким и поздним гостем. Обозревая тот десяток или дюжину высших цивилизаций, нам известных, из которых слагается для современного историка (Тойнби) некогда казавшийся единым исторический процесс, мы лишь в одной из них находим свободу, в нашем смысле слова, — и то лишь в последнем фазисе ее существования. Я, конечно, имею в виду *нашу* цивилизацию и *наше* время, оставляя пока неопределенными границы *нашего* в пространстве и времени.

Все остальные культуры могут поражать нас своей грандиозностью, пленять утонченностью, изумлять сложностью и разумностью социальных учреждений, даже глубиной религии и мысли, но нигде мы не найдем свободы, как основы общественной жизни.

Личность везде подчинена коллективу, который

сам определяет формы и границы своей власти. Эта власть может быть очень жестокой, как в Мексике или Ассирии, гуманной, как в Египте или в Китае, но нигде она не признает за личностью автономного существования. Нигде нет особой, священной сферы интересов, запретных для государства. Государство само священно, и самые высшие абсолютные требования религии совпадают с притязаниями государственного суверенитета.

Греция не исключение. Ни наша благодарная к ней любовь, ни признание единственности ее высшей культуры, ни даже поколения наших предков, боровшихся за свободу с Плутархом, вместо Евангелия, в руках, не могут заслонить основного факта: н а ш а свобода не была обеспечена в Греции.

Греки сражались и умирали за свободу; но под свободой они понимали или независимость своего города-отечества или его демократическое самоуправление. Это была свобода для государства, на которую не могли притязать ни личность, ни меньшинственная группа. Нас обманывает часто вольность и легкость жизни в классическую пору Афинской демократии — в те короткие полтораста лет, которые отделяют греко-персидские войны от македонского завоевания. Но эта вольность — результат разложения, скорее распущенность, чем закон жизни. Новые торгово-промышленные классы подорвали крепость патриархальных деревенских нравов, наука софистов разлагала древнюю веру; в образовавшейся пустоте легче стало жить, то есть, наслаждаться жизнью без помехи устарелых норм. «Буржуазная» свобода Афин напоминает судьбу свободы в пореволюционной Франции. За полтора века оказались подорваны все нравственные устои демократии, и Афины, как и вся Греция, сделались легкой добычей Филиппа.

Но даже на время наибольшей свободы Афин падает процесс и казнь Сократа, изгнание Анаксагора и Протагора и — что гораздо страшнее — социальная

утопия Платона. Величайший из философов Греции был теоретиком абсолютного, тоталитарного государства. Быть может, только в Софокловой Антигоне брезжит заря нашей свободы: пророчество, предвосхищение совершенно иной духовной эры.

Исключительность, единственность свободы не должна нас смущать. Только грубое биологическое или социологическое мышление, оперирующее с количествами, с повторяемостями, со средними величинами, может видеть в единственности порок. Да, свобода исключение в цепи великих культур. Но сама культура — исключение на фоне природной жизни. Сам человек, его духовная жизнь — странное исключение среди живых существ. Но ведь и жизнь, как органическое явление, — тоже исключение в материальном мире. Конечно, здесь мы вступаем в область неведомого, но много оснований на стороне тех теорий, которые считают, что только на планете Земля могли создаться благоприятные условия для возникновения органической жизни. Но что значит Земля в солнечной системе, что значит солнце в нашем Млечном пути, что значит наша «галаксия» во вселенной?

Одно из двух: или мы остаемся на внешне убедительной, «естественно-научной», точке зрения и тогда приходим к пессимистическому выводу. Земля — жизнь — человек — культура — свобода — такие ничтожные вещи, о которых и говорить не стоит. Возникшие из случайной игры стихий на одной из пылинок мироздания, они обречены исчезнуть без следа в космической ночи.

Или мы должны перевернуть все масштабы оценок и исходить не из количеств, а из качеств. Тогда человек, его дух и его культура, становятся венцом и целью мироздания. Все бесчисленные галаксии существуют для того, чтобы произвести это чудо — свободное и разумное телесное существо, предназначенное к царственному господству над вселенной.

Остается не разрешенной — практически уже не

важная — загадка значения малых величин: отчего почти все ценностно-великое совершается в материально-малом? Интереснейшая проблема для философа, но мы ее можем оставить в стороне.

Свобода разделяет судьбу всего высокого и ценного в мире. Маленькая, политически раздробленная Греция дала миру науку, дала те формы мысли и художественного восприятия, которые, даже при сознании их ограниченности, до сих пор определяют миросозерцание сотен миллионов людей. Совсем уже крохотная Иудея дала миру величайшую, или единственно-истинную религию — не две, а одну — которую исповедуют люди на всех континентах. Маленький остров за Ламанщем выработал систему политических учреждений, которая — будучи менее универсальной, чем христианство или наука — тем не менее господствует в трех частях света, а ныне победоносно борется со своими смертельными врагами.

Ограниченность происхождения еще не означает ограниченности действия или значения. Рожденное в одной точке земного шара может быть призвано к господству над миром; как всякое творческое изобретение или открытие, оно стремится стать общим достоянием человечества. Не все ценности допускают такое обобщение; многие остаются навсегда связанными с одним определенным культурным кругом. Но другие — и самые высшие — существуют для всех. Это о них сказано: «ничто человеческое мне не чуждо». Все народы призваны к христианству. Всякий человек, в большей или меньшей степени, способен к научному мышлению. Но не все признают — и обязаны признавать — каноны греческой красоты. Все ли народы способны признать ценность свободы и осуществить ее? Этот вопрос сейчас решается в мире. Не теоретическими соображениями, а только опытом возможно решить его.

❖

О чем идет речь? О какой свободе? Пора, наконец, определить нашу тему. Но сделать это надо покороче, без лишних сложностей. В наше время определения свободы требуют прежде всего ее враги. Они утратили способность понимать ее; самые простые вещи начинают представляться для них чудовищно трудными. Раздувая эти трудности до абсурдов, они делают из свободы философскую бессмыслицу. Однако, и они и всякий читатель имеют право на ясный и точный ответ: что здесь, на этих страницах, понимается под свободой?

Итак, мы говорим о свободе не в философском или религиозном смысле. Наша свобода не свобода воли, то есть, выбора, которую ничто, никакое ослепление греха или предрассудков не способно до конца отнять у человека; такой свободой обладает и комсомолец, и член Hitler-Jugend.

Это и не свобода от страстей и потребностей низшей природы, к которой стремятся стоический философ и аскет; Эпиктет осуществлял ее в рабстве, святые находили ее в добровольной темнице кельи.

Но это и не динамическая свобода социального строительства и разрушения, которой охвачена фашистская молодежь, отдающая свою личную волю в полное подчинение вождям ради этого чувства коллективной мощи и власти.

Наша свобода — социальная и личная одновременно. Это свобода личности от общества — точнее, от государства и подобных ему принудительных общественных союзов. Наша свобода отрицательная— свобода от чего-то, и вместе с тем относительная; ибо абсолютная свобода от государства есть бессмыслица.

Свобода в этом понимании есть лишь утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности. Будучи относительной в своей мере и в формах, по-разному определяясь в разных странах современной демократии, она, однако, зиждется на некоторых абсолютных пред-

посылках, которые мы должны установить. Утрата их, полная релятивизация свободы для нее смертельна: по нашему убеждению, это и является главной причиной современного помрачения свободы.

Рассматривая длинный список свобод, которыми живет современная демократия: свобода совести, мысли, слова, собраний и т. д., мы видим, что все они могут быть сведены к двум основным началам; именно к двум, а не к одному, к прискорбию для логической эстетики. Этот дуализм свидетельствует о различии исторических корней нашей свободы.

Главное и самое ценное ее содержание составляет свобода убеждения — религиозного, морального, научного, политического, и его публичного выражения: в слове, в печати, в организованной общественной деятельности. Исторически, вся эта группа свобод развивается из свободы веры.

С другой стороны, целая группа свобод защищает личность от произвола государства независимо от вопросов совести и мысли: свобода от произвольного ареста и наказания, от оскорбления, грабежа и насилия со стороны органов власти определяет содержание конституционных гарантий, за которые велась вековая борьба с монархией. Они нашли себе выражение в характерном английском акте-символе, известном под именем Habeas Corpus. Пользуясь этим символом, мы могли бы назвать эту группу свобод свободой тела в отличие от другой группы — свободы духа.

Разнородность их природы уясняется из одного простого рассуждения. Идеальный христианин, святой, может без ропота отдать свое тело, имущество и жизнь тирану; даже видеть в этом непротивлении свой долг — подражания Христу. Но он не поклонится идолам, не отречется от Христа по требованию императора. Величайшие конфликты государства с церковью происходили по преимуществу из-за этой свободы — духа; конфликты государства со светским об-

ществом — преимущественно по вопросам свободы тела.

Разумеется, слово «тело» мы употребляем в очень широком смысле; оно включает, как собственность лица, так и его честь — то есть, не только физическую, но и социальную его индивидуальность, за исключением духовной; или, выражаясь иначе, все, что принадлежит личности, но не является ею самой. Вера и убеждение не принадлежат ей, но она сама скорее принадлежит им; в некотором смысле, ее подлинное бытие с ними совпадает.

Быть может, большинство демократов в наши дни убеждены, что эти свободы — завоевание нового времени: английской революции XVII-го века или даже французской XVIII-го. Пуритане и якобинцы кажутся для многих отцами нашей свободы, а революция вообще местом ее рождения. Отсюда оптимистический взгляд на исход новейших революций. Они представляются неизбежно тяготеющими к свободе и осуществляющими ее после тяжелых испытаний.

Какую роль в развитии нашей свободы играли великие исторические революции, мы увидим дальше. Но прежде всего необходимо подчеркнуть и, не уставая, повторять, что свобода зарождается в средневековье, хотя своего полного развития достигает в XIX веке. То христианское средневековье, которое было родиной всей нашей культуры, как отличной от культуры классического мира, было и родиной свободы. Magna Charta датируется 1214 годом.

Но задолго до английского восстания баронов против Иоанна Безземельного Европа видела войны и революции, которые велись за свободу. Конец XI века был полон громом потрясений, народных движений и международных войн. Самым боевым лозунгом тех лет была свобода — только свобода в особом
к истокам первичной свободы — свободы веры.
смысле: libertas Ecclesiae. И это возвращает нас

Западная церковь пережила кризис Римской им-

перии и хранимой ею эллинистической культуры. Она победоносно встретила волны варварских вторжений и покорила их кресту и Риму. Она не растворилась в германских королевствах и не слилась с ними в «симфонии», подобной Византийской, но сохранила свою независимость от государства и даже более, свою учительную и дисциплинарную власть над ним. Однако, до теократии дело не дошло. Варварская стихия восставала против римской опеки. Установилось двоевластие, двойное подданство. Внешним выражением его было двойное право — каноническое и национальное, двойная юрисдикция — духовная и светская. Но еще важнее, что каждый человек был подданным двух царств: града Божия и града земного. В его сердце сходились и часто сталкивались оба суверенитета, из которых один — и только один — притязал на абсолютное значение. Церковь брала себе душу, король — тело. Размежеваться было трудно, ибо жизнь сложнее этого дуализма. Сложность вызывала постоянный конфликт, по существу неразрешимый. И в этом конфликте создалось и окрепло первое, хотя и смутное, сознание свободы.

Человек должен был выбирать; волей судеб каждый христианин становился судьей в споре двух высочайших авторитетов: папы и императора. В грандиозных конфликтах XI-XIII веков все общество раскалывалось надвое в этом споре. При этих условиях, каковы бы ни были социальные основы общества, не могло быть и речи об абсолютности светской власти. Даже отвлекаясь от самого содержания духовного суверенитета, даже в нелепом предположении, что им могла бы быть любая не-христианская религия, самый факт церковно-государственного дуализма ограничивал власть государства, создавал сферу личной свободы. Но, конечно, вдумавшись, мы понимаем, что никакая иная из известных нам религий не могла бы выполнить этой роли: для этого она должна быть одновременно религией абсолютного

вечного, и в то же время связанного, соотносительного с телесным и земным. Ни посюстороннее язычество, ни потусторонний спиритуализм (буддизм, платонизм) не могли бы создать религиозной сферы, высшей, чем государство, но чересполосной с ним. Ислам не в счет, ибо там, как и в Византии, высшая духовная власть совпадает с государственной.

В католической Европе у Церкви был один важный шанс в борьбе за ее свободу: феодальный характер государства. Конечно, буйное и воинственное рыцарство причиняло церкви много зла и хлопот. Церковь встречала больше послушания среди городских коммун, среди рабочих первых индустриальных городов Италии и Нидерландов. Но бароны, хотя бы и гибеллины, ослабляли королевскую власть, раздробляли светский суверенитет. Перед церковью не возникало угрозы Левиафана.

Обращаясь к самому феодальному миру, мы наблюдаем в нем зарождение иной свободы, менее высокой, но, может быть, более ценимой современной демократией — той, которую мы условились называть свободой тела. В феодальном государстве бароны — не подданные, или не только подданные, но и вассалы. Их отношения к сюзерену определяются договором и обычаем, а не волей монарха. На территории, если не всякой, то более крупной сеньории, ее глава осуществляет сам права государя над своим крепостным или даже свободным населением.

Формула «помещик-государь», хотя и не свободная от преувеличения, схватывает основную черту этого общества. В нем не один, а тысячи государей, и личность каждого из них — его «тело» — защищена от произвола. Его нельзя оскорблять. За обиду он платит кровью, он имеет право войны против короля. Восстание баронов в Англии 1214 года и Magna Charta были не революционным взрывом, началом новой эры, а одним из нормальных эпизодов политической борьбы.

Во время коронации английских королей, в самый торжественный момент, когда монарх возлагает на свою голову корону, все пэры и пэрессы, присутствующие в Вестминстерском аббатстве, тоже надевают свои короны. Они тоже государи, наследственные князья Англии. Сейчас это символ уже почти не существующих сословных привилегий. Но я хотел бы видеть в нем символ современной демократической свободы. То, что было раньше привилегией сотен семейств, в течение столетий распространилось на тысячи и миллионы, пока не стало неотъемлемым правом каждого гражданина.

В западной демократии не столько уничтожено дворянство, сколько весь народ унаследовал его привилегии. Это равенство в благородстве, а не в бесправии, как на Востоке. «Мужик» стал называть своего соседа Sir и Monsieur, то есть, «мой государь», и уж во всяком случае в обращении требует формы величества: Вы (или Они).

Мы говорим не о пустяках, не об этикете, но о том, что стоит за ним. А за ним Habeas Corpus, распространенный постепенно с баронов-государей на буржуазию городских общин и на весь народ. В Magna Charta граждане Лондона разделяют некоторые привилегии баронов. В XI-XIII веках повсюду в Европе существовали свободные городские общины, коллективные сеньории, наделенные привилегиями общей и личной свободы. Освобожденные города тянули за собой деревни. Крепостное право смягчалось и отмирало под влиянием свободного воздуха городов.

Таков схематический рост свободы. Действительность была много сложнее. Важно отметить, что в своем зарождении правовая свобода (свобода тела) была свободой для немногих. И она не могла быть иной. Эта свобода рождается, как привилегия, подобно многим плодам высшей культуры. Массы долго не понимают ее и не нуждаются в ней, как не нуждаются и в высоких формах культуры. Все завоевания

деспотизма в новой истории (Валуа, Тюдоры, Романовы, Бонапарты) происходили при сочувствии масс. Массы нуждаются в многовековом воспитании к свободе, которое нам на рубеже XIX-XX веков уже казалось, может быть ошибочно, законченным.

Люди, воспитанные в восточной традиции, дышавшие вековым воздухом рабства, ни за что не соглашаются с такой свободой — для немногих, — хотя бы на время. Они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают «ни для кого». Им больше нравится царская Москва, чем шляхетская Польша. Они негодуют на замысел верховников, на классовый эгоизм либералов. В результате на месте дворянской России — империя Сталина.

Мы нисколько не хотим идеализировать средневековье. Свободолюбивые бароны были, большей частью, жестокими господами для своих подданных. В хищнике, разбойнике, тиране нам трудно узнать отца нашей свободы. Как трудно поверить, что за духовную свободу боролась католическая церковь, сжигавшая еретиков на кострах. Свобода совести, конечно, и не снилась князьям средневековой церкви. Свобода была им нужна не для верующей личности, а для «церкви», то есть, для ее иерархии. Впрочем, и папы должны были делиться ею с университетами, как бароны с купцами. Важно было то, что в результате их борьбы за свободу призрак тоталитарного государства на Западе рассеялся на много веков. Несмотря на все реакции времен Ренессанса и абсолютной монархии, всевластию государства был положен предел. И этот предел был указан двумя началами, повидимому, всегда необходимыми для осуществления свободы: плюрализмом власти и абсолютным характером духовных (религиозных) норм.

Переход от средних веков к новому времени принес не расширение, а умаление свободы. Блестящий культурный Ренессанс в политической сфере означал появление тирании в Италии и королевского абсолю-

тизма в заальпийской Европе. Создается централизованное национальное или территориальное государство на развалинах средневековых сословных вольностей. Парламенты теряют свой авторитет, Etats Généraux перестают собираться, постоянные армии и зародышевая бюрократия вытесняют феодальный aide et conseil. Ограничивается, если не исчезает совсем, плюрализм власти — одно из условий свободы. Другое, духовное условие поколеблено также, вместе с упадком или затмением религиозности.

Церковь отступает от своих универсальных позиций, замыкается в стенах храма. Кесарь начинает владеть не только телом, но отчасти и душой подданных. Сопротивление его посягательствам на духовную сферу жизни становится редким и слабым. Томас Мор, гуманист и мученик за свободу церкви, составляет редкое исключение.

Может быть, напоминание об этом потускнении свободы на заре великолепного дня нашей культуры способно принести некоторое утешение в наши дни ее вторичного затмения. Рано еще хоронить свободу. Социалистическая революция теперь, как некогда национальное государство, питается кровью свободы. И теперь, как во время Ренессанса, существует угроза окончательной смерти свободы, то есть, завершения нашей культуры в тоталитарном государстве. Но если эта опасность была предотвращена однажды, ее можно победить и теперь. Важно лишь помнить, каковы были условия, сделавшие возможным ее преодоление.

***

Культура Ренессанса с ее победным ростом деспотизма нашла свой предел в Реформации. Всякая попытка построить генеалогию современной свободы, минуя Реформацию, обречена на неудачу. Линия, связывающая непосредственно Ренессанс с Просвещением, Леонардо да Винчи с Ньютоном, пригодна для истории науки, но не для истории свободы. Конечно,

утверждение реакционеров-католиков, что вся современная «индивидуалистическая» свобода порождена грехопадением Лютера, есть огромное преувеличение. Но оно содержит в себе зерно истины. После католической борьбы за свободу церкви (XI-XII в.) религиозные войны эпохи реформации (XVI-XVII в.) знаменуют второй этап в развитии свободы.

Не следует только представлять дело таким образом, что провозглашенный Лютером принцип свободного толкования Библии сыграл эту революционную роль. На самом деле, авторитет католической церкви был сейчас же заменен авторитетом новых пророков; за пророками следовали схоластики, создавшие протестантские катехизисы. Аугсбургское или Вестминстерское исповедание сами по себе ничуть не свободнее Тридентского катехизиса. Фанатизм новых сект нисколько не уступал нетерпимости старой церкви. Протестанты жгли или вешали еретиков с не меньшим усердием, чем католики. Более того, там, где Реформация передала власть над церковью князьям — в Англии, в Германии, в скандинавских странах — государственный абсолютизм получил новое подкрепление, за счет католической церкви. Тюдоры становятся «правителями церкви» и в силу этого владыками совести. Но для судеб свободы имел огромное значение тот факт, что в Англии — именно в Англии — господствующее «англиканское» исповедание не смогло стать религией всего народа. Религиозная буря, поднявшаяся с начала XVII столетия, привела не к единству новой реформированной церкви, а к образованию множества сект, боровшихся страстно, но безуспешно, за господство. Менее всего можно было ждать признания свободы со стороны религиозных радикалов; в XVII веке скорее можно было встретить сторонников терпимости — как тогда говорили, «латитудинаристов» — в государственной церкви, среди сторонников Стюартов. Английская революция или, правильнее, гражданская война не принесла ничего для

свободы — ни религиозной, ни политической. После тирании Кромвеля Англия вернулась к исходной точке, к реставрации Стюартов с прежними темами борьбы: церковь и секты, король и парламент. Свобода пришла вместе с терпимостью — конечно, ограниченной — лишь к концу века, когда выяснилась невозможность религиозного объединения Англии. Вторая, «Славная» революция принесла с собой действительный Habeas Corpus и свободу главным сектам протестантизма; католикам и евреям пришлось ждать ее до XIX столетия.

Почти то же мы видим и в Америке. Здесь не англиканская церковь, а конгрегационалисты или пресвитериане пытались установить режим вероисповедного единства в отдельных колониях. Удушливая атмосфера нетерпимости Новой Англии была не лучше старой: в Коннектикуте вешали квакеров. Однако, дробность сект и их чересполосица заставляли создавать островки свободы для совместной жизни иноверцев: таков Род-Айленд.

Так постепенно создавалась свобода, или ее оазисы, в мире нетерпимости, принималась не принципиально и не радостно, а по необходимости — как неизбежное зло. Но уже «из необходимости создавалась добродетель». На перекрестках духовных дорог встречаются люди — и число их растет, — которые утверждают свободу, как принцип, которые исповедуют религию свободы. Для этих избранных умов, для Мильтона, Джорджа Фокса, для Роджера Вильямса свобода неотъемлема от христианства. И тезис этих утопистов, заблудившихся в жестокий век религиозных войн, восторжествовал. Свобода оказалась практичнее насилия. Принудительное единство грозило бесконечной войной и гибелью культуры; свобода ее спасала.

***

Терпимость поневоле мало радует. Если бы будущее свободы зависело от утраты духовного единства, от наличия расколов и ересей, это не сулило бы ничего доброго для более счастливых времен — для Европы, вновь обретшей цельность своей культурной жизни. По счастью, христианская свобода имеет более глубокие корни, чем практическую безвыходность. Прошли века, и убеждение немногих утопистов времен Реформации вошло в плоть и кровь большинства христиан. Мало кто посмеет защищать в наши дни идею насильственного спасения. Самые авторитарные церкви ныне стоят на почве свободы — быть может, не до конца, не с полной искренностью, но это другой вопрос. Важно хотя бы то, что они не смеют утверждать насилие ради спасения, ради любви, как утверждали наши предки в течение веков, или даже тысячелетий. Христианство во многом созрело, стало мудрее, совестливее за последние века. Среди тяжелых неудач и поражений, даже гонений, которые ему случается переживать, оно могло углубиться в свои истоки, лучше осознать, «какого оно духа». Вне всякого сомнения, христианство сейчас ближе к опыту ранней церкви, ближе к Христу, чем во времена его призрачного господства над миром.

Быть может, никто с такой силой не утверждал смысла свободы для христианской церкви, как это сделал Достоевский в своей знаменитой «Легенде». Достоевский, конечно, не иерарх и даже не богослов. Но поразительно, что никто из реакционеров победоносцевской России не посмел прямо восстать против самозванного пророка. Никто не сказал: это ересь. Делали только вид, что «это нас не касается»: речь идет о папизме.

В Евангелии от Иоанна и в Павловых посланиях есть много вдохновенных слов о свободе. Но они говорят о той глубокой, последней свободе, путь к которой ведь может вести и через отрицание свободы. По крайней мере, такова была тысячелетняя диалек-

тика богословия. Свобода, о которой мы говорим здесь, свобода социальная, утверждается на двух истинах христианства. Первая — абсолютная ценность личности («души»), которой нельзя пожертвовать ни для какого коллектива — народа, государства или даже Церкви («девяносто девять праведников»). Вторая — свобода выбора пути — между истиной и ложью, добром и злом. Вот именно эта вторая, страшная свобода была так трудна для древнего христианского сознания, как ныне она трудна для сознания безбожного. Признать ее — значит поставить свободу выше любви, значит признать трагический смысл истории, возможность ада. Все социальные инстинкты человека протестуют против такой «жестокости». Если можно вытащить за волосы утопающего человека, почему же нельзя его вытащить «за волосы» из ада? Но в притче о плевелах и пшенице сказано: «оставьте их вместе расти до жатвы». И в древнем мифе о грехопадении, который лежит в основе христианской теодицеи, Бог создает человека свободным, зная, что этой своей страшной свободой человек погубит прекрасный Божий мир. И Бог желает спасти падший мир не властным словом («да будет»), а жертвой собственного Сына. Как же может эта жертва отменить свободу, ради которой она и была принесена? В свете этого откровения мы скорее признаем, что ошибалось и грешило полтора тысячелетия христианское человечество, чем что ошибся Бог, создав свободным человека, или ошибся Христос, взошедший на крест, чтобы спасти человека в свободе.



Но времена изменились. Новый этап борьбы за свободу начинается в XVIII веке. Люди, не помнящие истории, склонны вообще начинать историю свободы с этого века или даже с французской революции. На самом деле, в век Просвещения произошла лишь — и то не полная — секуляризация свободы. Измени-

лись ее идеалы, ее обоснование, — как говорили недавно в России, ее «во имя». Если отвлечься от особенностей идеологии французского просвещения и взять в целом два последних века Европы с их борьбой за свободу, торжеством свободы и ее упадком, — то мы увидим две могущественных силы, которые вынесли свободу и ныне предают ее: науку и капитализм.

На рубеже XVII-XVIII века, после бесплодного надрыва религиозных войн, надолго скомпрометировавших религию, лучшие умы ищут спасения в науке. От фанатических страстей уходят в мир чистых истин математики и механической физики. Здесь нет обмана, нет произвола; здесь истина одна для всех. И разум, открывший новые миры умопостигаемых и все же реальных объектов, не только находит в их прохладном воздухе временное успокоение своей тоски по абсолютному; он приходит к убеждению, что уже обладает этим абсолютным ключом к тайнам бытия. Весь мир и жизнь начинают мыслиться по образу математических величин и их материальных субстратов. Ньютоновская физика и все производное от нее естествознание — даже социология — до наших дней владели умами и пытались утвердить себя в качестве религии разума, на место обанкротившегося христианства.

Новая наука, как всякая наука, нуждается в свободе. Эта свобода есть «свобода исследования», свобода от догматических предпосылок, свобода выбора между возможными заключениями. Такая свобода необходима для ограниченного числа ученых. По существу, она не нужна даже для популяризаторов и педагогов, не говоря о массах. Но, благодаря огромному, почти религиозному значению науки в новое время, идеалы ученых стали идеалами всего общества, то есть всех образованных или полуобразованных слоев его. Школа на всех ступенях стремилась к развитию критической мысли и к усвоению элементов

научного метода. Каждый юноша, хоть бы на самое короткое время своей жизни, приобщался к армии работников науки и заражался ее патриотизмом, тем более, что образование XIX века было почти исключительно интеллектуальным.

Свобода научного исследования находила себе мощную поддержку в свободе хозяйственной предприимчивости, которую несла с собой молодая буржуазия. Она не нуждалась более в опеке государства. Прежде ценимое покровительство его становилось, или ощущалось, путами. Ученики Адама Смита приветствовали неограниченную свободу торговли, конкуренции, экономического эгоизма. Всеобщее счастье должно было родиться из борьбы всех против всех.

Но, утвердившись в хозяйстве, в этом центре социальной жизни, свобода распространяется быстро на все сферы: политику, быт, семью, воспитание, гигиену, общественную мораль. Всюду ограничивается, минимализируется значение норм, авторитетов, принуждения, порядка. Общей предпосылкой становится оптимистический взгляд: свободная борьба стихий в личности и обществе сама по себе приводит к гармонии или к повышению творческих энергий. И, в течение двух или трех поколений, жизнь оправдывала эти надежды. XIX век был одним из величайших веков в истории человечества: одним из самых творческих и уж, конечно, самым гуманным и самым свободным.

Свобода мысли на высотах культуры, свобода хозяйства в ее центре взаимно поддерживали друг друга. Они покоились на одном принципе — рационализма. Зомбарт верно уловил сродство между пробуждением экономического рационализма в итальянском Возрождении и первыми шагами научной мысли. В середине XIX века положение не изменилось. Банкир или фабрикант не только ради интереса, но и бескорыстно сочувствует успехам науки, ее борьбе против всех суеверий и торжеству народных револю-

ций, свергающих или ограничивающих власть королей.

Свобода мысли в истории новых веков сменила свободу веры, как либеральная — то есть минималистическая концепция государства — заняла место феодального плюрализма власти. Вернее, произошла перестановка ударений. Как будто бы новая чета свобод преемственно связана со старой. Свобода веры предполагает свободу неверия. Но, когда свобода неверия (сомнения, исследования) становится центральной, меняется все человеческое содержание ее: из целостной, объемлющей все ценности и все стремления человека, она становится чисто интеллектуальной. Подобно этому, плюрализм власти, защищая личность, не подрывал государства, ни его нравственного достоинства. Новый либерализм, не отменяя, конечно, государства, его дискредитирует и обезоруживает. Впрочем, не одно государство...

Здесь необходимо сделать существенную оговорку. Наблюдая народные политические движения XIX века — борьбу за свободу и равенство — мы видим, что под поверхностью рационалистических идей в них живет совсем иное содержание. Не за свободу исследования и не за свободу хозяйства французские студенты и рабочие умирали на баррикадах. Они умирали за «свободу» вообще, то есть за целостный идеал преображения жизни, за новую землю и новое человечество, за эсхатологическую утопию. Даже самая организация политических партий, столь существенная для современных демократий, менее всего напоминает научную ассоциацию или хозяйственный трест. В Англии, родине всех «партий», они преемственно связаны с сектами XVII века или, точнее, с теми мирянскими союзами, «ковенантами» для защиты веры, которыми так богата история английской реформации. Партии XIX и XX века, превратившиеся (и то не до конца) в органы защиты групповых интересов, все еще покоятся на идеологической осно-

ве, на признании (а не исследовании) некоторых истин, или теоретических положений, и на общности нравственных оценок. Консерватизм, либерализм, социализм — не научные системы, хотя они и стремятся к научному обоснованию. Это определенные мировоззрения, то есть системы общественно-моральных оценок, за которыми стоят философские начала, принимаемые на веру, как основа жизни. Для XIX века это были еще крипто-религиозные силы.

Силы, открыто религиозные, великие исторические церкви в новое время редко принимают участие в борьбе за свободу. Чаще всего они оказываются в лагере врагов свободы. Со времени Ренессанса церковь выпустила из своих рук водительство культурным движением человечества. Это движение пошло по таким путям, которые вызывали ее, вполне справедливое, недоверие и осуждение. Не изменяя своим вечным началам, она не могла, конечно, принять механической системы мира, ни оптимизма Руссо, ни утилитаризма либералов, ни детерминизма марксистов... Но все эти ереси ложились в основание новых освободительных движений. Впрочем, еретическое обоснование свободы никак не может оправдать союза с обветшавшими формами социального строя. Проклиная беззаконную свободу, цеплялись за все остатки рабства или угнетения. Каждый шаг свободы, каждое новое раскрепощение личности, класса или народа встречало наиболее сильное или принципиальное сопротивление со стороны церквей. Отсюда прочно сложившееся убеждение нового либерализма, что для торжества свободы нужно «раздавить гадину». В опыте новых веков освободительное движение забывало о христианском своем происхождении. Оно ищет мнимой генеалогии в язычестве древней Греции или в нео-паганизме Ренессанса.

Впрочем, этот разрыв между религией и свободой не типичен для англо-саксонского мира, то есть для родины свободы. Трагический разрыв остается

господствующим фактом для европейского континента, и особенно для стран, связавших свою свободу с легендой французской революции: для Франции, Италии, Испании, России.

***

Трудно понять, каким образом Великая французская революция могла считаться колыбелью свободы. Так думают люди, для которых ярлыки и лозунги важнее подлинных исторических явлений. Верно то, что революция шла под великим лозунгом свободы, равенства и братства, но верно и то, что в истории Франции не было эпохи, когда эти начала предавались бы так жестоко, как за четверть века революционной эпохи. Эти лозунги, или воплощенные в них идеи, были, конечно, созданием не революции, а XVIII века. Созданием революции была централизованная Империя. Революция нашла в старом режиме, вместе с устарелыми привилегиями и неоправдываемым уже гражданским неравенством, многочисленные островки свободы: самоуправление провинций, независимость суда (парламентов), профессиональные корпорации, университет. Она уничтожила все это, решившись на то, на что не посмели Бурбоны в своей двухвековой работе по разрушению средневековых свобод. Она осуществила равенство без свободы — в противоположность тому, что повторяется обычно — конечно, равенство лишь гражданское. Грандиозное, административно-совершенное здание Империи закрепило все положительные «завоевания» революции, раздавив всю ее идеологию. Империя Наполеона не есть ни реакция против революции, ни ее несчастное извращение, но логически необходимое завершение. Революция так радикально выполола мечту о свободе и даже потребность в ней, что никакая серьезная оппозиция не угрожала Империи. Она могла бы существовать хотя бы целое столетие, если бы ее не свергла иноземная интервенция. О прочности, об ор-

ганичности Империи на почве, жирно политой кровью революции, свидетельствует уже тот факт, что Франция еще раз вернулась к этой форме деспотизма и жила в ней два десятилетия; Вторая Империя точно так же была свергнута лишь внешним врагом. Но еще долго спустя бонапартизм, в том или ином виде, угрожал III республике, которая унаследовала сама почти всю свою административную организацию от той же Империи.

Свободу Франции и Европы спасла Англия и спасла дважды: отстояв свой остров от Наполеона — единственный оазис свободы в Европе 1812, как и 1940 года — и подарив — вместе с императором Александром — конституционную хартию Франции 1814 года. Только с Реставрацией начинают всходить слабые ростки французской свободы: представительные учреждения, либеральная пресса, свободное слово парламентской оппозиции. В то время политическая мысль французского либерализма искала опоры в английских учреждениях. Революция была предметом ужаса для поколений, еще хранивших живые воспоминания о ней. Лишь тогда, когда сошли в могилу последние свидетели, в 1830-х годах начинает твориться, в книгах Мишле и Луи Блана, легенда Революции, которой живет сейчас республиканская Франция. Эта легенда, сама по себе, может иметь освобождающую силу, подобно легенде Вильгельма Телля, не имеющей, как известно, никакого исторического оправдания. В ней британская свобода прикрыта фригийской шапкой. Но двусмысленность, создавшаяся из этого переодевания, не всегда безвредна. Рецидивы якобинства угрожают и современной Франции; Россия заплатила за увлечение Мишле (через немца Блосса!) миллионами лишних жертв Че-Ка.

Не одна Франция получила свою конституцию из-за Ламанша. Все европейские конституции XIX века восходят к тому же британскому источнику. Если рецепция британских учреждений оказалась воз-

можной и плодотворной, то это прежде всего потому, что вся Западная Европа была одной семьей народов. Они все прошли ту же историческую школу, имели не только в памяти, но и в крови рыцарство, католицизм, Реформацию. Ростки свободы жили повсюду, хоть и приглушенные веками абсолютизма. Лишь с точки зрения конституционных учреждений переход от абсолютизма к представительному строю был или казался революционным. Для «личных субъективных» прав не было революции; было лишь расширение и развитие их содержания. Если взять самые реакционные из монархических режимов старой Европы — например, Австрию Меттерниха — ее культурная жизнь покажется необычайно свободной по сравнению с культурами Азии, не знавшей феодально-христианского опыта, со старой Москвой или даже с современной ей Николаевской Россией. Свобода для Европы не есть новейшее завоевание, но лишь пышное прорастание от древних корней.

Обращаясь к той стране, которая в эту эпоху была «детоводительницей к свободе», мы видим, что в ней более, чем где бы то ни было в Европе, свобода утверждается не только на новых, но и на древних основаниях. Конечно, и в Англии либерализм питался и экономическими мотивами капитализма и научным мировоззрением нового времени. Это столь хорошо знакомая — и единственно знакомая — нам, русским, линия Локка, Бентама, Милля, Спенсера. Но рядом с ней живет другая, христианская традиция свободы, сильная особенно в «свободных церквах». Гладстон сделал для свободы мира больше, чем какой-либо другой политический деятель Англии. Но Гладстон был и теологом; притом теологом не одной из многочисленных сект, но государственной церкви Англии. До последнего времени лидеры рабочего движения Англии выходили из сектантских проповедников. Антихристианский радикализм начала XIX века был скорее временным увлечением. И если положи-

тельная религия в Англии, как и повсюду, переживала в XIX веке процесс медленного выветривания, ее нравственные приложения живы и поныне; да и чисто религиозные силы в достаточной мере еще питают политическую жизнь. Что касается феодальной свободы, то она переживает себя и в широком самоуправлении, в развитии всех форм «социального» (внегосударственного) права и даже в общественном значении аристократии; аристократия эта активна и часто прогрессивна, участвует во всех сферах жизни; хранимое ею феодальное начало личной чести передается всей нации. Идеал джентльмена, еще чисто сословный лет сто тому назад, теперь становится обще-национальным. Мы не знаем, конечно, правда ли, что «британцы никогда не будут рабами». Но безусловная правда, что тот тиран, вождь или «спаситель», который попытается поработить Англию во имя равенства, или во имя славы, должен будет раскусить весьма крепкий орех.

***

Кризис свободы за последние полвека связан с упадком тех двух основ, на которых она пыталась утвердиться в новое время: капиталистической экономики и научного позитивизма. Свободная игра гигантски выросших производительных сил привела не к гармонии, а к разрушению. Вот почему задача освобождения сменилась задачей организации. Началось с возрождения покровительственных тарифов, окончилось попытками построения социалистического хозяйства. В эпоху, когда экономические проблемы занимают центральное место, потребность экономической организации распространяется на все сферы жизни. Она поддерживается небывалым ростом техники, которая сама по себе требует принудительной организации: автомобильного движения, радио, надземных и воздушных путей. Неорганизованная техника

означает столкновение, взрыв, разрушение, смерть. Но пробудившееся, и праведное, стремление к разумному устроению жизни выражается и в растущей системе социального обеспечения и социальной гигиены, всюду ограничивающей старую свободу, понимаемую в смысле невмешательства. Кстати, кризис парламентаризма отчасти объясняется этой же новой потребностью в рациональном и сложном законодательстве. Старая парламентарная машина создавалась не столько для управления, сколько для обуздания правителей; не для отбора компетентных законодателей, а для отражения общественных настроений. Времена изменились, и конституционная машина отказывается выполнять работу, для которой она не создана.

Кризис миросозерцания открылся в конце прошлого века, когда во Франции Брюнетьер провозгласил «банкротство науки». Наука, конечно, не обанкротилась, а делает ежедневно поразительные открытия и изобретения. Но обанкротилась научная вера или суеверие, которое ждало от науки ответа на все проклятые вопросы жизни. Оказалось, что, чем дальше развивается наука, тем более она удаляется от чаемого единства. В решении пограничных, метафизических вопросов ученые безнадежно расходятся друг с другом. И уж во всяком случае, из системы точных наблюдений над фактами никак не удавалось вывести систему норм. Ученый, как и последний невежда, стоит так же беспомощно перед проклятыми вопросами: в чем смысл жизни? как жить? что добро и что зло?

Когда это стало ясно для широких кругов, ученый потерял то религиозное обаяние жреца истины и пророка лучшего будущего, которым он был недавно окружен. Исследование истины перестало быть делом каждого. Техника вообще заслонила чистое знание. Интеллектуализм во всех его проявлениях оказался не ко двору. Новая ересь — иррационализм

торжествует повсюду: в новейшей психологии, в искусстве, в философии.

При таких условиях «свобода исследования» стала узко-профессиональным интересом ограниченного круга ученых. Политики, ведущие за собой массы, перестали с ней считаться. Ученому просто задают задачи для обслуживания национальных или политических интересов, не считаясь с его взглядами или убеждениями. Нет такой грязной работы, которая не возлагалась бы на современного ученого в «передовых» коммуно-фашистских странах. Самое поразительное — та легкость, с которой огромное большинство ученых принимает «социальный заказ». Это показывает, что ученый сам перестал уважать науку, что его отношение к ней стало «формалистическим». Его интересует работа, техника ее, а не содержание открываемой или приоткрываемой им истины. Современный ученый не собирается умирать за науку, как умирал пуританин, гугенот или католик за свою веру.

Впрочем, это все общеизвестно. И наша тема была — рождение свободы, а не ее упадок. Но некоторые выводы из этого анализа все же можно сделать.

Известное ограничение или затмение свободы неизбежно в переживаемую нами эпоху социальной революции. До тех пор, пока задача организации нового общества, хотя бы в грубых чертах, не будет осуществлена, свободе придется приносить жертвы.

Если единственное основание нашей свободы — буржуазная свобода хозяйства и научная свобода исследования, то они, вместе с политическими свободами, из них вытекающими, вряд ли способны пережить этот кризис. Тогда это не помрачение свободы, а ее смерть.

К счастью, корни нашей свободы гораздо глубже. Рожденная в христианском средневековье, она пережила свое затмение в абсолютизме меркантилистического государства; она имеет шансы пережить и социалистическую революцию.

В тех странах, которые сейчас являются ведущими в борьбе за демократию, христианские корни свободы еще живы; есть еще люди, способные умирать не только за родину, не только за равенство, но и за свободу. Для ее новой победы и для дальнейшего роста и укрепления ее в мире, необходим ряд условий. Вот важнейшие из них:

1. Возрождение в мире абсолютного, то есть, религиозного начала, которое могло бы ограничить, обуздать и исправить все относительные — праведные и неправедные — притязания государства.

2. Раскрытие этого абсолютного начала, как религии личности и свободы.

3. Ограничение суверенитета национально-социалистического государства — сверху международным принудительным союзом, снизу — федеративными и автономно-групповыми образованиями, возвращающими общество, в более совершенных правовых, демократических формах, к феодальным началам его юности.

CHALIDZE PUBLICATIONS
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Никита Хрущев, Воспоминания, карманный формат, цена -- 12.00

Никита Хрущев, Воспоминания, книга вторая, карманный формат, цена – 12.00

Валерий Чалидзе, Победитель коммунизма. (Мысли о Сталине, социализме и России), цена – 7.00

Коран. Перевод *Крачковского,* карманный формат, цена – 20.00

Пакты о правах человека, карманный формат, цена – 5.00

Николай Евреинов, История телесных наказаний в России, цена – 15.00

Николай Валентинов, Встречи с Лениным, карманный формат, цена – 12.00

Валерий Чалидзе, Иностранец в России, юридическая памятка, карманный формат, цена – 6.00

Законодательство о религии в СССР, цена – 9.00

Петр Гарви, Профессиональные союзы в России после революции, цена – 7.50

Хельсинкское движение, цена – 7.50

Николай Новиков, Эрнст Неизвестный: искусство и реальность, цена – 10.00

Серан Киркегор, Наслаждение и долг. Репринт, 420 стр., цена – 15.00

З. Авалов, Присоединение Грузии к России, репринт, 320 стр., цена – 15.00

СССР: внутренние противоречия, редактор *В. Чалидзе;* цена выпуска – 15.00

Зимин, Социализм и неосталинизм, цена – 9.00

Петр Кушников, Военный дневник 1917 года, цена – 10.00 (малотиражное издание)

Цыганско-русский словарь, репринт, цена – 25.00 (малотиражное издание)

Ответственность поколения, цена – 8.00

Интервью В. Чалидзе с Татьяной Литвиной, Виктором Некрасовым, Владимиром Максимовым, Мстиславом Ростроповичем и другими.

Георгий Федотов. Россия и свобода, цена – 15.00

О. Иоанн Мейендорф. Православие в современном мире, цена – 12.00

Проблемы Восточной Европы, ред. *Франтишек и Лариса Силницкие,* вып. 1; цена выпуска – 9.00

$ 15.00